

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2002

2

2002

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2002 И В 2003 ГОДАХ

«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

МИХАИЛ АРДОВ. Книга о Шостаковиче;

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ. Обоснование счастья (о природе фэнтези и первооткрывателе жанра);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Какое евразийство нам нужно;

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта (повесть);

АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ. К портрету Лидии Гинзбург;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);

ЛАРИСА МИЛЛЕР. Цветные мелки (стихи);

(См на обороте)

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Перед вторым пришествием (роман);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Горизонт событий (роман);
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА. Седая полынь (стихи);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин (повествование в рассказах);
ВЯЧЕСЛАВ РЕПИН. Адреналин (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
РОМАН СЕНЧИН. Нубук (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;
ЛЮБОВЬ СУММ. Одиссей многообразный (эссе);
ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);
АНТОН УТКИН. Новый роман;
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Ангел мертвого озера (роман);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, МИХАИЛА ТАРКОВСКОГО, СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА;** стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2002 года — 300 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликешенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — Другая планета, стихи	7
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО — Алхан-Юрт, повесть	12
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ — Запах сада, стихи	51
ЕВА ДАТНОВА — Война дворцам. Четыре года	54
ИГОРЬ МЕЛАМЕД — Гроздь воздаянья, стихи	68
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР — Два рассказа	71
ВИТАЛИЙ КАПЛАН — Звезды и яблоки, стихи	80
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ — Падчевары. Повествование в рассказах	84

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ДИНА МАЛЫШЕВА — Ислам в современном мире	115
--	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

КОНСТАНТИН ЛИВАНОВ — Без Бога. Записки доктора (1926 — 1929). Публикация, предисловие и примечания О. Ю. Тишиновой. Окончание	129
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — <i>Rendes-vous</i> в конце миллениума	148
--	-----

По ходу текста

МАРИЯ РЕМИЗОВА — К вопросу о классовом антагонизме	160
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Елена Ознобкина. Автобиография времени	163
Светлана Иванова. Новый русский идиот	165
Алла Марченко. В самом центре существования	167
Дмитрий Полищук. Как не впасть в отчаяние	170
Виктор Живов. Двуглавый орел в диалоге с литературой	174
Дмитрий Дмитриев. «...Чему-нибудь и как-нибудь...»: современная русская литература в средней школе	184

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА	193
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ	198
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	203
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	209
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	215

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Как бы резвяся и играя	221
ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ — Стоит ли шутить с будущим?	223

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	225
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	227
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ УЛИЦКУЮ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ SMIRNOFF-БУКЕР
ЗА ЛУЧШИЙ РОМАН ГОДА!**

Премированный роман Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»
был впервые напечатан в журнале «Новый мир» (2000, № 8, 9)
под названием «Путешествие в седьмую сторону света».

СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ «НОВЫЙ МИР»:

<http://www.nmir.da.ru>

<http://www.novmir.da.ru>

<http://www.novimir.da.ru>

<http://www.novymir.da.ru>

http://magazines.russ.ru/novyi_mi

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ



ДРУГАЯ ПЛАНЕТА

Post dictum

Больше уже и доказывать нечем: слово разбилось о слово,
Только остался голос твой певчий — виолончельное соло.
Птица, зовущая из тумана, из-за ночного болота...
*Odor rosarum manet in manu etsiam rosa submota*¹.

Утром я перво-наперво сдвину штору с окна и увижу
Красную в мокрых гроздьях рябину, поля осеннюю жижу.
Черного чаю с полки достану... Что еще, как не работа?
Odor rosarum manet in manu etsiam rosa submota.

Вот и осыпался бледный твой венчик, бледного сердца бескровней,
Будешь звучать поминанием вечным в мира унылой часовне.
Встречу — не вздрогну, даже не гляну, с нимба сошла позолота.
Odor rosarum manet in manu etsiam rosa submota.

Ветер, сломавший старые сосны ночью у нас на поляне,
Ангелом черным времени послан, ибо известно заране
Все, что Изольда скажет Тристану утром в саду Камелота.
Odor rosarum manet in manu etsiam rosa submota.

Толстые щеки пыжат пионы, солнце встает за лесами,
В зарослях вербы свищут шпионы зябликовыми голосами.
И, зажимая рыжую рану, млея от смертного пота, —
Odor rosarum manet in manu etsiam rosa submota.

Вольтер

Скажи-ка мне, Вольтер, сидящий в ступке,
Ты отвечаешь за свои поступки?
А если ты за них не отвечаешь,
То кто же отвечает, черт возьми?
Ты, может, просто-напросто скучаешь,
Когда свой вертикальный взлет включаешь,
Но неужели ты не замечаешь,
Когда с земли несется «тормозни»?

О командир летающего танка!
Какая в небе ждет тебя приманка?

Кружков Григорий Михайлович родился в 1945 году в Москве. По образованию физик. Поэт, эссеист. Знаток и переводчик англоязычной поэзии. Живет в Москве.

¹ Запах розы остается на ладони, даже когда роза отброшена (лат.).

Несчастливая смешная обезьянка,
 Скажи, куда карабкаешься ты?
 Ты под луной проносишься со свистом,
 Как вольный казачина в поле чистом,
 И, усмехаясь этаким артистом,
 На Божий мир зриаешь с высоты.

И в этот час к тебе возводят взоры
 Атланты, силачи и полотеры,
 Банкиры, браконьеры, билетеры
 И несколько скучающих джультет.
 А ты касаньем кнопки незаметной
 Включаешь с ревом двигатель ракетный —
 И, пролетая над родимой Этной,
 Этнографам шлешь пламенный привет!

* *
 *

ОНА УМЕЛА КРИЧАТЬ, КАК ВОРОНА: «КАРРР!» —
 Вкладывая в это «каррр!» столько обиды на мир,
 Что даже зеленый с розовым ежиком шар
 Лопался, как будто в нем десять проделали дыр.

Она умела кричать, как ворона: «Каррр!» —
 И спозаранку, когда я в объятиях сна
 Еще посапывал мирно, будила в самый разгар
 Блаженства — мерзкими криками из-за окна.

Может быть, это «каррр!» я больше всего и любил;
 На эти губки смешливые — о, вундербар! —
 Глядел неотрывно и радовался, как дебил,
 Когда они вдруг издавали жуткое «каррр!».

Она взмахивала руками — слетались полки
 Ее товарок черных на черноморский бульвар,
 Как в «Принце и нищем», она стаскивала чулки —
 И начинался разгул этих черных чар!

И как заведенный злой чернявкою в лес,
 Но пощаженный ради молений его,
 Каждый миг ожидая гибели или чудес,
 Я оглядывался и не понимал ничего...

Грех глядит на меня, позевывая и грозя,
 Кара вензель свой острый вычерчивает за ним,
 Смерть придет — и не удостоит взглянуть в глаза,
 Только вскрикнет голосом твоим хриплым, родным.

В цирке

Зацепившись ногой за трапедию,
 Устремляя под облаки взгляд,
 Улетает красotka в Венецию,
 Возвращается к мужу назад.

Он ей белые ручки выкручивает,
Он ее заставляет висеть
Над страховочной сеткой паучьей,
Безнадежной, как всякая сеть.

Но и в этом чудовищном выкруте,
От которого сердцу темно,
Она бьется, клянется — но в игры те
Продолжает играть все равно.

Песня о несчастной королеве Анне Болейн и ее верном рыцаре Томасе Уайетте

Милый Уайетт, так бывает:
Леди голову теряет,
Рыцарь — шелковый платок.
Мчится времени поток.

А какие видны зори
С башни Генриха в Виндзоре!
Ястреб на забрало сел,
Белую голубку съел.

«*Они-сва кималь-и-пансы...*»²
Государь поет романсы
Собственного сочине...
Посвящает их жене.

Он поет и пьет из кубка:
«Поцелуй меня, голубка».
И тринадцать красных рож
С государем тянут то ж:

«*Они-сва кималь-и-пансы...*» —
И танцуют контрдансы
Под волыночный мотив,
Дам румяных подхватив.

А другие англичане
Варят пиво в толстом чане
И вздыхают, говоря:
«Ведьма сглазила царя».

...В темноте не дремлет стража,
Время тянется, как пряжа,
Но под утро, может быть,
Тоньше делается нить.

Взмыть бы высоко, красиво,
Поглядеть на гладь Пролива! —
Гребни белые зыбей —
Словно перья голубей.

² Noni soi qui mal у pense — Стыдно тому, кто плохо об этом подумает (*искаж. франц.*), девиз Ордена Подвязки, вошедший в английский королевский герб.

Улетай же, сокол пленный! —
 Мальчик твой мертворожденный
 По родительской груди
 Уж соскучился, поди...

Куст малины в Вермонте

Это было в августе, в Вермонте,
 на горе у масонского погоста,
 где береза и дюжина надгробий,
 где уже двести лет не хоронили.

Каждый день я взбирался по тропинке
 и навеки запомнил ту малину —
 куст, встречавший меня на полдороге,
 обгоревший, обобраный вчистую.

Подходил я — там что-то розовело,
 проступало застенчивым румянцем;
 каждый раз она что-то вновь рожала
 и меня угощала безотказно

спелой ягодой — каждый раз последней.
 Низко кланяюсь тебе, малина:
 не за ту неожиданную сладость,
 что ты мне, мимохожему, дарила

(хоть ее мои губы не забыли), —
 а за эту последнюю, дурную
 ягоду-слезу, что вновь рождает
 глаз мой — куст обгорелый и бесплодный.

Визит молодого поэта

Этот парень, хотя и смешон,
 Не лишен поэтической жилки.
 Он глядит на меня как пижон,
 Понимание пряча в ухмылке.

Я стою на другом берегу,
 Дребезжу, как венок на могиле...
 — Извините... судить не могу...
 Да ему и не нужен Вергилий.

Хватит, видно, и так куражу
 Довести до конца это ралли
 По кренящемуся виражу,
 По извилистой адской спирали.

Так какой тебе, к черту, «сезам»?
 Что за тени счастливец пугают?
 Научить? — Научился бы сам,
 Если б знал, куда лошадь впрягают.

Остаюсь, чтобы думать свою
Отмененную веком идею.
И сверчиную песню пою,
И мычу, и во сне холодею.

Другая планета

И пока механический голос отсчитывает:
двадцать три... двадцать два... —
давайте резко передумаем
и вылезем из скафандров.

Вот она — другая планета.
Не правда ли, она вам что напоминает?

Солнце почти такое же,
и встречающие девушки
так похожи на провожавших.



АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

*

АЛХАН-ЮРТ

Повесть

С самого рассвета моросил мелкий противный дождь. Заложенное тяжелыми серыми тучами небо было низким, холодным, и поутру солдаты с отвращением выползали из своих землянок.

...Артем в накинутом на плечи бушлате сидел перед раскрытой дверцей солдатской печурки и бездумно ковырялся в ней шомполом. Сырые доски никак не хотели гореть, едкий смолистый дым слоями расплзался по промозглой палатке и оседал в легких черной сажей. Мокрое, унылое утро ватой окутывало мысли, делать ничего не хотелось, и Артем лишь лениво подливал в печурку солярки, надеясь, что дерево все-таки возьмется и ему не придется в полутьме на ощупь искать втоптаный в ледяную жижу топор и колоть осклизлые щепки.

Слякоть стояла уже неделю. Холод, сырость, промозглая туманная влажность и постоянная грязь действовали угнетающе, и они постепенно впали в апатию, опустились, перестали следить за собой.

Грязь была везде. Разъезженная танками жирная чеченская глина, плодовыми комьями налипая на сапоги, моментально растаскивалась по палатке, шлепками валялась на нарах, на одеялах, залезала под бушлаты, въедалась в кожу. Она налипала на наушники радиостанций, забивала стволы автоматов, и очиститься от нее не было никакой возможности — вымытые руки тут же становились липкими вновь, стоило только за что-нибудь взяться. Отупевшие, покрытые глиняной коростой, они старались делать меньше движений, и жизнь их загустела, замерзла вместе с природой, сосредоточившись лишь в теплых бушлатах, в которые они кутались, сохраняя тепло, и вылезти из своего маленького мирка помыться уже не хватало силы.

...Печка начала разгораться. Рыжие мерцающие отсветы сменились постоянным белым жаром, чугунок загудела, застреляла смолистыми угольками, горячее тепло поползло волнами по палатке. Артем протянул к краснеющей боками печке синюшные растрескавшиеся руки, глядя на игру огня, сжал-разжал пальцы, наслаждаясь теплом.

Полог палатки откинулся, противно захлопав волглым брезентом, и Артема передернуло от потекшего по ногам холода. Зашедший остановился на пороге и, оставив вход незавешенным, принялся очищать саперной лопаткой сапоги от глины. Не поднимая головы, Артем зло бросил:

— В трамвае, что ли! Дверь закрыл!

Полог зашуршал, задергиваясь, и в палатку вошел взводный.

Было ему лет двадцать пять. Они с Артемом почти ровесники, с разницей всего в пару лет, но Артем чувствовал себя гораздо взрослее ребячливого, вечно по-детски веселого командира с огромными оттопыренными ушами, впервые попавшего на войну месяц назад и не успевшего еще хлебнуть лиха.

Взводный обладал двумя особенностями. Во-первых, что бы он ни делал, у него никогда ничего не получалось или получалось не так, как надо. За это его постоянно дрючили на батальонных совещаниях и иначе как Злодеем не называли. Начштаба шутил, что Злодей один принес полку убытку больше, чем все чехи, вместе взятые. Что, кстати, было не так уж и далеко от истины.

А во-вторых, придя с совещания, он не мог не озадачить. Своим звонким детским голосом, радуясь, как будто ему подарили леденец, Злодей скороговоркой нарезал задачи недовольным огрызающимся солдатам и потом долго пинками выгонял их на улицу, заставляя идти по линии на порыв, или закапывать провод, или еще что-нибудь.

Мельком глянув на Артема, он с ногами завалился на свой топчан и закурил. Выпустив в потолок струйку дыма, звонко произнес:

— Собирайся. Поедешь с начальником штаба в Алхан-Юрт. Чехи из Грозного прорвались, человек шестьсот. Их в Алхан-Юрте вэвэшники зажали.

— Вэвэшники зажали, пускай они и добивают. — Артем, все так же не поднимая головы, продолжал ковыряться в печке. — Зачистки все-таки их, внутренних войск, работа. Мы-то тут при чем?

— А нами дыру затыкают. На болоте. Там пятнашка уже подошла, они правее стоят будут, левее вэвэшники, а посередине никого, вот нас туда и кинули... — Взводный посерьезнел, задумался. — Рацию возьми, аккумуляторов запасных — два. Бронежилет надень обязательно, а то комбат вздрючит. Там скинешь.

— Что-то серьезное?

— Не знаю.

— Надолго поедем?

— Не знаю. Комбат сказал, вроде до вечера, там вас сменят.

Перед штабной палаткой уже стояли три *бэтэра*. На двух, с головами укрывшись от дождя плащ-палатками, комками коробилась насупленная пехота. На головной машине сидел начштаба Ситников. Свесив одну ногу в командирский люк, он кричал что-то своему ординарцу, размахивая руками.

В его позе, в царившей вокруг штаба суете Артем сразу почувствовал нервозность. По мере приближения к штабным палаткам он и сам заметно ускорил шаг, засуетился, подчиняясь общему ритму движений. На ходу снимая рацию, он подошел к машине Ситникова и потянулся рукой к поручню, собираясь залезть на броню:

— Что, едем уже, товарищ капитан?

— Сейчас, только Ивенкова дождемся.

Оттого, что ситниковского ординарца еще нет, Артем успокоился.

Лезть на броню не хотелось, и он остался внизу. Ожидая Ивенкова, стал обивать сапоги о колесо, до последнего оттягивая момент, когда придется снять перчатки, схватиться рукой за мокрый железный поручень и попытаться вскарабкаться на осклизлый *бэтэр*, холодный даже на вид.

Артем пару раз стукнул прикладом по броне:

— Эй, водила!

— Чё? — Незнакомый чумазый механик-водитель высунулся из люка, недружелюбно посмотрел на Артема.

— Хвост через плечо. Дай под задницу чего-нибудь, а то броня мокрая.

Водила нырнул в люк, завозился там. Через минуту оттуда вылетела грязная засаленная подушка, шлепнулась на броню и скатилась под ноги Артему в жирную разбрызженную грязь. Он выматерился. Двумя пальцами брезгливо поднял подушку и попробовал вытереть ее о борт. Глина на подушке размазалась. Артем снова выругался и закинул ее обратно на машину.

Из палатки галопом выскочил Ивенков, выпучив глаза и волоча в каждой руке по «шмелю» и по две «мухи». Артем скинул перчатку, быстро залез на бэтэр, принял у Ивенкова «шмели», «мухи», рацию, протянул ему руку, и они, спиной к спине, плюхнувшись на грязную подушку, уселись на броне.

— Поехали! — сказал Ситников, и водила, дернув бэтэр, повел его по направлению к Алхан-Юрту.

Дождь усилился. Бэтэр, натужно ревя двигателем, полз по метровой разрезанной колее. Грязь из-под колес килограммовыми комьями фонтанировала в низкое небо, шлепалась на броню, летела за шиворот, в лицо. Больше всего грязи попадало на шедшую впритык за ними машину девятки, и Артем заулыбался, глядя, как пехота материт дурака водителя. Потом водиле наступали по шапке, и он отстал.

Артем отвернулся, увидел валявшуюся на броне каску, вылил скопившуюся в ней дождевую воду и надел: хоть шапка чистой останется.

Ивенков толкнул его локтем в спину:

— Артем! Слышь, Артем!

— Чего?

— Закурить есть?

— Есть. Сейчас, подожди.

Он полез в нагрудный карман бронежилета, долго искал курево и спички среди сухарей, сухого спирта, патронов и еще бог знает чего. Наконец достал помятую пачку «Примы», вынул две сигареты, одну протянул Ивенкову. Повернувшись друг к другу и прикрывая огонек ладонями, прикурили.

Сигарета в мокрых руках быстро размякла, стала пропускать воздух. Артем сплюнул скопившийся на губах табак, прикрылся каской и поглубже залез в воротник бушлата. Ремень автомата он наматал на руку, стоящую на броне станцию прижал ногой. Один наушник, слушая эфир, надел на левое ухо, второй задвинул на макушку. В эфире ничего не было. Артем пару раз вызвал «Пионера», потом «Броню», но никто не ответил, и он выключил станцию, чтобы не сажать аккумуляторы.

Медленно уплывавшее назад серое чеченское поле, обложенное со всех сторон тучами и туманом и не имевшее ни начала, ни конца, навевало тоску. Дождь мелкой изморосью плевался в лицо, стекал по каске и капал за воротник; снизу, из-под колес бэтэра, в лицо летела жирная грязь.

Артем уже был насквозь мокрый и грязный. Сырые, не державшие тепла перчатки противно липли к рукам, короблый воротник натирал кожу на щеках, броня резала спину.

Бред какой-то, идиотский сон. Что он здесь делает? Что он, москвич, русский двадцатитрехлетний парень с высшим юридическим образованием, делает в этом чужом нерусском поле, за тысячу километров от своего дома, на чужой земле, в чужом климате, под чужим дождем? Зачем ему этот контракт? Зачем ему этот автомат, эта рация, эта война, эта грязь вместо теплой чистой постели, аккуратной Москвы и нормальной, снежной, белой красивой зимы? Это что, сон?

Нет, его здесь нет, по всем нормальным логическим законам его здесь нет и быть не должно. Здесь же все нерусское, другое, ему тут просто нечего делать! Какая, к богу в рай, Чечня, где это вообще? Это сон, бред собачий. Или сном была Москва, а он всю жизнь, с самого рождения вот так вот и трясся на броне, привычно упершись ногой в поручень и намотав на руку ремень автомата?

Интересно, как быстро он привык ездить на броне. Поначалу, забравшись первый раз на бэтэр, он ужаснулся: как на нем ездить, ведь удер-

жаться совершенно невозможно! Он хватался за все поручни, цеплялся за все выступы, и все равно его кидало по броне, как носок по стиральной машине. Но уже через неделю его тело приноровилось, само стало находить оптимальные позы, и он мог сидеть в любом месте бэтэра, хоть на стvole пушки КПВТ, почти ни за что не держась и никогда не падая.

Вот и сейчас бэтэр швыряет из стороны в сторону по ямам и лужам, а они с Ивенковым, удобно полулежа, покуривают, расслабленно свесив одну ногу, и в ус не дуют. Дождь только, зараза, достал, и грязь эта...

Артем позвал Ивенкова. Тот повернулся, глянул вопросительно. Артем заорал ему на ухо:

— Слышь, Вентус, скажи, куда мы едем? Ты ж в штабе постоянно ту-суешься, знаешь все.

— Под Алхан-Юрт.

— Это я знаю. А чего там? Чего Ситников-то говорит?

— Чехи там. Басаев. Из Грозного по руслу реки ушли, человек шесть-сот, в Алхан-Юрте на взвэшников наткнулись. Их там сейчас зажали.

— Тьфу ты, черт, это-то я понял! Мы чего, Алхан-Юрт брать будем?

— А черт его знает. Вроде нет пока, в засаду едем. Их взвэшники брать будут, надавят с той стороны, а они должны на нас выйти. Тут мы их и расколбасим.

— Что, одним взводом?

— За нами еще минометка идет, потом там наша пехота уже стоит, девятка или семерка, не помню.

— Да, неслабое движение. Похоже, серьезная война там будет.

— Похоже.

...Поле наконец кончилось. Колея, последний раз извернувшись своим змеиным телом, выкинула их на трассу.

Бэтэр чихнул, дернулся и, загудев движком, стал набирать обороты. Шины скинули с себя налипшие пуды глины, зашумели по асфальту. Грязевой фонтан прекратился.

Артем достал сухарь, разломил его напополам, протянул Вентусу.

Под колесами бежала федеральная трасса «Кавказ». Та самая, про которую он так часто слышал в новостях. Это название — федеральная трасса «Кавказ» — раньше всегда завораживало его. Звучит. Что-то в нем было такое величественное, как Государь Всея Руси. Не просто царь, а Государь. Не просто дорога, а — Федеральная Трасса. Теперь он ездил по ней сам, и ничего федерального или великого в ней не было — обычная провинциальная трехполоска, давно неубираемая и неремонтируемая, разбитая воронками и заваленная мусором и ветками, жалкая, как и все здесь, в Чечне.

Слева замелькали разбитые дома Алхан-Юрта. На одном из них, полуразрушенном белом коттедже с минаретовскими башенками по углам, зеленой краской, с ошибкой была выведена метровая надпись: «Русские — свиньи». Снизу, такими же метровыми буквами, приписка углем: «Хаттаб чмо». Артем стукнул Вентуса в бок, показал на надпись. Заулыбались.

Бэтэр скинул скорость, вновь свернул на проселок и, пробравшись через огромную лужу, остановился около стоявшей на ее берегу бытовки, огороженной мешками с песком. Из трубы, торчавшей из забитого фанерой окошка, шел ленивый домашний дымок, рядом со входом, на вкопанном в землю коле, висел рукомойник. Около кухни толпились солдаты.

Ситников окрикнул солдат, спросил, где ротный. Те показали на бытовку. Спустившись с машины, начштаба приказал ждать его здесь, а сам вошел в вагончик.

Артем встал, размялся, посмотрел на толпу около кухни, выискивая знакомые лица. Никого не узнал и тоже пошел к бытовке — покурить, потрепаться, узнать последние новости.

Около рукомойника, поблескивая белым телом, с полотенцем через плечо стоял Василий-пэтэвэшник, попинывал пустые бачки из-под воды, валявшиеся в грязи. Лицо его было уныло.

Артем подошел к нему, поздоровались, приобнялись.

— Ну чего, Вася, рассказывай, как жизнь молодая.

— Да хреново. Каждый божий день обстреливают, снайпер, падла, зашел где-то в лесочке и шмалает почем зря. А последние два дня вообще башки не высунешь и с автоматов, и с подствольников — из всего лупят, только что вот, полчаса назад, с граников накрыли, всего грязью испачкали, козлы. — Василий обтер голову ладонями, показал испачканные глиной пальцы. — Во, видал. На голове хоть картошку сажай. Козлы! И воды нет... — Вася обернулся в сторону кухни, поискал там кого-то, снова пнул пустой бачок. — Где этот Петруша чертов, я его маму барал! Когда он воду принесет?

Артем улыбнулся. Голый белый Вася с темным, продубленным чеченскими ветрами лицом и руками, словно в перчатки упрятыми в несмываемую грязь, выглядел смешно.

— Ладно, не ругайся. А ты чего, в пехоте, что ли, теперь?

— Да нет, нас семерке на усиление придали, мы вон там стоим. — Василий кивнул на стоящий в пятидесяти метрах недостроенный особняк, где из заложённых кирпичом стен торчали ПТУРЫ противотанкового взвода, ПТВ.

— Ого, не хреново устроились! Мишка с тобой?

— Да ладно, не хреново! Крыши нет, пола нет, одни стены. Мы там палатку внутри поставили, окна кирпичом забили, но все равно холодно, от кирпича холод идет. И обстрелы задолбали уже... Не, Мишки нет, он в ремроте, у него редуктор полетел. А ты чего здесь, ты же во в связи вроде?

— Ага, «во в связи», — передразнил его Артем, — нерусь тамбовская. Я с Ситниковым. — Артем кивнул на бэтэры.

— А чего вы здесь?

— На мародерку. Говорят, у вас тут мародерка классная. Особняки, кожаные диваны, абрикосовое варенье. — Он ухмыльнулся.

— Чего, серьезно? Вот гады, нам не разрешают ни хрена, комбат тут приезжал, поймал двоих — зеркало тащили, так вздрючил их дай бог! Это за зеркало-то! А бриться как? А самому кожаный диван подавай! Вот сволота!

— Ваших поймал?

— Нет, с пехоты, чумоходы какие-то. Да чего они там набрали-то, зеркало, пару стульев да одеяла. Тут и брать-то уже нечего, все разграблено давно. Даже жратвы никакой не осталось.

— А куда вы ходите-то?

— Вон туда, по трассе левее. Там вэвэшники стоят, вот они живут! Там дома поцелее, только недавно разбили, вот там набрать можно чего. А чего ты хотел-то?

— Да одеял, может, пару взял бы. И штаны какие-нибудь, под «комок» поддеть.

— У меня есть, пошли дам.

— Нет, сейчас не могу. Мы с Ситниковым, — Артем опять кивнул на бэтэры, — на болото едем, к вам на подкрепление.

— Зачем?

— А ты что, не в курсе, что ли? Ну ты, блин, даешь, пехота! У вас тут война всюю началась, чехи в Алхан-Юрте, шестьсот человек, а ты не знаешь ничего! Басаев из Грозного ушел. Их сейчас окружают — пятнашка и вэвэшники — и на нас выдавливать будут. А мы на болоте дырку затыкаем.

— Чего, серьезно?

— Нет, шучу! Мы просто так гуляем.

Из бытовки вышли Ситников с Коробком, командиром седьмой роты, пожали друг другу руки, и Ситников пошел к машинам. Артем тоже затопился:

— Ну ладно, Вася, все, я поехал. Про одеяла, а главное — про штаны не забудь, я к тебе, может, заскочу, если удастся.

Пехотные машины, завязнув в канаве, поотстали, и они не стали их ждать, ушли вперед.

Их бэтэр выехал на поляну. С трех сторон, с тыла и по бокам, ее окружал сырой сумрачный лес, подступавший метров на шестьдесят — семьдесят. В глубине леса над деревьями возвышались конструкции то ли элеватора, то ли нефтеперерабатывающего завода, огромными сюрреалистическими чудовищами вырисовывающиеся на фоне облачного неба. В их металлических внутренностях гулял ветер, завывал утробно, низко и страшно, как выли ищущие мертвечину псы в Грозном, гремел железом.

С четвертой стороны подпирало заросшее густым камышом болото.

Машина вползла на небольшой пригорок около самой бровки болотца и, качнувшись на тормозах, остановилась. Ситников, пробормотав «все, приехали», прозвучавшее как «все, пи...ц», спрыгнул с брони и, пригнувшись, побежал вдоль болотца к ближайшему скоплению кустов боярышника, росшего здесь в изобилии. Спешно нацепив рацию, Артем присел под колесом, прикрывая его. Вентус соскочил по другую сторону, перебрался под корму, прикрыл тыл.

Добежав до кустов, Ситников повернулся к ним, махнул рукой. Артем поправил рацию, посмотрел на Вентуса: «Я пошел, прикрой» — и также пригнувшись побежал к начштаба.

Ситников стоял на одном колене, укрывшись за кустами, выставив автомат в сторону болота. Артем шлепнулся с разбега на мокрый мох, затих рядом с ним, прислушиваясь, огляделся.

Сразу за кустами началась заболоченная равнина реки и тянулась примерно с километр, до самой Алхан-Калы — верхней части Алхан-Юрта, расположившейся прямо перед ними на высоком обрыве. Слева, метрах в трехстах, виднелась окраина Алхан-Юрта, перед ней, в изгибе реки, — пойма. За левый фланг можно не беспокоиться, здесь все чисто, местность просматривается хорошо. Справа же и впереди были высокие, в рост человека, камышовые заросли, уходившие в болото метров на двести — триста, за ними, до самых гор, — пойма километра на два-три.

И — тишина. Никакой ожидаемой войны, ничего. И никого. Тихо, как у негра под мышкой.

Артема охватило беспокойство. «Паскудное место какое, — подумал он. — Спереди камыши, справа камыши, сзади — лес. В Алхан-Кале уже чехи. В низине, наверное, тоже. В лесу — этот элеватор чертов. Там собраться, как два пальца облизать, хоть все шестьсот человек спрячь — не найдешь... Опиздюлят нас тут с нашими тремя машинами, как пить дать».

За спиной, словно в подтверждение его слов, послышалось гуденье двигателя. Стараясь не шуметь, Артем тихонечко перевернулся на спину, вскинул автомат на звук. Ситников не пошевелился, продолжая все также разглядывать болото в бинокль.

Движок то замолкал, то ревел на подъемах. Расстояние до него варьировалось вместе с громкостью — то ближе, то дальше. Артем ждал, изредка поглядывая на начштаба, который все так же не шевелясь смотрел в бинокль на болото.

«Красуется передо мной, что ли, смелость свою показывает? Или и вправду обезбашенный и ему все по барабану — и его жизнь, и моя, и Вентуса? Есть такие люди. Как медведи, нюхнув разок человечины, будут убивать до конца. С виду вроде нормальный, а как до дела доходит, про все забывает, лишь бы еще раз окунуться в бойню. Не ест, не спит, нико-

го не ждет, не видит ничего. Только войну. Солдаты из них отличные, а вот командиры — говно. И сам в пекло ползет, и нас за собой потащит, не соразмеряя свой опыт с чужим. Опасные люди. Выживают, а солдат своих кладут. А про них потом в газетах пишут — герой, один из полка остался...»

Из лесу показались пехотные бэтэры, сползли в лощинку, стали разворачиваться на бугорок. Артем расслабился, опустил автомат, позвал Ситникова:

— Товарищ майор, пехота подошла.

Тот наконец оторвался от бинокля, обернулся. Артем попробовал уловить выражение его лица, красивого и породистого, угадать, что он думает об этом болоте, как их дела — хреново или жить можно, но Ситников был непробиваем.

«Зачем мы здесь? — подумал Артем. — Суки, неужели нельзя объяснить, что мы тут будем делать? Не солдаты, а пушечное мясо, кинули гнить в болото — и лежи дохни, ни о чем не спрашивая... Ведь ни разу еще за всю войну задачи по-человечески никто не ставил. Послали — и иди. Твое дело подыхать и не вякать».

— Доложи комбату: прибыли на место, рассредоточиваемся на позициях. — Бросив эту короткую фразу, Ситников взял автомат и, пригнувшись, побежал навстречу бэтэрам. Сбежав с бугорка, выпрямился во весь рост, замахал руками.

Машины остановились. С них гроздьями посыпалась пехота, разбежалась по ямам и канавкам. Напряженно и страшно по опушке разлетелось: «К бою!»

Артем нацепил наушники, стал вызывать:

— «Пионер», «Пионер», я «Покер», прием!

Долгое время никто не отвечал. Затем в наушнике раздалось: «На приеме». Металлический голос, искаженный расстоянием и болотной влажностью, показался Артему знакомым.

— Саббит, ты?

— Я.

— Ты чего там, уснул, что ли? Попробуй мне только уснуть, задница с ушами, вернусь — наваяю. Передай главному: прибыли на место, рассредоточиваемся на позициях. Как понял меня, прием?

— Понял тебя, понял. Передать главному: прибыли на место, рассредоточиваетесь на позициях, прием.

— Да, и еще, Саббит, узнай там, когда нас сменят, прием.

— Понял тебя. Это сам «Покер» спрашивает, прием?

— Нет, это я спрашиваю. Все, конец связи.

Сдвинув наушники на макушку, Артем полежал немного, ожидая, когда пройдет шипение в ушах.

Вокруг было тихо. Ему вдруг показалось, что он один на этой поляне. Пехота, рассосавшись по кустам и ямкам, пропала в болоте, замерла, не выдавая себя ни единым движением. Мертвые бэтэры не шевелясь стояли в низине, от них тоже не исходило ни звука. От напряженной сжатой тишины ощущение опасности удесят�ерилось — сейчас, еще секунду, и начнется: из элеватора, из болота, из камышей — отовсюду полетят трассера, гранаты, воздух разорвет грохотом и взрывами, не успеешь крикнуть, спрятаться...

Артему стало страшно. Сердце застучало сильнее, в висках зашумело. «Суки... Где чехи, где мы, где кто? Почему ни хрена не сказали? Зачем нас сюда кинули, что делать-то?» Выматерившись, он взвалил рацию на плечо, поднялся и побежал вслед за Ситниковым к бэтэрам, туда, где были люди.

Спустившись в лощинку, он огляделся. У бэтэров никого не было. Артем подошел к ближайшей машине, постучал прикладом по броне:

— Эй, на бэтэре, где начштаба?

Из пропахшего солярой стального нутра высунулась голова мехвода, завращала белками, светящимися на черном, темнее, чем у негра, лице, никогда, наверно, не отмывающемся от грязи, масла и соляры. Блеснули зубы:

- Ушел с нашим взводным позиции выбирать.
- А пехота где?
- Вон вдоль трубы, по канавке залегла.
- А вы где станете?
- Не знаем, пока здесь сказали.
- А куда он пошел, в какую сторону?
- Да вон к кустам вроде.

Артем пошел по указанному водителем направлению, поднялся на бугорок, присел, оглянулся. Ситников с пехотным взводным стояли в кустах, осматривались. Артем подошел к ним.

— Значит, так, Саша, ты меня понял, взвод рассредоточиваешь на бугре в сторону болота. — Ситников провел рукой по бровке, показывая, где должна быть пехота. — Одно отделение с пулеметом кладешь вдоль трубы, прикрывать тыл, машину поставишь там же, сразу за нами, в ложине. Второй бэтэр — на левом склоне бугра, сектор обстрела — от Алхан-Юрта и до Алхан-Калы. Моя машина будет здесь, сектор обстрела — от Алхан-Калы до пятнашки. Пароль на сегодня — «девять». И всем окопаться!

— Понял. — Взводный кивнул головой.

— Все, действуй. — Ситников повернулся к Артему: — Ты со мной. Пошли посмотрим, что здесь.

Они лазили по опушке еще часа полтора, выбирали позиции, приглядывались, прислушивались, присматривались. Артем устал. Он пропотел под бушлатом, и капли пота, смешиваясь с дождевыми, холодили разгоряченное ходьбой тело, бежали ручейками между лопаток.

Когда совсем стемнело, они вернулись на бугорок к своему бэтэру, залегли около непонятно откуда взявшейся здесь бетонной балки, рядом с которой уже расположился Ивенков, затихли, ожидая дальнейшего развития событий.

Дождь усилился. Они лежали около балки не шевелясь, вслушивались в темноту.

Южные ночи черны, и зрение бесполезно. Ночью надо полагаться только на слух, только он, улавливая звуки, помогает расслабиться, говоря, что все вокруг спокойно. Или же, наоборот, тело вдруг напрягается, дыхание замирает, прижатое стиснутыми зубами, рука тихонечко тянется к автомату, неслышно ложится на него, голова медленно, толкаемая одними глазами, поворачивается в сторону нечаянного звука, стараясь не скрывать затылком по воротнику, не шуметь, не мешать своим ушам оценивать обстановку...

Тишина... Лишь на элеваторе завывают собаки да по камышам шуршат утки, крикают, напрашиваясь на шампур. И больше ничего. Все спокойно. Чехи, если они и есть в низинке, ничем себя не выдают, тоже выжидая.

Минуты растянулись в года. Тишина и ночь окутали их, и время, не измеряемое сигаретами, потеряло свое значение.

Умерло все. Чуть живы были только они, вставшие от холода в оцепенение. Как затонувшие подводные лодки, они легли на песчаный шельф сознания, глухо ткнулись под водой друг в друга и замерли, остыли, сбившись в кучу, сохраняя тепло. И ни одной жизни вокруг, ни одной души — только они, мертвые...

Лежать становилось все тяжелее. Затекившие мышцы начало ломить, выворачивать в суставах. Холодный дождь пробрал до костей, тело остыло, и их начал бить озноб. Ноги невероятно замерзли, ступни в промокших сапогах задубели, стали чужими. Но ни постучать, ни потоптаться на месте — ночь и холод сковали движения, давили на грудь...

Так прошло четыре часа.

Артем зашевелился. Он попробовал снять свой АК с предохранителя, но это ему не удалось — оочевенные пальцы не чувствовали маленького «флажка», срывались.

Вокруг было все так же тихо.

Ему вдруг стало наплевать на войну. Слишком долго он ждал ее, лежа на земле под зимним дождем. Слишком долго он находился в напряжении, и слишком долго ничего не происходило. Ресурс организма иссяк, и его охватило безразличие. Захотелось пойти куда-нибудь погреться — в бэтэр, к костру, в село или к чехам, куда угодно, лишь бы было тепло и сухо.

«Вот так и вырезают блокпосты», — подумал Артем и приподнялся на одно колено, пробив километры ледяной ночи. Лежать дальше он уже не мог.

— Да дерись оно все конем! Слышь, Вентус, помоги снять рацию.

Вентус тоже очухался, оторвался ото дна. Вспучив гладь, он шумно качался на поверхности, а ночь водопадами струилась между палубными надстройками его броника, реками стекала по ложбинам магазинов, путалась в леерах ресниц и, сдавая позиции, уходила из зрачков, в которые возвращалась жизнь.

Ситников не пошевелился, остался в войне, слушая болото.

Вдвоем они сняли рацию.

Артем выпрямился во весь рост, прогнулся назад, покрутил торсом. Позвоночнику сразу стало легко — четырнадцатикилограммовая тяжесть больше не давила горбом на плечи, не резала ключицы. Артем расстегнул и бронежилет, стащил его через голову, постелил на земле около балки внутренней стороной — теплой и сухой — вверх. Рядом положил свой броник Вентус. Получилась лежанка.

Они запрыгали, замахали руками, стали бегать на месте, смешно взбрыкивая ногами в тяжелых кирзачах. Сердце забилося сильнее, погнало погорячевшую кровь в ноги, к замерзшим пальцам. Стало теплее.

— Вот уж не думал, что в армии по собственной воле зарядку делать буду! — усмехнулся Вентус.

— А, без толку, — махнул рукой Артем, — желудки пустые, калорий нет. Присядем — через две минуты снова замерзнем.

Согревшись, они быстренько, чтобы не мочить броники под дождем, уселись на лежанку спина к спине. Замерзшие задницы сквозь тонкие штанины почувствовали исходящее от броников еле уловимое тепло, занежились.

Закурили в рукав, пряча бычок в глубине бушлата.

Глеющее сияние попеременно выхватывало из темноты лица, освещало грязные пальцы, сжимавшие окурочок. Артем вспомнил, как однажды видел в ночник курящего человека. Расстояние было большим, но каждая черточка на лице курившего просматривалась отчетливо, как выведенная карандашом. За километр попасть можно.

До Алхан-Калы примерно столько же. Но они слишком замерзли, а погреться больше нечем, только едким вонючим дымом моршанской «Примы».

С тихим, придерживаемым рукой лязгом откинулась крышка люка на бэтэре. В ночи прозвучал хриловатый шепот водилы:

— Эй, мужики, дайте закурить, а?

Артем усмехнулся. Война уходила на второй план, первое место занимал быт, извечные солдатские проблемы: пожрать бы чего-нибудь, погреться и покурить. Пустые желудки и холод брали верх над инстинктом самосохранения, и привидения в пехотных бушлатах поднимались из окопов, начинали шевелиться, бродить, искать жратву.

Если бы солдат был сыт, одет и умыт, он воевал бы в десять раз лучше, это точно.

Артем кинул на голос пачку. Водила зашарил по броне руками, нашел ее, взял сигарету и кинул «Приму» обратно. Она не долетела, упала на траву. Артем потерял ее об штанину:

— Намокла, сука... А что, пехота, вы в ночник-то смотрите?

— А надо?

— Ох, бля... — сказал Ситников, — сейчас расстреляю придурков! — Он схватил валяющуюся на земле гнилушку, не вставая, швырнул ее в водилу. — Не «надо», а обязательно надо! У вас чего там, в бэтэре, гостиница, что ли? Сейчас быстро у меня по позициям разбежитесь, ни одна обезьяна спать не ляжет! Пригреблись!

Водила нырнул в люк. Там зашевелились, слышались голоса. Через секунду башня с тихим шелестом повернулась в сторону гор, поводила стволом, глядя в ночь. Застыла. Потом, создавая видимость усиленного наблюдения, зашелестела в другую сторону.

Артем усмехнулся: наверняка через полчаса опять спать завалятся.

Луна, по самый подбородок укрытая толстым одеялом туч, нашла маленькую лазеечку, выглянула краешком глаза. Ночной мрак посерел.

В животе заурчало. Артем глянул на небо, толкнул Вентуса:

— Ну чего, неплохо бы и перекусить, а? Пока хоть что-то видно. Товарищ капитан, вы как насчет ужина? Сегодня, похоже, войны не будет.

— Ешьте. — Ситников не обернулся.

Артем полез в карман броника, начал выгребать припасы. У него оказалось четыре целых, всрез буханки, сухаря, банка килек в томатном соусе и пакетик изюма. У Вентуса были только сухари, три штуки.

— Да, негусто. На двоих-то голодных мужиков. Эх, подогреть бы килек сейчас, хоть горяченького похлебать. — Артем постучал себя по карманам. — Штык-нож есть?

Вентус тоже пошарил по карманам, отрицательно мотнул головой.

— Товарищ капитан, у вас штык-нож есть?

Ситников молча протянул им охотничий нож, хороший, нумерованный, с коротким прочным лезвием. Рукоятка из дорогого дерева удобно ложилась в руку.

— Ого, товарищ капитан, откуда такой? Трофейный?

— В Москве перед отправкой купил.

— И сколько такой стоит?

— Восемьсот.

Артем взял нож, покидал его на ладони, воткнул в банку. Острое лезвие, как бумагу, вспороло жесть, из рваной раны потек жирный, вкусный даже на вид соус, аппетитно запахло рыбой. Артем поставил банку на землю, достал ложку.

— Давай навались. Товарищ капитан, может, с нами?

— Ешьте, — все также не оборачиваясь, монотонно ответил Ситников.

Ели не спеша. Война научила их правильно питаться, и они зачерпывали рыбу по чуть-чуть, тщательно пережевывали: если есть долго, можно обмануть голодный желудок, создать иллюзию обилия пищи. Много маленьких кусочков сытнее, чем один большой.

Уговорив банку, облизали ложки, выскребли остатки рыбы сухарями. Голода они не утолили, но пустота в желудке немного уменьшилась.

— Ну что ж, все хорошее когда-нибудь кончается, — философски заметил Артем. — Давай закурим.

Закурить они не успели. В ближайших кустах снарядом лопнула раздавливаемая ногой ветка, ее треск ударил по напряженным ушам, дернул за каждый нерв в теле.

Артем непроизвольно вздрогнул, моментально покрылся потливой жаркой испариной страха: «Чехи!» Он кинулся на землю спиной, как сидел, схватил автомат, переворачиваясь, сорвал предохранитель. Вентус успел перепрыгнуть через балку, залег рядом с Ситниковым...

Из кустов, цепляясь штанинами за колючки, матерясь и ломая ветки, шумно, как медведь, вывалился Игорь, бормоча что-то про «чертовы чеченские кусты, нерусь колючую...».

Артем выматерился. Поднявшись с земли, начал отряхивать грязь с бушлата, прилипшие к штанам мокрые пожухлые травинки.

Увидев его, Игорь обрадованно раскинул руки:

— Здорово, земля! А чего здесь связь делает, какими путями? Ты же в штабе должен быть.

— Да вот на охоту выехали. Дураков всяких отстреливаем, которые по кустам шляются как попало.

— Это ты на меня, что ли, намекаешь? — Игорь подошел, ткнул его кулаком в плечо. — Ладно, не бузи, земля, дай закурить лучше.

Игорь был один из немногих по-настоящему близких Артему людей в батальоне, земля. Они познакомились еще в Москве, перед отправкой в Чечню.

Тогда было раннее-раннее невыспавшееся зимнее утро. Под ногами хрустел снег, резкий морозный воздух коробил лицо, а контраст ярких фонарных ламп и ночной мглы резал опухшие после вчерашних проводов глаза.

Артем сошел с подножки автобуса, огляделся — где-то здесь должен был быть царичинский военкомат. На остановке стоял невысокий кривоногий мужик, пытался прикурить, ладонями прикрывая огонек зажигалки. Рыжее скуластое лицо с редкой порослью выдавало в нем татарскую кровь.

Артем подошел к нему, спросил дорогу. Тот усмехнулся: «В Чечню, что ли? Ну давай знакомиться, земля, — он протянул руку, — Игорь».

Потом, пока их на «газели» везли в подмосковную часть, Игорь всю дорогу без умолку тараторил, рассказывая о своей жизни, то и дело доставал из внутреннего кармана куртки фотографию дочери и поочередно показывал ее то Артему, то водителю, то сопровождавшему их офицеру: «Смотри, майор, это моя дочка!» В небольшой сумке, которая была у него с собой, помимо всевозможного солдатского добра оказалось еще и несколько чекушек, которые он, одну за одной, к всеобщей радости извлекал на свет божий, постоянно приговаривая при этом: «Ну что, пехота, выпьем?»

...Закурив, они расселись на брониках. Артем затыкнулся, сплюнул, потер замерзший нос:

— Чечень проклятая. Замерз как собака. Подморозило бы, что ли, и то посуше было бы... А у меня под штанами только белуха да трусы. Подстежку надевать — сдохнешь, тяжелая, сука, жуть. А штаны не могу никак найти... В ПТВ Вася предлагал, да я стормозил чего-то... Надо было, конечно, сходить.

— Это ты замерз? — Игорь задрал грязную штанину «комка», оголив синюшную, покрытую гусиной кожей ногу. Под штаниной ничего не было. — Четыре часа в луже пролежал, в одних штанах. Подстежку я еще в Гойтах выкинул. И белуху тоже. Там вшей больше, чем ниток было. — Игорь пощупал материю, поморщился. — А чего эта тряпка, дерьмо собачье, ни тепла не держит, ни воду. Сделали бы, что ли, брезентовые «комки», ведь так и яйца отморозить можно. А, товарищ капитан? — обратился он к Ситникову.

— Запросто.

— Жаль, костра не разведешь, просушиться бы... Пожрать есть чего-нибудь?

— Нет. Была банка килек... Сам бы чего съел.

— Вот комбат, сука, засунул нас в эту жопу и забыл, полупидор. Хотя бы жратвы прислал. В полку ужин черт-те когда был, могли бы и подвезти. Когда нас сменят-то, не знаешь?

— Да уже должны были сменить. А так... По-любому до утра оставаться.

Помолчали. Промозглая сырость сковывала движения, шевелиться не хотелось.

— Слыхал, говорят, Ельцин от власти отказался.

— Откуда знаешь?

— Говорят. — Игорь пожал плечами. — На Новый год вроде. По телевизору показывали, он выступил, сказал, здоровье больше не позволяет.

— А, брехня. Быть этого не может. Чтобы такая сволочь просто так от трона отказалась? Вор он и убийца. Карьерист, ради власти один раз империю развалил, второй раз войну начал, в промежутке парламент танками давил, и вдруг просто так, ни с того ни с сего на покой... Знаешь, — Артем резко повернулся к Игорю, заговорил с ненавистью, — никогда не прошу ему первой войны. Ему, гаду, и Паше Грачеву. Мне восемнадцать лет всего было, шенок, а они меня из-под мамкиной юбки в месиво. Как щепку. И давай топить. Я барахтаюсь, выжить хочу, а они меня пальцем обратно... Мать за два года моей армии из цветущей женщины превратилась в старуху. — Артема передернуло, возбуждение его усиливалось. — Сломали они мне жизнь, понимаешь? Ты еще не знаешь этого, но тебе тоже. Ты уже мертвый, не будет у тебя больше жизни. Кончилась она здесь, на этом болоте. Как я ждал этой войны! С той, первой, я ведь так и не вернулся, пропал без вести в полях под Ачхой-Мартаном. Старый, Антоха, Малыш, Олег — никто из нас не вернулся. Любого контрачка возьми — почти все здесь по второму разу. И не в деньгах дело. Добровольцы... Сейчас мы добровольцы потому, что тогда они загнали нас сюда силком. Не можем мы без человечины больше. Мы психи с тобой, понимаешь? Неизлечимые. И ты теперь тоже. Только тут это незаметно, здесь все такие. А там сразу видно... Нет, слишком дорогой у нас царь, тысячами жизней за трон свой заплатил, чтобы вот так вот короной направо и налево швыряться.

— Ладно, ладно, успокойся, чего ты? Хрен с ним, с царем-то. Я вот что думаю — может, война из-за этого кончится? Как считаешь?

Артем пожал плечами.

— Может, и кончится, черт его знает. Тебе-то что... — Ему вдруг стал неинтересен этот разговор. Возбуждение прошло так же внезапно, как и накатило. — Мы за секунду войны одну копейку получаем. День прожил — восемьсот пятьдесят рублей в карман положил. Так что мне совершенно фиолетово, кончится — хорошо и не кончится — тоже зашибись.

— Это да. Но понимаешь... Домой охота. Надоело все... Зима эта паскудная. Замерз я. Ни разу, по-моему, еще в тепле не спал... — Игорь сделал мечтательное лицо, возвел глаза к небу. — Да-а... Говорят, в Африке зимы не бывает. Брешут, поди. Я знаешь чего, когда в Москву вернусь, первым делом... Нет, первым делом водки, конечно, выпью, — Игорь усмехнулся, — а вот потом, после чекушечки, налью полную ванну горячей воды и сутки вылезать не буду. Отопление, брат, великая благодать, дарованная нам господом богом!

— Ага... Философ, блин.

— А ты?

— И я. Тут не захочешь, философом станешь.

— Нет, я говорю, чего ты сделаешь, когда домой приедешь?

— А, ты про это... Не знаю. Напьюсь на хрен.

— А потом?

— Опять напьюсь... — Артем посмотрел на него. — Не знаю я, Игорь. Понимаешь, все это так далеко, так нереально. Дом, пиво, женщины, мир. Нереально это. Реальна только война и это болото. Я ж тебе говорю, мне здесь нравится. Мне здесь интересно. Я здесь свободен. У меня здесь никаких обязательств, я здесь ни о ком не забочусь и ни за кого не отвечаю — ни за мать, ни за жену, ни за кого. Только за себя. Хочу — умру,

хочу — выживу, хочу — вернусь, хочу — пропаду без вести. Как хочу, так и живу. Или умираю. Такой свободы не будет больше никогда в жизни, уж поверь мне, я уже возвращался с войны. Это сейчас домой хочется так, что мочи нет, а там... Там будет только тоска. Мелочные они все там, такие неинтересные. Думают, что живут, а жизни и не знают. Куклы...

Игорь с интересом смотрел на Артема. Затем произнес:

— Да... И этот человек называет меня философом. Ты слишком много думаешь о войне, земля. Бросай это занятие. Дуракам живется много легче. Думать вообще вредно, а здесь особенно. Свихнешься. Хотя, ты это верно подметил, ты уже...

Он хлопнул Артема по колену, поднялся.

— Ладно, пойду на позицию, — громким словом «позиция» Игорь называл свою ямку с водой, — надо распределить фишку на ночь. Темно-то как, а?

— Вы растяжки поставили? — Ситников очнулся от созерцания болота, повернулся к Игорю.

— Поставили.

— Где?

— Вот, по камышам, — Игорь показал рукой, — здесь сигналки поставили, а вот там, где вода, эргэдэшек навешали. Хрен пройдут.

Я люблю тебя, война.

Люблю за то, что в тебе моя юность, моя жизнь, моя смерть, моя боль и страх мой. За то, что ты меня научила, что самая паскудная жизнь в тысячу раз лучше смерти. За то, что в тебе еще были живы Игорь, Пашка, Замполит...

В восемнадцать лет я был кинут в тебя наивным щенком и был убит на тебе. И воскрес уже столетним стариком, больным, с нарушенным иммунитетом, пустыми глазами и выжженной душой.

Ты навсегда во мне.

Мы с тобой — одно целое. Это не я и ты, это — мы. Я вижу мир твоими глазами, меряю людей твоими мерками. Для меня больше нет мира. Для меня теперь всегда война.

И я больше не могу без тебя.

В первый раз ты меня выплюнула, живого, отпустила, но я не смог один, я вернулся к тебе.

Когда-нибудь, лет через тридцать, когда русским можно будет ходить по этой земле без оружия, я снова вернусь. Приду на то место, где ползал голодным в болоте, где кормил вшей, и туда, дальше, где штурмовал Грозный, и потом на сопку, где погибли мои подаренные войной братья, упаду на колени, поглажу пропитанную нашей кровью теплую плодородную южную почву и скажу... Что же я скажу?

Да ничего, кроме как:

— Да будь ты проклята, сука!

...Черная чеченская ночь непроглядным покрывалом застилала болото. Было тихо. Даже собаки на элеваторе замолчали.

Артем с Вентусом лежали на брониках, спина к спине, согревали друг друга. Холодный дождь не унимался. Сна не получалось. Под бушлат, с упрямством пятилетнего ребенка, лез и лез холод. Десять минут бредового провала в беспамятство сменялись прыганьем и размахиванием руками.

Они очень устали. И хотя сейчас вряд ли было больше двенадцати, эта ночь уже dokonала их. Многочасовое лежание в промозглом болоте, без еды, без воды, без тепла, без определенности, выжало из них последние силы. Ничего уже не хотелось, точнее, им уже было все равно — сидеть, лежать, шевелиться... Один черт, все было мокрое, холодное, паскудное, липло к телу, гнало в печенки волны холода.

Из-за туч внезапно, без предупреждения, всем своим полным телом вышла луна. Сразу стало светло.

Они взяли броники, переползли в тень куста, спугнув стайку дремавших на ветках воробьев.

Яркий лунный свет заливал долину. Вода отсвечивала резким серебром. Все предметы приобрели четкость. «Странная природа какая, — подумал Артем, — только что чернота была, хоть глаза выкалывай, а луна вышла — и пожалуйста, в Алхан-Кале номера домов прочитывать можно».

Нет, это точно сон. Это болото, река, камыши... Все так отчетливо, как бывает только во сне. А он сам — мягкий, расплывчатый, нереальный... Он не должен быть здесь. Он всю жизнь был в другом месте, всю жизнь он понятия не имел, что на свете есть такая — Чечня. Он даже сейчас не уверен, что она есть, как не уверен во Владивостоке, Таиланде и островах Фиджи... У него совсем другая жизнь, в которой не стреляют, не убивают, где нет необходимости жить в болотах, есть собачатину и сдыхать от холода. И такая жизнь у него должна быть всегда. Потому что к Чечне он не имеет никакого отношения и ему глубоко по барабану эта Чечня. Потому что ее нет. Потому что тут живут совсем другие люди, они говорят на другом языке, думают по-другому и по-другому дышат. И это логично. А он так же логично должен думать и дышать у себя. В природе все логично, все закономерно, все, что ни делается, делается ради какого-то смысла, с какой-то целью. Зачем ему тогда быть здесь? Смысл какой, ради какого закона? Что изменится у него дома, в его нормальной жизни оттого, что он находится здесь?

На берег реки, в полукилометре от них, приглушенно урча во влажном воздухе мотором, выползла БМП. Остановилась. С нее посыпались люди, разбежались по бровке и исчезли, пропали в ночь, как и не было.

— Что за черт! — Артем стряхнул оцепенение, переглянулся с Вентусом, с Ситниковым. — Кто это, товарищ капитан? Может, чехи?

— Хрен его знает... Ни черта не видно, бликует. — Ситников убрал бинокль. — Не похоже вообще-то... Хотя могут быть и чехи. Дня два назад они у пятнашки как раз бэу сперли.

— Как?

— Да как... С граница вмазали, на трактор подцепили и уволокли в горы. Как раз где-то здесь, вот в этих вот холмах.

Бэха мертвым железом стояла на берегу. Гладкий, играющий под лунной серебряном ствол поблескивал на фоне черного корпуса. Движения никакого не было. Люди как вымерли, пропали в этом болоте.

Иллюзию разрушил Ситников:

— Нет, это не чехи. Это пятнашка. Они здесь уже стояли. Просто позиции сменили. — Он отвернулся от болота, включил на часах подсветку. — Ладно, второй час уже. Пошли спать.

— Я здесь останусь, товарищ капитан, — Вентус кивнул на бэтэр, — там у парней место еще есть, к ним полезу.

Ситников кивнул, поднялся и пошел к кустам, туда, где был пехотный бэтэр и куда ушел Игорь. Артем отправился следом.

Машина стояла на малюсенькой, чуть больше ее периметра, опушке среди боярышника. Вокруг суетилась пехота, которой оказалось неприятно много. «Блин, откуда их столько? — удивился Артем. — Фишку не выставляли, что ли? ...И здесь поспать не удастся».

Около распахнутого настезь бокового люка, выливавшего на полянку волны света, облокотившись на броню, стоял Игорь, матерился на солдат, поднимая очередную смену караула, фишки по-армейски:

— Давай, давай, бегом! Шаволитесь, как сонные мухи. Что, четыре часа уже и в падлу отстоять? Быстрее, а то чехи свет заметят. Прикинь, пятнадцать минут этих обмороков поднимаю, — обратился он к Артему, —

в следующий раз гранату кину, влет выскочат у меня! Вы чего, у нас спать будете?

— А где ж еще? Что, по-твоему, пехота немытая в бэтэре нежиться будет, а начштаба и его персональный радист всю ночь на бугорке мерзнуть должны? И так уже яйца звенят, отморозил все на хрен. У вас в бэтэре тепло?

— Нет, мы движок не заводим. Его сейчас ночью да по воде — за пять километров слышно будет. И соляры мало... Да ладно, нас тут много, надышим.

— А место есть?

— Найдем. У нас фишка сегодня больша-а-ая. — Он улыбнулся, пропустил вперед Артема и полез в люк. — Решили ночь на трое ломать, с семи до семи по четыре часа получится. Долго, зато выспаться можно. Устали люди... Под башню вон ложись, на ящики.

В машину их набилось человек двенадцать. На десантный диван с одной стороны накидали тряпья, получилась лежанка. Там разместилось четверо. Двое легли на подвешенные над диваном носилки. Ситников согнал с командирского места дремавшего там наводчика, заснул сидя. Рядом с ним захрапел водила. Кто-то лег позади них, в углублении для брезента. Наводчик переполз на свой стульчак, примостился, положив голову на коробку КПВТ. Артем пролез мимо него под башню, стукнулся лбом о коробку с лентами, затылком о пулемет, бушлатом зацепился за боковую турель, втиснулся в пространство между телом спящего пехотного взводного и броней, продавил своим весом местечко, завозился на ящиках с патронами. Ящики были навалены на попа, их острые углы резали тело сквозь бушлат, давили на ребра. Артем поворочался, выбрал себе опору на четыре точки — один угол под плечо, один под задницу, один под колени и один под ступни, голову положил на живот парня, спавшего на месте брезента, шапку надвинул на глаза, ремень автомата намотал на руку.

Было ужасно неудобно. Нутро бэтэра тускло освещалось двумя лампочками, в полумраке, куда ни глянь, везде были навалены спящие тела. «Вот уж действительно гроб на колесах, — подумал Артем, — братская могила. И придумают же технику. Тут и одному-то не развернуться, не то что двенадцати рылам. Одна „муха” — и всем конец, в такой тесноте никто не вылезет. Мне так точно отсюда не выбраться. Самое поганое место: под башней, прямо в середине».

Артем закрыл глаза, сквозь дрему подковырнул пехоту:

— Слышь, мужики, у вас фишка не заснет?

— Не заснет.

— А то случ-чего одна «муха» — и напишут маме, что служба у сына не сложилась.

— Сплюнь.

Артем поплевал три раза, постучал себя по лбу, зевнул и, пробормотав «не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым», отключился.

Проснулся он минут через двадцать. Отдавленное углом плечо невыносимо резало, согнутые ноги сводило судорогой. Но самое поганое то, что ужасно болел мочевой пузырь — на холоде организм, сохраняя тепло, выводил лишнюю влагу, и Артему нестерпимо хотелось отлить. Так было всегда, в Черноречье они даже сверяли по этому делу часы — через каждые пятьдесят минут взвод, как один, просыпался и шел мочиться.

Артем глянул на пехоту в надежде, что хоть кто-то проснется. Но никто не шевелился, все спали.

«Не вылезти, — с тоской разглядывая груды застилающих дорогу тел, подумал Артем, — придется терпеть. Вот сука, только что мочился же... Видимо, похолодало».

Оставшаяся ночь прошла в бредовом полузабытьи. Он то на пять минут проваливался в темноту без сна, то просыпался. Все время в машине шло движение. Кто-то приходил с фишки, кто-то вылезал, кто-то залезал, кто-то, проснувшись, курил, кто-то подыскивал себе место. Вся эта кутерьма проходила мимо сознания Артема, не задерживаясь в нем. Просыпаясь, он сам тоже ворочался, менял положение. Тело постоянно затекало на острых углах. Было холодно, мокрые вещи не высохли, его трясло... И все время мучительно хотелось по-малому.

Наконец, очнувшись в очередной раз, Артем понял, что терпеть этот сон он больше не сможет. Надо как-то выбираться из ледяной машины — попрыгать, помочиться, развести костер, обсушиться. Он приподнялся на локтях, огляделся. Ситникова не было, через приоткрытый командирский люк в машину проникал свет.

Артем, торопясь, перекатился через сиденье, откинул крышку и полез наружу, как щенок, поскуливая от боли в мочевом пузыре. Быстро-быстро, боясь не успеть, он спустился вниз и, облегченно вздохнув, зажурчал под колесом.

— Мама дорогая, как хорошо-то... А-а-а... Как бога за яйца подержал...

Струйка, пару раз брызнув, иссякла. Артем удивленно вскинул брови:

— И все? Так хотелось, думал океан налью, а это все? — Его вдруг озаорило: — Блядь! Сука! Я ж себе мочевой пузырь отморозил! — Артем повернулся вокруг своей оси, ища справедливости. Мысль, что в его организме, раньше никогда не подводившем, теперь нарушена какая-то функция, сильно задела его. Мочевой пузырь — не бэтэр же, не починишь. Абзац. — Вот паскудство! Чехи, гады, сволочи! Ну, суки, я вам это еще припомню!

На улице уже рассвело, ранняя рассветная дымка стелилась по земле. Метрах в десяти от машины, греясь около куцего костерка, сидела пехота, жгла снаряжные ящики: с дровами в степной Чечне напряженка. На огне стоял термосок, от которого шел ароматный пар.

Артем, все еще озлобленно матерясь, подошел к костерку. Пехотный взводный, не глядя на него, подвинулся на дощечке, приглашая присесть. Больше никто не пошевелился, бессонная холодная ночь всех довела до апатии.

— Чего ругаешься-то? — спросил взводный.

— Мочевой пузырь отморозил.

— А-а... Бывает... — Взводный отломил от снарядного ящика одну дощечку, экономно бросил ее в костер.

Артем присел рядом с ним, стянул сапоги, пододвинул их к огню. Мокрая кирза запарила. Тепло от костра приятно согревало прозябшее насквозь тело. Артем вытянул ноги, пошевелил пальцами, наслаждаясь теплом.

Термосок пыхнул в лицо ароматным парком. У Артема закружилась голова, в животе заурчало. Он вдруг вспомнил, что последний раз по-человечески ел вчера утром. От этой мысли он почувствовал резкий голод.

Втянув воздух ноздрями, он картинно шмыгнул носом, придуриваясь, улыбнулся по-клоунски:

— А чего, мужики... Как бы это поддипломатичней спросить... Пожрать есть чего-нибудь?

Никто не ожил, не улыбнулся. Кто-то, упершийся подбородком в колени, не поднимая головы ответил:

— Настой из боярышника. Сейчас закипит.

— Все?

— Все.

— А-а... А вода откуда?

— Из болота.

— Она ж тухлая. Таблетку-то обеззараживающую хоть кинули?

— А толку? Ее четыре часа выдерживать надо. С голоду сдохнешь.

Таблетками этими, которые им клали в сухпайки, они почти никогда не пользовались. Так, когда было время и много воды. В основном воду пили сырую — из канав, луж или местных речушек. И странное дело, никто не заболел, хотя с каждым глотком они втягивали в себя годовую норму болезнетворных микробов. Не до этого было. Организм в экстремальной ситуации нацелен только на одно — выжить и на всякие мелочи типа брюшного тифа просто не обращал внимания. Пустые желудки перемывали кишечные палочки, как попкорн, высасывая из них все до последней калории.

Он мог спать зимой в мокрой одежде на камнях, за ночь примерзая к ним волосами, и хоть бы кашлянул.

Болезни начнутся потом, дома. Выйдет страх ночными криками и бессонницей, спадет напряжение, и ползет из него война наружу чирьями, вечной простудой, депрессией и временной импотенцией, полгода будет еще отхаркиваться соляной копотью от «летучих мышей».

Термосок закипел, забулькал. Петрович, сорокалетний контрактник, руководивший варкой, подцепил его веточкой, обжигаясь, поставил на землю и той же веточкой помешал настоем.

— Готово. Давайте котлы.

Протянули котелки. Петрович разлил в них мутную, пахучую жидкость. Термосок быстро опустел. Петрович отдал его сидящему рядом солдату:

— Иди зачерпни еще воды. И боярышника принеси.

Котлов было мало, и их пустили по кругу. Когда подошла его очередь, Артем сжал ладонями горячий закопченный котелок, вдохнул опьяняющий аромат теплой пищи и, поняв, что если сейчас же не насытит чем-нибудь желудок, то умрет на месте, глотнул.

Горячее варево теплом прокатилось по пищеводу, тяжело провалилось в живот. И тут же Артема замутило — для голодного желудка настоем оказался чересчур крепким.

— Фу, дрянь-то какая, — он отодвинул котелок, недоверчиво глянул на него, — а пахнет приятно... — Он понюхал, глотнул еще раз. Нет, на пустой желудок это пить нельзя, вырвет. Слишком жесткое пойло.

После горячего есть захотелось совершенно нестерпимо. Артем поднялся:

— Пойду пройдуся. Может, у кого еще пожрать чего осталось.

Он спустился с бугорка, подошел к трубе. Около трубы никого не было, пехота разбрелась по бугорку, сбилась в кучки вокруг костров, грелась. Брошенный пулемет одиноко пялился в небо. Артем огляделся.

Слева из кустов поднимался еще один дымок. На берегу болота сидели пулеметчик и его второй номер, вроде знакомый. Покосились на Артема, негостеприимно отвернулись — он явно был лишним. На углях стоял котелок, источавший все тот же аромат боярышника.

— Здорово, мужики. Чего варите?

— Боярышник.

— Вода из болота?

— Угу.

— Понятно. А больше пожрать нет ничего?

— Нет. — Пулеметчик вытащил из-за голенища грязную ложку с присохшими к ней кусочками то ли каши, то ли глины, помешал в котелке, давая понять, что разговор закончен.

Артем потоптался еще немного, потом снова поднялся на бугорок.

День начинался ясный. Показалось солнце, осветило долину. В Алхан-Кале засверкали оставшимися стеклами дома, болотце под веселыми солнечными лучами приобрело живописный вид, заблестело водой. В низине

запестрела пожухлая зелень. Артем остановился на опушке, разглядывая низину, село. «Хорошо, — подумал он, — красиво. А ведь где-то там чехи. Где-то там война, смерть. Притаилась, сука, спряталась под солнцем. Ждет. Нас ждет. Выжидает, когда мы расслабимся, а потом прыгнет. Ей без нас плохо, без крови нашей, без наших жизней. Насыщается она нами... Блядь, как жрать-то хочется».

Глядя на эту красоту, он вдруг вспомнил, что когда-то, еще на той войне, видел человека, идущего через поле. Человек шел один, без оружия, сам по себе. Это было нелепо — они никогда не ходили по одному, только группами и лучше под прикрытием брони. А уж тем более через поле, где под ногами было битком набито всякой взрывающейся дряни.

Артем смотрел на него и ждал: вот сейчас еще один шаг — и взрыв, смерть, увечье, боль, страх. Он замер, не отрывая глаз смотрел на шагающую фигуру, боясь пропустить момент взрыва, человеческого страдания. Помочь тому человеку он не мог бы при всем желании, но и равнодушно отвернуться тоже не мог. Ему оставалось только смотреть и ждать смерти.

Он так и не дождался — бэтэр повернул за угол, и идущий скрылся из виду.

Потом, уже в мирной жизни — и через год, и через два, — эта картина ему неоднократно снилась: как посреди войны человек шагает куда-то по своим делам. Одинокая фигурка в минном поле. И странное дело, эта картина всегда предстала перед ним в черном цвете. Тогда было лето, солнце заливало зеленую землю с ярко-голубого неба, мир был полон красок, жизни, света, пения птиц, запахов леса и травы. Но он ничего этого не запомнил: ни сочной зеленой травы, ни синего неба, ни белого солнца — только черная фигурка на черном поле в черной Чечне. И черное ожидание — сейчас подорвется...

«Интересно, запомню ли я эти краски? — подумал Артем. — Или в памяти опять останется только холод, грязь и пустота в желудке?» Ему вдруг стало тоскливо. Тоскливо от этого красивого дня, который он проведет, подыхая с голодухи в вонючем болоте.

Под солнечными лучами в камышах проснулись утки, закрикали, завозились в воде. «Подстрелить бы одну, вот был бы завтрак. Комбат, сука, — ни обеда, ни ужина, ни завтрака. Вот уж точно — завтрак на обед, обед на ужин, а ужин нам на хрен не нужен».

На бугорок вышел Ситников, постоял немного, шурясь на солнце, разглядывая из-под ладони село. Потом отломил ветку боярышника, стряхнул с нее воду. Вместе с каплями на землю грузно упали несколько тяжелых крупных мороженных ягод, гроздьями висевших на ветке. Ситников задумчиво посмотрел на них, затем не торопясь стал обрывать по одной и закидывать в рот.

Артем подошел к нему, тоже сорвал с куста одну ягоду, прижал губами. Терпкий, сладковатый сок мороженого боярышника наполнил рот. Это было гораздо вкуснее мутного варева. Артем слотнул. Ягода одиноко, ему даже показалось — гулко, упала в пустой желудок. Он совершенно отчетливо почувствовал ее, одну в пустом желудке, холодную, невероятно вкусную, сочную, съедобную. Артем сорвал вторую, третью, потом закинул автомат на плечо и стал хватать их гроздьями, не обращая внимания на холодные ветки с острыми длинными колючками, ломая кусты, видя только эти ягоды...

Через некоторое время к ним присоединился кто-то из пехоты. Сначала один, потом другой. Потом весь взвод потихоньку перетек от костерка к кустам, растянулся цепочкой вдоль пригорка.

Они паслись, как лоси, губами срывая с веток ягоды, фыркая и отгоняя оводов. Они больше не были солдатами, они забыли про войну, автоматы их валялись на земле, им очень хотелось есть, и они рвали губами эти хо-

лодные вкусные ягоды, переходя от одного пастбища к другому, оставляя после себя пустые обглоданные ветки, чувствуя, как после мертвой ночи в их тела вливается жизнь, как теплеет и ускоряется кровь в жилах.

Зубы почернели, язык щипало от кислоты, но они рвали и рвали боярышник, глотая ягоды целиком, не пережевывая, боясь, что не успеют съесть все, — все равно этого мало, не насытишься, что-то им помешает.

Они паслись долго, пока не обглодали все. Потом, усталые, вновь собрались возле костерка, закурили, молча переваривая эту малокалорийную пищу.

Над головой, шурша в воздухе крыльями, пролетела утка. Низко, метрах в десяти. Артем сорвал автомат, хотел выстрелить, но запутался в ремне. Пока копался, утка улетела.

— Зараза! Упустил! Сука!

— Не мучайся, все равно не попал бы. — Петрович разгладил усы, хитровато прищурился. На его лице появилось выражение рассказывающего байки охотника. — Я вчера тоже стрелял. Вот так вот летели, низко-низко, даже еще ниже, чем эта. — Петрович показал рукой, как летели утки. — Весь магазин выпустил. Один черт, не попал. Они на вид-то жирные, а бьешь-бьешь — все в перья. Вот если бы дробью, тогда да.

— Да, утку сейчас неплохо бы, конечно. Сутки уже здесь. Без еды, без воды... Когда ж нас сменят-то? — Игорь вопросительно глянул на Артема. — Со штабом разговаривал? Чего комбат говорит?

— Ничего не говорит. Может, к вечеру и сменят. Хотя вряд ли. Скорее завтра с утра.

— Угу... Значит, еще сутки здесь... Хоть бы воды прислал, что ли.

В воздухе опять зашелестело. В первую секунду Артем дернул автомат: «утка!», но потом понял, что ошибся. Над головой, высоко в небе, прощуршал снаряд крупного калибра, ушел в сторону Алхан-Калы. Все механически повернули головы ему вслед, замолчали. Секунду-другую была тишина, потом стоявший первым на откосе белый домик вспучился, надулся изнутри и исчез в огромном взрыве, разлетелся в стороны, кувыряясь в воздухе потолочными перекрытиями. Чуть позже докатился и звук разрыва, рокотом прошелся по болоту, а через секунду из-за леса, оттуда, где был полк, донесся и запоздалый выстрел.

— Ого! Прямое попадание.

— Саушки... Здоровые, блин. Один снаряд — и дома нету...

— Ну, началось, теперь нас точно не сменят...

Вслед за пристрелочным в Алхан-Кале один за одним стали рваться снаряды.

Обстрел был сильный. Сзади, из-за леса, и справа, откуда-то с гор, били саушки. Там же, в горах, взвыл «Град», его залп накрыл Алхан-Калу сразу, ковром. Слева от бугорка, где-то совсем рядом с ними, заговорила минометная батарея. Хлопки ее «васильков» выделялись из общей канонады, почва каждый раз отдавала толчком в ноги.

Алхан-Кала исчезла. Ее разметало разрывами, разбросало по обрыву, стерло с земли. На месте села тучами клубилась пыль, взлетали и падали крыши, доски, стены...

Воздух задрожал, физически ощутимо раздираемый металлом. Железа было так много, что пространство сгустилось, каждый пролетающий в селе осколок, двигая по одной молекуле кислород, оставлял теплый след на лице. Разрывы и выстрелы смешались в один сплошной гул, тяжелой густотой наполнив эфир, вдавив головы в плечи.

Они стояли, молча смотрели на обстрел. Десяток солдат посреди болота, а в километре от них гуляла смерть... В такие минуты, когда дома, кувыряясь в тоннах поднятой на воздух земли, разлетаются в щепки, остав-

ляя после себя воронки размером с небольшое озерцо, а почва на три километра вокруг дрожит от двухпудовых снарядов, — в такие минуты особенно остро чувствуется слабость человеческого тела, мягкость костей, плоти, их незащищенность перед металлом. Бог ты мой, ведь весь этот ад не для того, чтобы расколоть напополам Землю, это всего лишь для того, чтобы убить людей! Оказывается, я так слаб, я ничего не могу противопоставить этой лавине, с легкостью разметавшей вдребезги целое село! Меня так легко убить! Эта мысль парализует, лишает дара речи...

— Сейчас повалят из села, пидоры...

Они очухались, повскакивали с мест, разбежались по позициям. Над болотцем опять протяжно и страшно разнеслось: «К бою!» Артем бросился к бэтэру, схватил рацию, побежал к Ситникову. Взвод!

Начштаба он нашел около вчерашней балки. Тот лежал, опершись на нее локтями, разглядывал Алхан-Калу в бинокль. Рядом покуривал Вентус. Оба были напряжены, но не нервничали. Ситников не обернулся, сказал только:

— Вызови комбата.

Артем вызвал «Пионера». Ответил опять Саббит.

— «Пионер» на приеме. Передаю трубку главному.

Трубку взял комбат.

— «Покер», это главный. Значит, так. Остаетесь на месте. Смотрите в оба. Если чехи пойдут на вас, будете огонь корректировать. Ближе к вечеру буду. Как понял, прием?

— Понял тебя, понял. — Артем снял наушники. Ситников выжидающе смотрел на него. — Остаемся здесь, смотрим чехов.

Обстрел продолжался еще около часа, затем постепенно утих. Теперь саушки били по одной, одинокие снаряды через каждые минуту-две ложились в селе. Пыль осела, из густых клубов проступили домики. Артем удивился — целый час такое молотилово стояло, он ожидал увидеть пустыню в воронках, а село оказалось практически целым. Во всяком случае, на первый взгляд. Явные разрушения были только на правой окраине — здесь Алхан-Калу потрепало сильно. Видимо, лишь этот район и обстреливали. Похоже, что Басаев со своими чехами там. Прямо напротив них. Если пойдет, им встречать.

Они затаились, слились в ямках с землей, сровнялись с ней, разглядывая село по стволу автомата, пошевеливались, устраивались поудобней к бою, заранее намечая ориентиры, легли надолго, замолчали, не выдавая себя ни звуком, затихли, ожидая чехов.

Комбат приехал, когда уже опускались сумерки, вторые для них на этом болоте. Его бэтэр и три машины семерки шумно влетели на бугорок, остановились не маскируясь.

Комбат сидел на головной броне, как Монблан возвышаясь над ними в своих ямках, в обычной для него позе ферзя — рука упирается в колено, локоть на отводе, тело чуть подано вперед. Орлиный взгляд. Эффектный «натовский» броник. Не запачканный землей камуфляж. Орел-мужчина.

— О, приехал наконец. Ты глянь на него! Ферзь, блин. Как на параде, только оркестра не хватает. Чтob не только в Алхан-Кале, но и по всей Ичкерии чехи знали — комбат прибыл... Глупый Хер!

Комбата в батальоне не любили. Солдат он скотинил, разговаривал с ними высокомерно или при помощи кулаков, считая их за пушечное мясо, алкашню и дебилов. «Глупый хер» было его любимым выражением. По-другому он к своей пехоте никогда не обращался. «Эй, ты! Глупый хер! А ну бегом сюда!» И в грызло — на! Солдаты отвечали комбату взаимностью, и эта кличка, Глупый Хер, намертво прилипла к нему.

Семерка стала разворачиваться на бугорке, занимать позиции. Комбат коротко поговорил о чем-то с Ситниковым, повернулся и пошел к пехоте,

его квадратная приземистая фигура исчезла в кустах. Начштаба направился к своей машине.

Артем с Вентусом поднялись, подождали его. Не останавливаясь, он прошел мимо, кинул на ходу:

— Все, собирайтесь, домой едем, нас меняют. — Он начал снимать с машины «шмели». — Забирайте все, эта броня здесь останется, поедем на комбатовской.

Они перетащили барахло на комбатовский бэтэр. Там уже сидели двое разведчиков, сопровождавшие комбата во всех его поездках, — Денис и Антоха. Комбатовское высокомерие, как чахотка, передалось и им, и они не помогли закинуть «шмели» на броню, не подали руки. Лишь, покуривая, скучали в ожидании босса, разглядывали болото.

Комбат подошел через несколько минут, запрыгнул на бэтэр, свесил ноги в командирский люк:

— Поехали.

Бэтэр тронулся, сполз с бугорка. За ним, ломая кусты, с позиций стали выходить машины девятки, разворачиваться на колею, домой. На их места становилась семерка.

Комбат не стал дожидаться пехоту:

— Обороты, обороты! Газу прибавь.

Машина пошла быстрее. Почувствовался ветер. Артема сразу проняла дрожь — слишком холодно было все эти сутки, слишком сырым был бушлат и слишком пустым желудок. Но настроение приподнятое. Наконец-то они уезжают с этого проклятушего болота, наконец-то они едут домой! И хоть домом у них была жидкая, вечно грязная землянка, зато там есть печка, там стоит батальон, там можно не ждать всю ночь удара в спину из чужого леса. Там можно расслабиться, просушить сапоги и поесть полупустой, недоваренной, несоленой горячей вкуснейшей сечки. Там можно будет наконец-то скинуть броник и разогнуть спину. Там можно спать на нарах! Не на земле под дождем, не в ледяном бэтэре, а на нарах в спальнике! Это же такое блаженство! Это надо прочувствовать своей шкурой, своим отмороженным мочевым пузырем и отдаленными о броню плечами. Там обжито, уже вторую неделю они стояли на одном месте и сумели наладить свой маленький быт. Вторую неделю в покое, как это много, нереально много для солдата...

Их бэтэр прошел сквозь лесок, обогнул огромную лужу, посреди которой, как остров, торчал ушедший в жижу по самую кабину трактор.

Артем сидел, привалившись спиной к башне, вытянув ноги на силовую, бездумно провожал взглядом уходящее в прошлое болото. За спиной, на башне, устроился Вентус. Голенище его сапога терло Артему шею, но он не отодвинулся — теперь это мелочи, они едут домой.

Он ни о чем не думал. В последнее время у него выработалась эта способность — ни о чем не думать.

Он заметил это случайно, как-то глянув в глаза солдат, трясущихся на броне. Его поразил тогда их взгляд — ни на чем не фокусирующийся, не вылавливающий из окружающей среды отдельные предметы, пропускающий все через себя не профильтровывая. Абсолютно пустой. И в то же время невероятно наполненный — все истины мира читаются в солдатских глазах, направленных внутрь себя, им все понятно, все ясно и все так глубоко по барабану, что от этого становится страшно. Хочется растряссти, растолкать: «Мужик, проснись, очухайся!» Мазнет по лицу зрачками, не фиксируя, не останавливая взгляда, не скажет ни слова и вновь отвернется, обнимая автомат, находясь вечно в режиме ожидания, все видя, слыша, но не анализируя, включаясь, только на взрыв или снайперский выстрел.

Мертвые глаза философа, они не смотрят, они просто открыты, и из них наружу льется истина.

Выползли окраинные дома Алхан-Юрта. Их бугорок, на котором они прожили один из своих нескончаемых дней войны, теперь остался левее и сзади.

Черт, какими все-таки длинными могут быть сутки! Всего лишь одни сутки, может, чуть больше, провели они на этом болоте, а эти сутки заслонили собой половину жизни, такими они были долгими, нестерпимо нескончаемыми. И вспомнить, что было раньше, в той, мирной, жизни, теперь было сложно — та жизнь заплыла, затерлась этим болотом, которое по все тому же непонятному логическому закону вдруг стало очень важным, настолько важным, что, кажется, все самые значимые события произошли здесь, на этом болоте, где он провел половину жизни, растянув минуты в года, забив этими минутами память, заслонив ими все неважное, несущественное, что было до того, позабыв ту жизнь и потеряв интерес к ней.

...Из леска, укрывающего бугорок, вылетел трассер, неслышно прочертил красным пунктиром невысоко над ними и пропал в лесу. Все, задрав головы, проводили его взглядами, потом переглянулись, соображая, что это значит.

— Пехота, что ли, дурака валяет?

— Полудурки, не настролялись еще.

Точка выстрела была примерно в том месте, где должна стоять одна из машин семерки. «По воронам со скуки лупят», — решил Артем. Сложив ладони рупором, он заорал в сторону леска:

— Эй, пехота! Хорош пулять, своих раните!

Тотчас из леска вылетел второй трассер, гораздо ниже, прицельно просвистел над самыми головами.

Они моментально попадали на броню. Движение было инстинктивным — дернуться, пригнуться, мозг сработал чуть позже.

— Блядь, по нас!

— Чехи! Чехи!

— Снайпер, сука, вон в лесочке!

Тело до самого мозжечка тут же окатывает жаром. Холод, трясший все эти сутки, моментально уходит, пробивает потом, становится жарко и влажно, как в бане. Страх!

Автомат с плеча! Быстрее! Денис завалился на ноги, прижал к броне, сползти ниже невозможно. Под спиной твердая башня. Лопатки чувствуют ее твердость — пуля пробьет грудину, ударится о башню и отрикошетит внутрь тела, разворотит легкие, сердце, раздерет их об осколки ребер. Но Денису тоже некуда сползть, его голова и плечи прикрывают Артема до подбородка.

Предохранитель, предохранитель, зараза!

Денис уже бьет из своей СВД по леску. Бьет наугад, неприцельно, его трассера уходят гораздо выше того места, откуда стрелял снайпер. За пару секунд он выпускает весь магазин, вхолостую жмет на спусковой крючок. Потом до него доходит, он поворачивается, протягивает руку:

— Автомат, автомат дайте! У водилы возьмите! У меня в магазине всего десять патронов!

Стрелять, стрелять, надо стрелять! Наконец удастся сдернуть предохранитель. Первая очередь — как оргазм, вместе с выстрелами стон облегчения. Туда, туда, вон там он, сука! Ниже бери. Бэтэр скачет, дергает... Еще очередь! Сейчас Денису башку снесу, надо поднять ствол!

— Денис, пригни голову!

Автомат трясется над самым ухом Дениса, пламя от выстрелов, кажется, лижет ему затылок, пули пролетают в сантиметре-двух от его головы. Снесу, снесу ему башку! Справа над ухом грохочет автомат Вентуса, горячие гильзы сыпятся на голову, скачут по плечам. Тела навалены друг на друга, распластаны по броне, все лупят без разбору, не различая, с одной

мыслью: задавить его свинцом, забить, заткнуть его, гада, убить первым, первым, иначе убьет меня, сука!

— Что? Что случилось? Что?

Артем оборачивается, видит за спиной полуприлегшего на броню комбата.

— Товарищ майор! Чехи! Снайпер! Вон там! На ладонь правее от трактора, как раз где мы стояли! Там наши остались!

Но комбат вопреки ожиданиям не разворачивает машину:

— Обороты, етитская сила, обороты! Давай в кусты!

Водила резко дергает руль влево, дает газу. Бэтэр одним скачком прыгает в кусты, Артем успеваает спрятаться за башню, сверху на него валится Вентус. Твердые ветви бьют по машине, срывают привязанный к борту ящик с песком, хлещут по спине, по рукам, прикрывшим голову, сдирают с пальцев кожу. А из леска все вылетают и вылетают трассера, проходят над броней, справа, слева, глухо стучат по деревьям, шлепают по веткам, царапают машину. Антоха ойкает, сворачивается калачиком и падает с борта вниз, куда-то под колеса.

— Товарищ майор! Товарищ майор! — Артем тыкает комбата стволом в бок. — Одно потеряли!

— Кого?

— Антоху, разведчика!

— Ранен?

— Не знаю! Наверно! За живот схватился, с машины упал!

Комбат опять не останавливается. Обороты, обороты! Бэтэр рвется сквозь кусты, снова вылетает на колею, проскакивает сотни две метров и останавливается за сараем, на окраине Алхан-Юрта.

Теперь их не видно.

Вышли, ушли из-под огня!

Но сзади, где за ними шли машины девятки и куда свалился раненый Антоха, разгорается бой — автоматная трескотня все напряженнее, уже слышатся хлопки подствольников.

Все спрыгивают с машины, бегают сарай, приседают, постоянно поглядывая в сторону боя. Короткое совещание.

— Ситников! Берешь двоих. По правой окраине села. Ты, — комбат тыкает пальцем в Дениса, — со мной, через село.

Первая угарная паника проходит, сменяется тяжелым ощущением предстоящего боя. Немного трясет мандраж, но страха уже нет. Все серьезнеют, делают всё быстро, молча, без разговоров, сразу понимая, что от них требуется.

Артем, Вентус и Ситников бегут вдоль сарая к окраине, комбат с Денисом — к домам. Успевают разбежаться на десяток метров, как над головой раздается короткий резкий свист.

Ситников приседает на одно колено, Артем падает на живот, в голове проносится идиотская мысль: только бы в коровью лепешку не вляпаться. Оба оборачиваются, провожая свист глазами. В том самом месте, где они только что совещались, шлепается мина, рвется хлопком. В небо взлетает жирная грязь.

— Ни хрена себе! Точняком где мы стояли! Он нас видит. Эй, водила, спрячь бэтэр за сарай, сожгут!

Торчащий из люка водила ныряет внутрь, сдает машину за сарай. Артем поворачивается к Ситникову. Тот уж перелезает через изгородь, болтающаяся за спиной «муха» стучит его по бронику. Артем поднимается, лезет за ним. Броник и рация мешают, притягивают к земле, режут плечи. Бежать очень тяжело: килограммов тридцать на горбу — полупригнувшись, спину ломит, ноги начинают гудеть, тело становится неповоротливым.

Не отставать, не отставать! Перед глазами все время ситниковская спина, «муха» болтается в такт шагам.

Добежав до дома, приседают около угла, выглядывают осторожно. Сразу за домом колея, за ней — лесок. Ситников рывком поднимается, бежит через дорогу. Артем занимает его место, ждет, когда тот добежит до деревьев и прикроет его, затем перебегает вслед за ним, прикрывает Вентуса.

В леске идет бой, где-то чуть подальше. За деревьями не видно, но, судя по звуку, стреляют метрах в двухстах от них. Короткими перебежками одолевают это расстояние. Молча, глаза напряжены, уши торчком. Лишь изредка Ситников оборачивается и спрашивает: «Где Женька?» Артем тоже поворачивается: «Вентус! Ты где?» — «Я здесь!» Вентус, ломая кусты, вываливается вслед за ними, глаза выпучены, дыхание тяжелое, автомат и «муха» волочатся по земле. Подбегает, грузно падает на болотный мох: «Здесь я...»

...Пехота залегла на небольшой поляне, отгороженной от села невысокой, по колено, земляной насыпью с вросшей в нее плетенкой из колючки. За плетенкой была колея, а за ней, метрах в тридцати, уже начинался дом. Здесь бой поутих, стрельба переместилась вправо, дальше, туда, где был их бугорок и где осталась семерка. Солдаты, рассредоточившись вдоль насыпи, вглядываются в село, высматривают кого-то там. Два бэтэра застыли в кустах на правом фланге, слегка шевеля башнями.

Ситников прополз вдоль колючки, дернул за ногу ближайшего солдата: — Где взводный?

Тот показал рукой дальше: «Там».

Взводный лежал посередине насыпи на спине, смолил сигарету, глядя в низкое небо. Артем с Ситниковым подползли к нему, улеглись рядом.

— Ну что тут у вас, Саша, где чехи?

— Здесь где-то, в этих домах. — Взводный не перевернулся, все также глядел в серые тучи. — Чего-то затихли пока. Может, будем уходить потихоньку? Пока не стреляют.

Начштаба ничего не ответил, заполз на изгородь, стал разглядывать село. Артем примостился рядом с ним.

В селе было тихо, никакого движения. Пустые глиняные дома, покروшенные автоматными очередями, не подавали признаков жизни. Надо уходить.

Ситников перевернулся на бок, полуприлег на локте:

— Так, Саша...

Договорить он не успел. Во дворах, прямо перед ними, заговорил автомат, очередь пронеслась над плечами Ситникова, выбила из насыпи землю у него под локтем. Он вдернул голову в плечи, крикнул, матерясь, скатился с плетенки. Справа ответила еще одна очередь, прошла по поляне, по пехоте — видно было, как пули впились в траву между распластанными фигурами, — и уткнулась в лес.

Артему показалось, что краем глаза он успел заметить вспышку в окне одного из домов, а затем перебежавшую из комнаты в комнату тень.

— Вон он, товарищ майор, в этом окне!

— Где? В каком? — Ситников, стаскивая через голову «муху», смотрел на Артема, в глазах его было бешенство. — Ну, в каком?

Но окно снова было пустым, дом опять замер, не шевелился, и Артем уже не был уверен, что чех был именно там. Очереди возникли словно из ниоткуда, внезапно пронеслись над насыпью и исчезли. И все. Проследить их не получилось — выстрелов видно не было, а на слух не определить — затерялись во дворах.

Артем вглядывался в село, но неуверенность от этого только росла. Теперь он даже не знал, был ли вообще чех. Может, был, а может, и показалось.

— Ну в каком?

— ... а черт его знает, товарищ майор... Вот в этом, кажется...

Ситников посмотрел на окно, взвел «муху».

— Точно там?

Артем не ответил. Тогда Ситников отложил «муху» — жалко попусту тратить — и полоснул по окну из автомата. Очередь строчкой расковыряла глину на стене, вышибла деревянный подоконник, закувыркавшийся в воздухе, и утихла в проеме окна.

И тут Артему снова показалось движение в доме.

— Да вон он, зараза! — Он вскинул автомат, прицелился и коротко ударил по окну. Затем еще раз и еще. Сразу же вслед за ним замолотил и Ситников, а потом заговорила и вся пехота.

Сначала Артем стрелял прицельно, но руки после долгого бега тряслись, не могли удержать автомат, ствол заваливался, пули ложились то ниже, то выше окна, и Артем начал бить навскидку, длинными очередями, не целясь.

Спарка быстро закончилась. Артем отстегнул ее, достал новый магазин, полный. Этот оказался заряжен трассерами. Артем видел, как они влетали в темное окно и там рикошетили внутри дома, отскакивая от чего-то твердого, стоявшего у противоположной стены, искрами с жужжанием металась по тесной для них комнате.

Дом умирал под их огнем, дергался, тучи пыли и сухой глины, выбиваемые из его стен, водопадами сыпались к подножью, земля кипела вокруг фундамента, взбрыкивала комьями травы.

Пехота все больше распалась.

Кто-то уже бил с колена, кто-то лупил по соседним домам. Ими овладело особое опьяняющее чувство, какое бывает только в заведомо удачном бою, при явном преимуществе. Чехи полоснули очередью и ушли. Страх нет, он проходит, и ты чувствуешь свою силу, превосходство над врагом. Это опьяняет, порождает возбуждение и веселую холодную злобу, желание мстить за свою боязнь до последнего, не думая, поливая направо и налево.

Ситников схватил «муху», встал на одно колено и выстрелил по окну. Граната огненной точкой вошла в проем и сильно рванула в закрытом помещении, осветив дом молнией вспышки. На улицу выбросило мусор, вывалил клуб серого дыма.

Выстрелом Артема оглушило. Ситников, стреляя, неудачно развернул «муху», и струя выхлопа ударила Артема по уху. В голове зазвенело, ничего не стало слышно. Он скатился с насыпи, зажав двумя пальцами нос, начал продувать уши, сглатывать.

Кто-то потряс его за плечо:

— Контузило? — Голос слышался еле-еле, хотя спрашивающий вроде бы кричал.

— Не, глушануло немного! Сейчас пройдет, — заорал в ответ Артем. Его удивил собственный голос — глухой, как в бочке, и слышимый не внутренним ухом, а снаружи. Он снова продул уши, потряс головой. Звон немного поутих, но тугая, мешающая соображать вата в мозгах осталась.

Рядом оказался комбат. Он лежал на насыпи и с остервенением бил по селу, тщательно прицеливаясь и что-то приговаривая. Артем подполз к нему, лег рядом, попытался рассмотреть, в кого он там целится. Ничего не увидев, кроме все тех же пустых домов, стал стрелять в том же направлении.

Заметив Артема, комбат оторвался от автомата, толкнул его локтем:

— Ну-ка, вызови мне броню.

— Что?

— Броню вызови, глупый хер!

Артем перевернулся на спину, включил рацию. Оба бэтэра ответили сразу:

— «Пионер», это «Броня 185», на приеме.

— «Пионер», я «182-й», прием.

— Товарищ майор, «Броня». — Артем протянул комбату наушники и ларингофон.

— «Броня», «Броня», это главный. — Комбат прижал один наушник к уху. — Значит, так. Простреляете село. Первыми — дома перед нами. И чуть влево возьмите, вон туда, где кирпичный особняк. — Комбат показал рукой на стоявший в отдалении дом, как будто в бэтэрах его могли видеть. — Затем выдвигайтесь, прикроете нас броней. Начинаем отходить. Все, приступили!

Он вернул Артему наушники, приказал:

— Передай по цепочке: начинаем отход. Короткими перебежками — один бежит, остальные прикрывают. И Ситникова приведи ко мне.

Ситников лежал метрах в десяти правее. Артем пополз к нему, по дороге дернув двоих солдат за штанины: «Отходим».

— Товарищ майор, к комбату! Отходим. — Затем, повернувшись к лежавшему рядом пулеметчику, уткнувшись лицом в землю, проорал и ему: — Отходим! Перебежками по одному! Передай по цепочке! Слышишь!

Пулеметчик поднял голову, посмотрел на него меланхолично и опять уткнулся в землю. Его ПКМ молча стоял рядом, за все это время он, видимо, ни разу не выстрелил. «Заклинило башню у парня», — подумал Артем и затряс его:

— Эй, ты, чего не стреляешь, а? Слышишь меня? Чего не стреляешь, говорю? Ранило, что ли?

Пулеметчик снова поднял голову, глянул на Артема безразличными ко всему, пустыми глазами. «Нет, не ранило, — понял Артем. Ему был знаком этот тупой, безразличный взгляд. — Сломался, не выдержал болота». Такое бывает. Вроде только что нормальный был парень, а смотришь — уже еле ноги передвигает, двигается как сомнамбула, наклонив голову, будто нет сил держать ее прямо, из носу свисает сопля. Сломала такого война. И очень быстро — за день-два — человек опускается, ничему не сопротивляется, апатично принимая все, как есть. Его можно бить, пинать, рвать пассатижами, отрезать пальцы — он все равно не проснется, не ускорит темпа, ничего не скажет. Это лечится только сном, отдыхом и жарочкой.

Пулеметчик долго тормозил, потом выдал неуверенно:

— Патронов мало...

Артем вдруг почувствовал бешеную злобу.

— Твою мать, ты чего сюда, воевать приехал или хер в стакане болтать! Очарованный! На хрен ты тут нужен со своим пулеметом! А? Патронов у него мало! Солить их будешь, домой с собой повезешь? Куда их еще беречь-то, не видишь, война началась, тормоз хренов! А ну дай сюда!

Перегнувшись через него, Артем схватил пулемет, воткнул сошки в землю и одной длинной очередью расстрелял по селу пол-ленты. Потом со злостью сунул ПКМ в широкую, но вялую грудь:

— На, держи! Отходи! И хреначь давай вовсю, у тебя ж пулемет, сила! Так и заткни им глотки к чертовой матери!

Пулеметчик молча взял у него ПКМ и, так и не стреляя, волоча пулемет затвором по земле, пополз к лесу. Артем совсем взбесился, хотел пнуть его по заднице, но потом махнул рукой: полудурок.

Пехота на правом краю поляны зашевелилась. Одна за одной там стали подниматься фигурки солдат, пробежали метров пять — семь и падали. За ними перебежали другие.

Бэтэры ожили в кустах, взревели движками, выпустив в воздух клубы солярного дыма, и вылезли на колею, остановившись между ними и селом. Башни их повернулись в сторону домов, застыли на мгновение, чуть

подрагивая хоботами стволов, вынюхивая противника. И, выждав секунду, оба КПВТ вдруг одновременно заговорили.

Артему раньше никогда не приходилось видеть работу КПВТ вблизи. Эффект был ошеломляющий. Могучий четырнадцатимиллиметровый грохот заглушил все вокруг, уши опять заложило. Звуковой удар был настолько сильным, что Артем почувствовал его телом сквозь пластины броника. Снопы огня из стволов мерцанием озаряли поляну, трассера втыкались в дома, пробивали стены и рвались внутри, потрошили крыши, валили деревья, начисто срезали кусты. На село мгновенно обрушилось такое количество металла с невероятной кинетической энергией, что оно моментально было убито, растерзано снарядами, разорвано в клочья.

Артему опять стало не по себе, его вновь охватило то же чувство, что и при обстреле Алхан-Калы саушками. Каждый раз, когда говорил крупный калибр, не важно, свой или чужой, он чувствовал это морозное беспокойство внутри. Это не страх, хотя и он бывает таким холодным. Это другое чувство, какое-то животное, оставшееся в генетической памяти от предков. Так, наверное, в ужасе замирает суслик, услышав рев льва и почувствовав мощь его глотки по колебаниям почвы.

Ведь он тоже убивал или по крайней мере хотел убить тех людей, что стреляли в него, но его убийство было другое, маленькое, подконтрольное ему. Смерть, которую нес он, не была уродливой — аккуратная дырочка в теле, и все. Его смерть была справедливой — она давала шанс спрятаться от пульки, укрыться от нее за стеной, как он сам не раз укрывался от их пуль. Укрыться же от КПВТ было невозможно, этот калибр доставал везде, пробивал стены насквозь и убивал, убивал страшно, с ревом, отрывая головы, выворачивая тела наизнанку, срывая мясо и оставляя в бушлатах только кости.

Он не испытывал никакой жалости к чехам или угрызений совести. Мы враги. Их надо убивать, вот и все. Всеми доступными способами. И чем быстрее, чем технически проще это сделать, тем лучше.

Просто...

У них ведь тоже есть КПВТ.

Пока бэтэры обрабатывали село, пехота перебежала в лес, группировалась там. Артем с Ситниковым пропустили всех мимо себя, поднялись последними и, коротко постреливая, побежали вслед за пехотой.

Одним рывком пробежав лес, они выскочили на опушку, за которой начинался коровий выпас. Бэтэры уже были здесь. Отстрелявшись, они обогнули лесок и медленно двигались по колею вдоль села, изредка давая по домам одну-две очереди. Пехота, пригибаясь, перебежала за ними, шла, укрываясь броней.

На выходе из леска Артем нос к носу столкнулся с Игорем. Тот тоже задержался, пропуская свое отделение. По своей привычке ткнув Артема в плечо, Игорь ослабил:

— Жив?

Артем улыбнулся в ответ:

— Жив. А ты?

— А чего мне! Жив... Ух, ё, отоварились мы неплохо! — Игорь еще не отошел от боя, был возбужден, весел. — Наши машины за вами шли. Слышим, у вас пальба началась. Мы — к вам. Тут ка-ак пошло — со всех сторон из автоматов. Думал, всех покрошит... Суки, сзади они зашли, с тыла. А тут разведчик еще этот ваш, как его, Антоха. Мы его чуть не пристрелили — смотрим, из кустов кто-то выбегает и на броню к нам лезет. Думали, чех...

— Чего с Антохой-то? Ранило?

— Да нет, его с машины ветвями сбросило... Блин, а далеко нам еще бежать-то, смотри. — Игорь смерил расстояние до поворота, где за сараем стоял комбатровский бэтэр и кончалась зона видимости из той окраины села,

где были чехи. — Пока по лесу этому набегался, устал как собака. И на черта я броник надел!.. Ладно, давай первым, я прикрою.— Пока они обменялись новостями, пехота отошла, и Артем с Игорем остались вдвоем.

— Нет, давай сам отходи. Вон до той арматурины, я за тобой.

— Лады. — Игорь поправил броник, пригнулся и побежал к лежащему метрах в пятнадцати от них то ли фрагменту башенного крана, то ли какому-то куску с элеватора. Добежав, упал с разбегу, перевернулся головой к селу, взяв его на прицел, махнул Артему рукой.

Выходить из-за деревьев на открытое пространство было неприятно. В голове промелькнула картинка — неслышно вылетающий из кустов прямо в них трассер, и твердая башня, и рикошет внутрь тела. Артем глянул на дома. Совсем рядом, с такого расстояния из СВД в ухо попасть можно. Если шмальнут напоследок, убьют с первой пули, не спрячешься.

Стараясь не думать об этом, он рванул из-за деревьев, помчался к Игорю.

Пехоту они догнали в два приема, влились в очередность перебежек.

Артем перебегал уже с трудом. Каждый раз падать и подниматься было невыносимо, ноги и руки дрожали, и он, проклиная неудобный броник, чертову связь и эту паскудную рацию, едри ее в бога душу мать, после очередного рывка уже лишь приседал на одно колено, тяжело дыша, с тоской примеривался к следующему броску, и к следующему, и дальше, до поворота, где за сараем остался комбатровский бэтэр и было еще метров триста, не меньше.

Невероятно хотелось пить. Вода, которую он набрал еще вчера в батальоне, вчера же и закончилась. Ненужная фляжка теперь только мешала, стучала по бедру. Пустая, она оказалась намного тяжелее полной.

Артем с трудом отгонял желание напиться из лужи. Целый день он, экономя тепло, ничего не пил, а те запасы жидкости, что остались в организме, выжал из него броник, выдавил по капле из каждой поры. Пот ручьями заливал глаза, во рту пересохло, спину ломило так, что, казалось, уже ни в жизнь не разогнуться. Ставшее насквозь мокрым белье липло к телу, при каждом движении из-под ворота пыхало влажным жаром. Неподъемный автомат оттягивал руки. Сил совсем уже не осталось, и вскоре Артем перестал даже приседать на колено, просто устало шел, пригнув голову.

Рядом так же тяжело тащился Игорь.

Пехота тоже уже не перебежала — брела. Все чертовски устали.

Они отходили по усеянному коровьими лепешками полю, не обращая внимания на оставшиеся за спиной дома, где все еще могли быть чехи, мечтая лишь поскорее добраться до брони, лечь и вытянуть гудящие ноги.

Но растянуться на броне комбат не дал. Когда они дошли до поворота и уже полезли по машинам, комбат, кроя их матюгами, приказал отходить дальше, до позиций семерки, до которых было еще полкилометра и где Артем вчера разговаривал с Василием. Вчера? Как давно это было, как долго тянется день... И никак не закончится, зараза, и снова идти!

И они, прикрываясь броней, опять шли, лезли через канаву с грязной водой, в которой вчера застревали бэтэры, поскользывались на жидкой разъезженной глине, падали и возились в грязи, уже не в состоянии подняться самостоятельно. И поднимать других сил тоже уже не оставалось.

До первого окопа, где над бруствером торчали головы семерки, с любопытством разглядывающей их, выходящих из боя, оставалось всего метров пятнадцать, когда Артем понял, что не сделает больше ни шагу. Разгонная круги, цветным калейдоскопом мелькавшие перед глазами, он рухнул на небольшую кочку, привалился к ней спиной, выбрав место между двух коровьих лепешек. Рядом упал Игорь. Пехота также осыпалась на землю, чуть-чуть не доползая до брустверов.

Они сидели тяжело дыша, не в силах сказать ни слова, хватая ртом воздух. Но жажда была сильнее усталости, и, обливав растрескавшиеся губы, Артем выдавил из себя:

— Мужики... воды... пить...

Из окопа вытащили алюминиевый бидон — в таких в деревнях хранят молоко, — поставили перед ними, протянули черпак. Артем откинул крышку, заглянул внутрь. Вода была мутная, с водорослями, и, когда он опустил в бидон черпак, из-под ряски выскользнули два малька, заметались в небольшом пространстве, ударяясь в стенки, подняли со дна ил.

Артем глянул на солдат:

— Откуда вода?

— Да вон из речки набрали. — Конопатый сержант кивнул на почти стоячую речушку, которая петляла по выпасу. Артем проследил ее взглядом. Речушка вытекала из того самого леска, откуда только что вышли и они. «Из болота, сто пудов. Надо было в канаве напиться, не ждатель», — подумал Артем и припал к черпаку.

Никогда в жизни он не пил ничего вкуснее этой тухлой болотной воды. Он пил ее, ледяную, огромными глотками, взхлеб, засасывая вместе с водорослями, изредка отрываясь от черпака, чтобы отдышаться, и вновь припадая к нему. На зубах хрустнул малек. Артем не остановился, не в силах оторваться, проглотил и его, живого.

Литровый черпак он выпил до дна. Вода моментально выступила потом. Артем рукавом вытер подбородок, отдышался и зачерпнул второй раз.

Напившись, он передал черпак по кругу, сам снова отвалился на бруствер, закурил и наконец-то вытянул горящие ноги, ощущая в мышцах невероятную, но уже приятно проходившую усталость. Туман и гул в ушах утихли, силы стали возвращаться к нему, он оживал.

Оживала и пехота. Сорокалитровый бидон они уговорили за две минуты и теперь рассаживались на земле, закуривали. Послышались разговоры.

К ним стала подтягиваться вылезшая из окопов семерка, расспрашивать про бой. И пехота разгусарилась, распустила перья, с небрежностью бывалого солдата начала рассказывать им «про войну». Эта перестрелка, бывшая для многих из них первым боем, прошла удачно, без потерь, и их, отдохнувших, уже переполняло ощущение, что все было не так уж и страшно, что война — это раз плюнуть и воевать всегда будет так легко. Они стреляли, в них стреляли, пули по-настоящему свистели над головами, и им есть о чем рассказать дома. Они чувствовали себя рейнджерами, стопроцентными боевиками, прошедшими огонь и воду. Адреналин, выхлестнутый страхом в гигантских количествах, забурлил в крови. Шапку — на затылок, автомат — на плечо, плевки — мужественные.

Артем с улыбкой смотрел на них — он и сам был таким же, — слушал их разговоры.

— А мы с комбатом бежим, смотрим, чех какой-то из дома на крыльцо вылез, посмотреть, что происходит. Ну, комбат АКС свой вскинул — и по нему. Тот — брык на землю и пополз за дом шкериться. А комбат все по нему хреначит... Рожок, наверно, выпустил. Рожа довольная, лыбится: «Хе, — говорит, — глупый хер».

— ...разведка это, пробовали пути, где из села уйти можно. Их было немного, вишь, в бой не ввязывались, обстреляли — и в кусты. Это их тактика. Подползут, вмажут из граника пару раз и уходят. Когда к пятнашке под Октябрьское на усиление ездили, они так бэтэр сожгли.

— ...с бэтэра упал, а надо мной пули шась-шась по веткам. И низко так, сука, прям над головой. Как начали хреначить! За кусты отполз, смотрю: наши на полянке лежат...

На село уже никто не обращал внимания. Бой закончился, напорováшаяся на них чеховская разведка, шуганув их, то ли ушла, то ли затаилась, но ничем себя не выдавала. И они расслабились, разлеглись на мокрой холодной траве перед окопами, не прячась в землю и не маскируясь, открыто собравшись в кучу, чего на войне делать ни в коем случае нельзя.

За эту беспечность чехи их незамедлительно наказали.

Свист они услышали одновременно. Он начался в селе, нарастая, вонзился сквозь усталость в мозг и кинул их на землю.

— Опять началось!

— Ложись! Мина!

— Не дадут уйти, суки!

Они попадали, расплозились по-за кочками. Усталость мгновенно ушла, тело вновь пронзило жаром.

Первая мина разорвалась довольно далеко, на выпасе. Вслед за ней, пристрелочной, из села вылетели еще несколько штук, начали рваться все ближе и ближе, надвигаясь на них.

Артем упал неудачно. Он лежал на возвышении ничем не прикрытый — ловушка для осколков, — и его отлично было видно со всех сторон.

Очередная мина тяжелой дождевой каплей ударилась в землю, потрянула почву. С неба посыпались мелкие комочки мерзлой глины. Один больно стукнул по затылку.

Артему захотелось стать маленьким-маленьким, свернуться в клубок и раствориться в земле, слиться с ней, чтобы никак не выделяться над ее спасительной поверхностью. Он даже представил, как это будет, — малюсенькая норка, в которую не залетит ни осколок, ни пуля, а в норке, укрытый со всех сторон, сидит малюсенький он и осторожно выглядывает наружу одним глазом. С каждым разрывом ему хотелось быть в норке все сильнее и сильнее, и, когда рвануло совсем рядом, он, вздрогнув телом, уже поверил в эту норку и с крепко зажмуренными глазами, боясь их открыть перед смертью, стал шарить рукой по траве, отыскивая вход.

Но входа не было. Тело его не слушалось, не хотело прятаться, стало огромным, заполнило собой всю поляну, и промахнуться по нему было невозможно.

Сейчас убьет.

Зря он приехал в эту Чечню. Зря.

Господи Боже мой, мама дорогая, сделай так, чтобы он не был в этой Чечне! Сделай так, чтобы этот следующий разрыв, его разрыв, оказался бы на пустом месте, а он был бы дома! Ведь это же нелогично! Ведь еще что-то можно исправить, как-то все можно решить! Давай договоримся! (С кем? С судьбой? Богом? Какая разница, что-то там есть такое, и оно может!) Он будет дома делать все, что угодно, никак не гневить тебя — может, он недостаточно любил близких, причинил им много зла, и ты разгневался на него за это (какой бред, при чем тут близкие? Нет, не бред, не бред, не каркай, пускай поверит, а то еще передумает!). Он обещает: он попросит прощения у всех за причиненные им страдания, он будет любить всех подряд, а деньги, которые заработает здесь, он отдаст в фонд чеченских детей-сирот, пострадавших от этой войны! (Какие деньги, ведь его уже здесь нет. Правда, Господи?) Клянусь, бля! Я отдам все деньги, только уברי меня на хрен отсюда!!! Летит!!! А-а-а!!!

Понимая, что это уже смерть, что ничего нельзя успеть за те короткие доли секунды, ставшие совсем уж паскудно короткими, — мина долетит гораздо быстрее, чем он даже успеет подумать, что нужно метнуться вон в ту ямку, где лежит Игорь (успел, подумал), быстрее, чем он успеет закончить хоть одно движение пальцем — ведь она уже летит, — Артем вскочил и с горловым воем, перемешав в нем и крик, и страх, и в печенку всех святых, выпучив глаза, ничего не видя, кроме ямки, ринулся туда и, поскользнувшись на сырой траве и перебирая по земле руками и ногами, влетел, скатился в ямку и замер в ожидании близкого разрыва, уткнувшись лицом в коровью лепешку...

Мина, сильно перелетев, разорвалась намного дальше остальных, на другом краю выпаса.

Никто не двигался.

Затем потихоньку зашевелились, начали отряхиваться.

Артем вынул лицо из лепешки, поводит вокруг ошалелыми глазами и, пробормотав «пронесло», стал счищать дерьмо ладонью, стряхивая его с пальцев. Мысли еще не вернулись. В ушах стоял лишь свист мины, его мины, — короткий, резкий и пронзительный, раз за разом вылетающий из села и попадавший прямо в него, и Артем счищал свежую, жидкую еще лепешку со своего лица автоматически, даже не чувствуя брезгливости, готовый в любую секунду снова спрятаться в дерьмо.

Рядом так же меланхолично отряхивался пехотный взводный. Стоя во весь рост, он медленно, по одной, снимал со штанины травинки и кидал их на землю. Потом задержал одну в руках, повертел ее, разглядывая, и задумчиво произнес:

— Вообще-то у меня сегодня день рождения...

Артем несколько секунд молча смотрел на взводного, а потом вдруг, сразу, без предупреждения, заржал.

Сначала он смеялся тихонько, пытаясь остановиться, затем, уже не в силах сдерживаться, все сильнее и сильнее, все громче. В его смехе появились истерические нотки. Откинув голову назад, он перекатился на спину и, глядя в затынутое низкими серыми тучами небо, раскинув руки, гоготал как безумный. Страх, только что пережитый им под минометным обстрелом, выходил из него смехом. Обволакивающий, бессильный страх обстрела, не такой, как в бою, от тебя ничего не зависит и ты никак не можешь спасти свою жизнь и никак не можешь защитить себя, а просто лежишь, уткнувшись в землю, и молишься, чтоб пронесло...

Игорь уселся рядышком на корточки, закурил. Некоторое время он молча смотрел на Артема, потом толкнул его в плечо:

— Слышь, земля... Ты чего? — В его голосе слышалась усталость, непрокашлянная сухая хрипотца. Тоже испугался. Страх опустошает, вытягивает силы. Даже говорить становится тяжело.

Артем не ответил. Смех прорывался сквозь него постоянным потоком, и он не мог остановиться. Потом, немного отдышавшись, он заговорил с трудом, прерывая слова хохотом:

— День рождения! Точно... Не бойся, земля, я в порядке, башня на месте... Знаешь чего, — он, похохатывая, опять стал вытирать лицо ладонью, размазывая по щекам коровье дерьмо вперемешку со слезами, — просто я вспомнил. Сегодня пятое января... Пятое... января... — Артем снова сломался смехом, который попер из него второй волной, захлебнулся.

— Ну и что? — Игорь смотрел на него уже с беспокойством.

— Да понимаешь, у моей Ольги сегодня день рождения, — Артем вроде отхохотался, — понимаешь, сегодня пятое января, они там только что отпраздновали Новый год — Новый год, кстати, был, с прошедшим тебя, — а сейчас сидят за праздничным столом, все такие красивые, нарядные, и пьют вино, и закусывают вкусной едой, галантные такие, и у них там сплошные праздники, и что такое обстрел, они не знают... — Артема озарило: — Етитские помидоры! Да у них там цветы! Понимаешь, цветы! А у меня тут... морда в говне... Ой, мама, не могу... и еще, знаешь... вша по мудям ползет... — Он опять заржал, отвалившись на спину и покачиваясь с боку на бок.

Мысль о цветах поразила его. Ему совершенно отчетливо представилось, как его Ольга в этот момент, именно сейчас вот, в эти вечерние секунды, сидит за накрытым белой скатертью столом с бокалом хорошего сухого вина — она любит сухое и не пьет дешевое, — в окружении огромных красивых букетов и, улыбаясь, принимает поздравления. Комната залита ярким светом, и гости при галстуках, радуются и танцуют. И рабочий день у них закончился — в том мире есть время работать и время веселиться. Это только в этом мире всегда — время умирать..

Сидя в окопе, кажется, что воюет вся земля, что везде все убивают всех и горе людское заползло в каждый уголок, докатившись и до его дома. Иначе и быть не может.

А оказывается, еще есть места, где дарят цветы.

И это было так странно. И так глупо. И так смешно. Ольга, Ольга! Что случилось в жизни, что произошло с этим миром, что он должен быть сейчас здесь? Почему вместо тебя он должен целовать автомат, а вместо твоих волос зарываться лицом в дерьмо? Почему?

Ведь, наверное, они, вечно пьяные невытые контрачи, измазанные в коровьем дерьме, — не самые худшие люди на этом свете.

На сто лет вперед им прощены грехи за это болото.

Так почему же взамен они только это болото и получили?

Странно это все как-то.

Любимая, пускай у тебя все будет хорошо. Пускай в твоей жизни никогда не будет того, что есть у меня. Пускай у тебя всегда будет праздник, и море цветов, и вино, и смех. Хотя, я знаю, сейчас ты думаешь обо мне. И лицо твое грустно. Прости меня за это. Ты, самая светлая, достойна лучшего. Лишь бы у тебя все было хорошо.

А умирать на этом болоте предоставь мне.

Господи, какие же мы разные! Всего лишь два часа лету нам с тобой друг до друга, а такие две разные жизни у нас с тобой, двух таких одинаковых половинок! И как тяжело будет нам соединять наши жизни вновь...

Игорь досмолил свой бычок, воткнул его в землю. Его лицо стало задумчивым, в глазах проплыли нарядные платья, духи, вино и танцы... Потом он глянул на Артема, на его драный бушлат и грязную морду, и тоже засмеялся:

— Да, бля! Поздравляю! Отпраздновал...

Поесть в этот день так и не удалось. Как только они вернулись в батальон и Артем, спрыгнув с брони, направился к своей палатке, он нос к носу столкнулся с вынырнувшим навстречу взводным. Быстро поздоровавшись и спросив про бой, взводный озадачил его по новой — ехать связистом с толстым лейтенантом-психологом.

Психолог этот раньше служил вроде как в ремроте. А может, и в РМО штаны просиживал, в общем, толку от него не было никакого, так — не пришей кобыле хвост. Но потом, когда полк отправляли в Чечню, выяснилось, что в каждом батальоне по штату должен быть свой психолог, чтобы любой солдат, у которого башня клина схватит, мог прийти и пожаловаться ему на свою психическую несовместимость с войной в частности и с армией в целом. Но настоящих психологов, понятное дело, в войсках днем с огнем не сыщешь. И лечить солдат от депрессии насобирали по батальонным закоулкам всякую шелупонь вроде толстого лейтенанта. Впрочем, к нему никто ни разу за помощью так и не обратился. Потому что единственным способом, которым психолог мог поставить заклинившую башню на место, был мощный удар в грызло. А кулаки у него — будь здоров.

Но человек он был энергичный, сидеть без дела ему было скучно, и он брался за все подряд, неформально исполняя обязанности на должности «принеси-подай иди на хрен не мешай».

На этот раз задачу психологу нарезали следующую: добраться до Алхан-Юрта, разыскать там батальонную водовозку — АРС, попавшую в засаду и сожженную чехами, и оттащить ее в ремроту. А также узнать, что стало с водителем и сопровождавшим его солдатом, живы ли они, и если нет, то разыскать и привезти их тела.

Поехали втроем — психолог, Артем и Серега-мотолыжник, водитель этой жестянки — МТЛБ, мотолыги.

Ехать на мотолыге было не так удобно, как на бэтэре. Хотя она намного шире и совсем плоская, но на поворотах ее, гусеничную, резко дергало, и Артем, пытаясь зацепиться за рассыпанные по броне бляшки-заклепки, все время чувствовал себя жирным блином на скользкой сковородке.

Опять это унылое слякотное поле, опять колея, чавканье гусениц по жиже, опять дождь. Брызги грязи опять вылетают из-под гусениц, шлепаются на броню, попадают в лицо. А бушлат так и не просушен, и сапоги совсем сырые. Уже который месяц. И уже который месяц грязное все. И опять холод. Этот вечный холод, как он достал, сука, хоть денечек бы пожить в тепле, прогреть кости. И есть охота. Они жмутся, закуривая, кутаясь в воротники. Опять поворот, федеральная трасса, «Русские — свиньи»... Как же задолбало-то все, как домой-то охота!

На этот раз они повернули не к элеватору, а в противоположную сторону, налево, к центру. По трассе доехали до поворота на Алхан-Юрт, свернули, прижались к домам и на тихом ходу проползли еще метров пятьсот, до свежей, отстроенной, видимо, совсем недавно, но уже напрочь разбитой мечети. Здесь начиналась зона разрушений. Во дворах — две-три стены и посередине куча мусора. Либо просто одна стена, как человек, вывернутая взрывом наизнанку, трепещущая на ветру голыми обоями, выставляя то, что должно быть внутри, наружу.

Около мечети их остановили взвэшники. Они кучковались в пустой коробке складского двора, прижавшись с внутренней стороны к стенам забора. Дальше дороги не было — остальную часть села, за поворотом, занимали чехи.

Засели они там плотно. Весь день напролет в селе кипел обстрел. Разрывы сменяли друг друга один за одним, снаряды падали так же непрерывно, как и этот непрекращающийся холодный зимний дождь. Где-то чуть дальше, ближе к реке, шла постоянная стрельба, автоматная трескотня выделялась из общей канонады.

Жизни в селе нет. Улицы пустынные, местных не видно. Дома стоят мертвые. Только взвэшники жмутся вдоль заборов, расползаются по канавам. Изредка, выглянув предварительно из-за угла, бегом пересекают открытое пространство.

Артем с психологом сразу приняли правила игры. Перевернулись на животы, распластались по броне, прижались. Психолог, наполовину свесившись, заорал:

— Эй, мужики! Тут где-то наш APC сожгли! Не видели?

— Видели. — Один из солдат, по самые пятки утонувший в большом бронике, указал вдоль улицы: — Вон он стоит. Мы его вытащили.

Артем глянул туда, куда показывал взвэшник. За поворотом, где начиналась мертвая зона, на обочине дороги громоздилась груда ржавого обгоревшего железа.

Психолог тоже глянул в ту сторону, потом недоуменно повернулся к солдату:

— Вот это вот? Это — наш APC? Не, ты чего, это не наш... Наш новый был.

Солдат посмотрел на него как на идиота. Психолог сконфузился, тоже понял, что ляпнул глупость. Был новый, стал старый. На войне это быстро происходит, в два счета. Это только в мозгах долго укладывается. Как с человеком — был живой, стал мертвый.

— Слушай, а его на сцепке тащить можно, как считаешь?

— Можно. Я ж говорю, мы его тащили. Только бросили. На хрена он вам? Все равно не восстановите.

— Нужен. Списывать-то надо. А водила где, не знаешь?

— В полк пошел. Ранило его. И второй, который с ним был, — его тоже ранило. Они вместе ушли.

— Ясно. — Психолог отвернулся от вэвэшника, сунул голову в водительский люк: — Серега, давай туда. Вон он, видишь?

Мотолыга, хрустя гусеницами по разбитому, в крошках кирпича асфальту, на медленном ходу подобралась к АРСу, развернулась задницей. Серега начал сдавать потихоньку, психолог корректировал, для лучшего обзора привстав на колени. Артем снял рацию, приготовившись, лежал на броне. Когда психолог махнет рукой и Серега станет, ему придется спрыгнуть и зацепить АРС сцепкой.

В проплывавшей слева канаве лежали вэвэшники, отрешенно наблюдали за их манипуляциями. За канавой было поле, засеянное кукурузой. В поле — одинокий фермерский дом. Из дома с периодичностью в четыре-пять секунд вылетали трассера и уходили в сторону Алхан-Калы. Красные черточки были отчетливо видны на фоне вечернего леса. Трассера медленно наискось пересекали улицу метрах в пятидесяти от них, навесом улетали за реку и там терялись в крышах домов и клубах разрывов.

Артем вдруг понял, что они находятся в центре войны. Тот кусок, что они зацепили на болоте, — лишь край пирога, цветочки. А середка с ягодами — здесь.

Из дома, не прячась, бьет чеченский снайпер. Вокруг стайками бродят вэвэшники. И также стайками где-то чуть дальше бродят чехи. Их там метелят разрывами, но наши тоже там есть — отсюда не видно, но чеченский снайпер в доме видит их и стреляет по ним. А они здесь видят снайпера, но никто его не трогает. Вэвэшникам наплевать на него — столько они уже провалялись в своей канаве, столько трескотни и трассеров пролетело над их головами, что на одинокого снайпера уже никто не обращает внимания. А им — Артему, Сереге и психологу — до снайпера тоже нет никакого дела — они вообще сейчас не воюют, они приехали сюда вытаскивать свой АРС, расстрелянный, похоже, именно из этого дома, где сидит сейчас чеченский снайпер. И снайпер их, конечно, тоже видит, но тоже не стреляет по ним, ему сейчас нет до них дела, у него более интересная мишень — его трассера уходят за реку, в одному ему видимую точку. А наши там, в той точке, видят только снайпера, и он для них сейчас — самое главное и самое страшное, и они хотят, чтобы кто-нибудь здесь его убил. Но его никто не трогает, потому что убить, выковырять его трудно, можно только обстрелять, временно заткнуть, но тогда он непременно начнет обстреливать нас в ответ и непременно кого-нибудь убьет. Но он пока по нас не стреляет, и лишний раз трогать его нет никакой необходимости. И война крутится вокруг, и ни черта не понятно, как обычно, и каждый делает свое дело: снайпер стреляет, вэвэшники воюют, они вытаскивают, снаряды рвутся, пули летают, раненый водила пошел пешком домой, как школьник после уроков, — и каждый варится в ней, в войне, и сейчас короткое перемирие, и нарушать его никому не хочется. И все так буднично, так обычно.

Но все же бог его знает, чего там будет дальше, что там в башке у этого снайпера. Так что держаться надо аккуратнее.

— Товарищ лейтенант, вы бы легли, вон снайпер бьет.

Психолог посмотрел на дом, проводил взглядом трассер, потом лег на брону и махнул рукой:

— Хорош, стоп! — и, повернувшись к Артему: — Цепляй.

Вэвэшник оказался прав — от АРСа ни черта не осталось. Голые обода колес с проволокой от сгоревших шин, заячья губа полуоткрытого капота, задравшегося от ударов пуль, насквозь пробитая, изрешеченная кабина — в несколько стволов расстреливали, в упор, — как водила с этим, со вторым, выжили, вообще непонятно. Кровь одного из них осталась на подножке, присохла к железу.

Артем накинул сцепку, махнул психологу рукой и залез на броню. Серега тронулся, АРС скрипнул, дернулся и, стеная всем своим покореженным, обгоревшим железом, потащился вслед за ними домой.

Для них война на сегодня кончилась. Они уходили.

А за АРСом через реку все так же летели трассера, и взвэшники все так же валялись в своих канавах, а Алхан-Кала кипела от разрывов. И все так же шел дождь.

Миномет болтался за бортом шишиги, мягко подпрыгивая на кочках. Слепой, зачехленный глаз его ствола пялился в небо. В бельмо чехла хотелось плюнуть.

Артем сидел на низенькой скамеечке шишиги, курил, упершись одной ногой в борт. Ни о чем не думал. Все происходящее вокруг — туманное сырое утро, морось, поле — все то же чертово поле, день за днем одно и то же, колея — все та же, трасса, Алхан-Юрт — протекало мимо сознания, не задерживаясь в нем.

Он снова ехал в Алхан-Юрт, на этот раз с минометной батареей. Две шишиги с двумя расчетами «васильков» шли на огневую поддержку к пехоте, к семерке, туда, где вчера днем они вышли из боя и где они с Игорем пили зеленую воду с мальками, а потом ржали, вспоминая про день рождения.

Опять поворот с трассы, лужа, бытовка Коробка, сам Коробок — голый по пояс, он бреется перед обломком зеркала, установленного на вкопанной в землю деревяшке, коттедж ПТВ. Васи не видать, а жаль, поздороваться бы. Может, штаны бы успел забрать — до сих пор не нашел их, штанов-то.

Доехав до передовых позиций семерки, машины остановились. Минометчики высыпались из кузовов и, как муравьи облепив станины, начали расчехлять, отцеплять и устанавливать минометы. Все это они делали так быстро, резво, без команды, что Артем подивился — такой слаженности ему видеть еще не приходилось. Да, неплохо их натаскал командир батареи. Артем даже еще не успел бычок выкинуть, высасывая из него последний никотин, а минометчики уже полдела сделали.

Через несколько секунд от них последовали доклады. Комбат минометки, сухой жилистый мужик с длинным и скуластым рубленным лицом, нервный, шустрый, сильный и жесткий, всегда уверенный в своей правоте, убивавший легко и вроде даже с радостью, стоял около шишиги и рассматривал Алхан-Калу в бинокль. Позвал Артема:

— Давай, связь, доложи комбату, что я к стрельбе готов. И уточни координаты. Сейчас мы этим козлам вмяндячим по полной.

Артем вызвал «Пионера».

— «Пионер», я «Плита», прием! К стрельбе готов. Уточни координаты, прием.

— «Плита», я «Пионер». Стрельбу отставить. Повторяю: стрельбу отставить, возвращайтесь домой.

— Не понял тебя, повтори. Как — отставить?

— «Плита», «Плита», стрельбу отставить, сворачивайтесь.

Артем снял наушники, ничего не понимая, посмотрел на комбата минометки.

— Мы чего, ждем чего-то, товарищ капитан?

— Чего ждем?

— Приказано все отставить. Возвращаемся домой.

— Как — домой? Ты не понял. Передай, что я прибыл на место, готов к стрельбе. Спроси, куда мне стрелять, координаты те же или новые данные?

Солдаты стояли вокруг, слушали их разговор, курили, выжидающе глядя на Артема. Он знал, они обожали стрелять. Они чаще всех выезжали

«на войну» — на усиление к другим частям — и, возвращаясь, были возбуждены, говорливы. Их минометка была как бы отдельным подразделением. Пока батальон кис в землянках во втором эшелоне, умирая со скуки, они мотались по всей Чечне, воевали, делали дело, стреляли по врагу и любили эту работу. И кичились этим. Они были вроде как сами по себе, чужие в этом батальоне, жили своей жизнью. Это было настоящее боеготовое подразделение, с жесткой уставной дедовщиной, ни о чем не думающее, выполняющее приказы безоговорочно, выдающее в своем комбате бога и полностью доверяя ему. И он им тоже полностью доверял. Он суетился, находил им жратву, устраивал бани и в конце концов сумел своим авторитетом построить в батарее армию, какой он ее видел, и не пуская в батарею ни одного начальника, кроме себя, как хороших собак, приучив солдат слушаться только своих команд.

Вот и сейчас они ждали от комбата команды, не понимая, в чем задержка.

И комбат тоже ждал команды от Артема и тоже не понимал, в чем задержка.

Артем снова вызвал «Пионера». И снова в ответ прозвучало «отставить». Артем посмотрел на комбата минометки, пожал плечами:

— Отставить.

— Я чего ему, мальчик, что ли, туда-сюда меня гонять, — комбат минометки взъелся, — то стреляй, то не стреляй!

Он вдруг замолчал, повернулся к солдатам. Лицо его потяжелело:

— Наводи! По старым координатам.

Солдаты разбежались по позициям, закрутили рукоятки наводки.

— Первый расчет готов!

— Второй расчет готов!

Комбат ничего не ответил. Он припал к биноклю, молча смотрел на Алхан-Калу, словно пытался различить там чехов.

С семерки, из окопов, вылез пехотный лейтенант, подошел к ним, стал рядом с комбатом. Тот не обернулся. Лейтенант поправил автомат, некоторое время постоял молча, тоже глядя на Алхан-Калу, потом спросил:

— Что, стрелять будете?

— Не знаю. Хочу вмяндячить пару раз.

— Там наши. — Пехотный лейтенант кивнул на лесок и дальше, туда, где было болото.

— Где? — Комбат оторвался от бинокля, вопрошающе глянул на него.

— Да вон там, где лесок. Там болото дальше, там наш взвод стоит.

— Во, блин! А мне туда стрелять приказано. А дальше что, не знаешь?

— Не знаю. В Алхан-Кале чехи. А там вроде тихо пока.

— Ясно... Ну, до Алхан-Калы далековато, не добьет. У меня все-таки не саушки. Ясно. — Комбат повернулся к расчетам, произнес спокойным, остывшим голосом, уже без раздражения: — Отставить! Сворачиваемся.

Пока расчеты, недовольно ворча, зачехляли «васильки» и цепляли их к шишигам, комбат с пехотным лейтенантом закурили, разговорились. Артем тоже подошел к ним, прикурил у взводного, стал рядышком. Потек ленивый солдатский треп.

— А чего тут вчера было-то? — Комбат минометки сквозь струю дыма с прищуром посмотрел на взводного. — Говорят, тут комбат вчера отоварился. Не знаешь?

— Да, он хреначился тут. На чехов нарвался. Ездил как раз вот на это болото, его и обстреляли.

— А чего он туда потащился?

— А хрен его знает.

— Он нас менял, — сказал Артем, — мы с Ситниковым там с девяткой стояли, а он смену привел.

— Ну и чего было-то? Расскажи. — Минометчик заинтересованно глянул на Артема.

— Да чего... Постреляли немного и разъехались. Их разведка из села шла, на нас наткнулась. Сначала снайпер обстрелял, потом из минометов несколько раз вмазали.

— Убило кого-нибудь?

— Нет.

— Местных только, — сказал пехотный лейтенант. — Сегодня из села приходили, просили не стрелять, они их хоронить собирались. Восемилетнюю девочку и старика. Как комбат хреначиться начал, они в подвал прятаться полезли, да не успели. Из КПВТ их завалили, — лейтенант, затаиваясь «Примой», рассказывал об этом спокойно, как о том, что яичница на завтрак подгорела, — снаряд пробил стену дома и разорвался внутри. Девочку сразу убило, а старик в больнице умер. В Назрань его возили.

Артем молча смотрел на взводного, не отрывая глаз от его спокойного лица.

Щекам вдруг стало жарко.

Он вспомнил тот бой. Как пехота залегла на полянке за насыпью. И как из села вылетели две очереди и умолкли. И как он заорал: «Вон он, сука, в этом окне!», хотя не был уверен, что там кто-то есть. Но лежать под огнем просто так было слишком страшно и слишком страшно было подниматься с земли и ждать выстрелов из села. И он заорал.

В том окне никого не было, это стало ясно после первых очередей. Чехи куснули и отскочили. Но комбат все же приказал бэтэрам расстрелять село. Потому что боялся и хотел купить свою жизнь жизнями других. И они охотно выполнили этот приказ. Потому что тоже боялись.

Но если бы Артем не заорал: «Вот он!», комбат приказал бы расстрелять село на минуту позже, и девочка с дедом успели бы спрятаться в подвал.

Черт... Только этого не хватало...

Вчера он убил ребенка.

От этого Артему стало плохо.

И ведь ничего не сделаешь, никуда не пойдешь, ни у кого не попросишь прощения. Он убил, и это все, необратимо. Это — худшее, что может быть в жизни. Это даже хуже, чем потерять любимую женщину. Там еще можно как-то извернуться, поднапрячься кишками, что-то решить, уладить, упросить, завоевать....

Здесь — все.

Теперь всю жизнь он будет убийцей ребенка. И будет жить с этим. Есть, пить, растить детей, радоваться, смеяться, грустить, болеть, любить. И...

И целовать Ольгу. Прикасаются к ней, чистому, светлому созданию, вот этими вот руками, которыми убил. Трогать ее лицо, глаза, губы, ее грудь, такую нежную и незащищенную. И оставлять на ее прозрачной коже смерть, жирные сальные куски убийства. Руки, руки, чертовы руки! Отрезать их надо. Отрезать, выкинуть к черту. Теперь не очиститься никогда.

Артем засунул руки между колен и начал тереть их об штанины. Он понимал, что это психоз, сумасшествие, но ничего не мог с этим поделать. Ему казалось, что руки стали липкими, как после еды в грязном кафе в жару, на них налипло убийство, самое паскудное убийство, и оно никак не оттиралось.

Он не заметил, как приехал в батальон, как вошел в палатку, сел около печки. Он очухался, только когда Олег протянул ему котелок с кашей:

— На, ешь, мы тебе оставили.

— Спасибо. — Артем взял котелок, начал отрешенно закидывать кашу внутрь себя. Потом остановился. — Помнишь, Олег, вчера нас чехи дол-

банули под Алхан-Юртом. Знаешь... Оказывается, мы в том бою убили девочку. Восьмилетнюю девочку и старика...

— Бывает. Не думай об этом. Это пройдет. Если каждый раз будешь изводить себя, свихнешься. Мало, что ли, тут убивают. И они нас, и мы их. И я убивал. Война, блин, своя-то жизнь ни черта не стоит, не то что чужая... Не думай об этом. По крайней мере до дома. Сейчас ты недалеко от нее ушел. Она мертвая, ты живой, а гниете вы в одной земле — она внутри, а ты снаружи. И разницы между вами, может, один только день.

Да. Один только день. Или ночь.

Он поставил звякнувший ложкой котелок на пол и молча вышел из палатки, аккуратно задвинув за собой полог.

Ночь была на удивление ясная. Крупные звезды ярко светили в небе, мерцали. Вселенная опустила на поле и обняла солдат, спящих своих детей, — вечность благосклонна к воинам.

Завтра будет холодно.

Артем вспомнил вчерашний бой, убийство, девочку. Представил, как она с дедушкой полезла в подпол, когда началась стрельба. В доме сумрачно. Дед открыл крышку погреба и протянул ей руку, собираясь опустить ее вниз. И тут в дом ворвался смерч. Стену пробило, разметав кирпичи, рев и вспышки, и их крики, и снаряды рвутся внутри. Ее убило сразу, снаряд ткнулся ей в живот, она качнулась вперед, ему навстречу, а из спины вырвало маленькие кишочки и разбросало по стенам. Голова ее дернулась и запрокинулась на тощей шейке. Глаза не закрылись, и из-под век виднелись мертвые зрачки. А деда ранило. И он ползал в ее крови, и тряс мертвое тельце, и выл, и проклинал русских. И умер в Назрани.

Ты прости меня Бога ради, прости. Не хотел я.

Он снял автомат с предохранителя, передернул затвор и вставил ствол в рот.

...Дождь кончился.

Утром они покидали это поле.

Ночью подморозило, пошел снег, и все вокруг сразу стало белым, чистым, покрылось огромными кристаллами инея. Чечня поседела за эту ночь.

Огромная километровая колонна полка выстроилась на трассе. Артем сидел не шевелясь, засунув руки в рукава и намотав ремень автомата на запястье. Он уже замерз, мокрая форма заледенела, стала ломкой, хрупкой и примерзала к броне, а пути предстояло еще часа четыре — такой колонной они будут идти долго.

Их связной бэтэр стоял как раз напротив того самого поворота на болото.

Из-за поворота потихоньку вытягивались на трассу машины семерки. Артем заметил Мишкин бэтэр. На броне, со всех сторон обложенный ПТУРами, сидел Василий. Артем махнул ему, криво, невесело улыбнулся. Вася замахал в ответ.

В Алхан-Кале было тихо, бой прекратился еще ночью. Чехов, видимо, добились. Хотя никаких новостей они об этом не слышали. Они вообще не слышали никаких новостей и, что происходило с их полком, с ними самими, узнавали только по радио. Но раз они снимаются, значит, здесь все закончилось. Может, даже Басаева шлепнули.

Колонна тронулась.

Они шли дальше, в сторону Грозного. Вздвонный говорил, что стоять будут вроде напротив крестообразной больницы. Той самой, которая в «Чистилище». И, видимо, брать ее придется тоже им.

Да и хрен с ней.

Пошли они все к черту!

А поле это ему не забыть никогда. Умер он здесь. Человек в нем умер, скончался вместе с надеждой в Назрани. И родился солдат. Хороший солдат — пустой и бездумный, с холодом внутри и ненавистью на весь мир. Без прошлого и будущего.

Но сожаления это не вызывало. Лишь опустошение и злобу.

Пошли все к черту.

Главное — выжить. И ни о чем не думать. А что там будет впереди, один Бог знает.

Пошли все к черту.

А впереди, Артем еще не знал этого, был Грозный, и штурм, и крестообразная больница, и горы, и Шаро-Аргун, и смерть Игоря, и еще шестьдесят восемь погибших, и осунувшийся, за одну ночь поредевший вдвое, мертвый батальон с черными лицами, и Яковлев, найденный в том страшном подвале, и ненависть, и сумасшествие, и эта чертова сопка...

И было еще четыре месяца войны.

Артем сдержал свое обещание. За всю войну он вспомнил о девочке только один раз. Там, в горах, когда на минном поле подорвался пацаненок, тоже лет восьми, и они везли его на бэтэре к вертушке. Разорванную ногу, неестественно белевшую бинтами на фоне черной Чечни, Артем положил на колени, придерживая на кочках, а голова пацаненка, потерявшего к тому времени сознание, гулко стучала о броню — бум-бум, бум-бум...



АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ

*

ЗАПАХ САДА

* *
*

Где волны серые, холодные
Извечно друг за другом следуют,
Дельфины милые, свободные
Свистящим шепотом беседуют.
Не понимая разрушения,
Не принимая созидания,
Во имя самоулучшения
Передают поток сознания.

* *
*

Душевная буря метет,
Бросает в огонь из полымя,
А в поле цикорий цветет
И прячется в сизой полыни.
Нагнешься над синим глазком —
Открытым, доверчивым, кротким —
И кажешься рядом с цветком
Расплывчатым, тусклым, нечетким.

* *
*

Зелена гора,
Что стоишь одна?
Ты хлебни с горла
Зелена вина.
Чем стоять одной, зеленой,
Ты бы стала, гора, моей женой.
Разве я, гора, не пара тебе,
У меня ли не горб на горбе?
Я жизнь свою просвистал,
Куда хотел — не летал,
Мой час настал — пропустил,
У Бога куска не просил.

* *
*

Относительно уюта —
Ожидается уют.
Одноместную каюту
Всем когда-нибудь дадут.
Относительно покоя —
Обещается покой
Под тяжелою такую
Деревянною доской.
Относительно удачи —
Не предвидится удач.
Тут меня переиначить
Не сумеешь ты, хоть плачь!
Все, что в этой жизни нужно,
Нам судьба наворочит:
Половина жизни — служба,
Половина жизни — быт.
Что от этого осталось,
То и нам с тобой досталось,
Нам одним принадлежит.

* *
*

Душа моя от тела отлетела
И стала малым облачком печальным,
И грустно-грустно на землю глядела,
Вернувшись к тем кругам первоначальным.
Бессчетные, к ней прижимались души,
Бесплотные, они сбивались в тучи.
Немотные, они точили слезы —
Три дня им оставалось видеть землю...

* *
*

Пойдем, исполнены смиренья,
Туда, где осень сено косит,
Где дева с детскою свирелью
Слова безмолвно произносит.
Слова, как «даждь нам днесь», простые,
Как хлеба вкус и запах сада,
Слова, к которым мы остыли,
А их-то нам с тобой и надо.
А звуки те, что нас манили,
И те, которым мы внимали,
Подобны играм беса или
Напевам демона Тамаре.

* *
*

День, утомленный сонной ленью,
Вдруг опускает поводя,
Я снова пропустил мгновенье,
Когда рождается звезда,
И возникают в тихой дали
Еще синеющих небес
Та звездочка нежней печали
И месяц тонкий, как порез.

* *
*

Мы, россияне, так рассеянны.
Построив храм Христа — забыли
Офелию на дне бассейна.
Вот она ртом, как рыбка, воздух хватает:
Любви не хватает,
Любви не хватает...

* *
*

Наивный Гамлет хочет цепь разбить,
Взять два звена из всей цепи сомнений.
Но мир не знает роковых мгновений,
Не существует «быть или не быть» —
Вот в чем разгадка наших преступлений.



ЕВА ДАТНОВА

*

ВОЙНА ДВОРЦАМ

Четыре года

1918

ВЕРЬ — НЕ ВЕРЬ

Если ты, Мотя, не будешь плевать кефиром, а интеллигентно докушаешь все до конца, я расскажу тебе одну интересную историю, которая приключилась в уже очень давние времена с прадедом моим, твоим прапрадедом, короче говоря — с дедом Матвеем. Отнесись к ней, как сам сочтешь нужным.

В ту пору Матвей еще не был ни дедом, ни даже дяденькой, жил в маленьком городке Бешенковичи, что на Западной Двине, и работал в переплетной мастерской, сшивая книжные тетрадки в толстые томики. Переплетчик — это тебе, конечно, не наборщик, но, с другой стороны, это тебе и не сапожник. Одним словом, для своего времени и своей среды дед Матвей был человеком достаточно образованным и интеллигентным.

Так он работал до двадцати лет. А потом началось странное время, когда всех убивали за то, что они жили и думали не так, а как надо, — никто толком не знал, когда граждане то объедались, то умирали с голоду и когда людям было до того страшно поодиночке, что именно в те годы основывались самые крепкие браки.

У нас, Мотенька, уникальная семья: за последние восемьдесят лет никто не погиб ни на одной войне и никто не был посажен. А вот насчет тех, кто сжал, — что да, то да. Дед Матвей по молодости решил, что это очень нужное и перспективное занятие. И когда он так решил — засунул переплетную иглу в стенку под обои, завел себе вместо кипы — фуражку и вместо талеса с филактериями — кожанку с красной повязкой. Для того времени, Мотя, и той среды такое переодевание было в моде.

Дед Матвей бросил безутешных родителей и невесту, которой, впрочем, у него еще не было, и убыл в Минск — овладевать выбранной профессией. Он изучал ее в теории и на практике, даже ездил в Гродну... хм, готовить диплом, оголодал так, что остались только глаза и партбилет. Но когда он выходил на трибуну и говорил... ах, как он говорил! Когда ты, Мотя, научишься говорить — ты станешь таким же блестящим оратором.

Да. Прожил он в Минске полгода, а потом вернулся на родину. И увидел: коммунист — он один, культурные люди, включая наборщиков, благоразумно удалились из города, газет никто не читает и тем более не печатает, а все синагогальное начальство перебила какая-то залетная банда, также и помещение сожгла. Кто-то верит в бога, кто-то в мировую революцию, кто-то сам не знает во что. Основная масса населения даже по-

Датнова Ева (Евгения Борисовна) родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Печаталась в журналах «Литературная учеба», «Кольцо „А“» и др. Живет в Москве. В «Новом мире» печатается впервые.

нимала по-русски хуже, чем ты. А вот дед Матвей как человек грамотный умел по-русски и понять, и объяснить. Поэтому ему и пришлось осуществлять в Бешенковичах общее руководство.

Город Бешенковичи, что на Западной Двине!.. Когда дед Матвей уже перебрался в Москву и очаровывал свою будущую супругу, он все врал ей, что родом из Витебска, — вполне извинимое преувеличение. Представь, как тяжело было жить интеллигентному человеку среди всеобщей поцевастости!

Как я уже говорила, русские, евреи и изредка попадавшие в Бешенковичах поляки с белорусами никакого языка, кроме своего, не знали принципиально... ты ешь, Мотя, ешь. А может быть, дед Матвей, как самый идиот, просто единственный не скрывал своего полиглотства. И вот однажды душным сентябрьским днем — уже созрели яблоки, но еще не посинел терн — дед Матвей, как обычно, осуществлял общее руководство городом, сидя в помещении разогнанной гимназии, где так и не удосужились сделать городской совет РКП(б). Он сидел в этой конуре, жевал яблоки и читал какого-нибудь Блока или, скажем, пособие по агрономии, когда раздался стук копыт, за ним — звон шпор, и в помещение на полукруглых ногах усталой походкой вошел товарищ красный командир с заместителями.

Здравствуйте, товарищи, сказал деду Матвею начдив Муравлев С. К., а это был именно он. Кто, говорит, здесь, то есть у вас, советскую власть осуществляет?

Дед Матвей подумал, на всякий случай заглянул под стол и отвечает: я то есть осуществляю советскую власть, а равно и всякую другую согласно борьбе.

О! сказал начдив товарищ Муравлев С. К., это как раз то, что надо! Не буду долго объяснять, вы, товарищ, сами знаете: обстановка в районе не сказать чтобы здоровая. И поскольку население города Бешенковичи — сплошь пролетарское, то нужно в ударном порядке провести агитацию трудящихся. И именно вы как есть свой для этого больше всего подходите. А есть ли у вас зал для заседаний или подходящее помещение, добавил он. Поскольку то, во что превратили гимназию, не подходило ни для каких собраний, и это было ясно даже красному командиру.

Есть, сказал дед Матвей, относительно подходящее помещение — Симкин лабаз. Во сколько? — спросил, не споря об остальном.

В семь ноль-ноль вечера, ответил товарищ Муравлев. А пролетарское население мы сами оповестим.

Смолк топот копыт под окнами. А часа через четверть забибикал во дворе гимназии клаксон автомобиля «Лорен-Клемент», и в помещение впорхнул пан полковник Офиарский с адъютантами. Покрутил в воздухе хрящеватым носом, поглядел на деда Матвея с отвращением и приказал адъютанту спросить: нет ли среди руководства местечка, э-э, кого-нибудь... другого?

Увы, нету, выяснил адъютант.

Пан полковник Офиарский посмотрел на деда Матвея с еще большим отвращением, но, делать нечего, сказал: доблестные войска польской армии пшинесут сюда, э-э, свободу и порядок, которых так долго не было, скажешь...те об этом населению, е?

А когда? — только и спросил дед Матвей. Офиарский ему: сегодня, как только помешчэние подготуйте. А плакаты мы сами развесим. И уехал, только клаксоном пискнул.

В общем, деду Матвею стало не до яблок. Он уже хотел идти мести лабаз и набрасывать тезисы — но тут к гимназии приблизился его дядя Григорий. Тихо приблизился. На своих двоих.

Мотл, сказал дядя Григорий, Новый год на носу, Рош Ашен.

У нас, сказал дядя Григорий, есть много мужчин старше тебя, но ты, так уж получилось, остался самый образованный. Мотл, мы все помним, как ты, еще маленький мальчик был, прекрасно вел праздники! Ну, мы понимаем, идет война, пировать нечем, радоваться пока нечему, сказал дядя Григорий, но... Новый год есть Новый год.

Дед Матвей не стал спрашивать дядю, где — ясно, в Симкином лабазе, больше-то негде. И не стал спрашивать когда — и так знал: с первой звездой.

А вот Мотя съест еще ложечку!.. Ешь и слушай, хочешь верь, хочешь — сомневайся.

Ну, не может хватить сил у обыкновенного человека провести одно за другим три мероприятия, да еще таких разноплановых! Впору было выматериться, плюнуть на все и пойти выпить. Однако ни ругаться, ни выпивать дед Матвей по молодости еще не умел. А потому только плюнул и отправился готовить указанные мероприятия. Как был — без всякой коммунистической амуниции: дни-то стояли душные.

Вечером стало попрохладней. Люди всех наций, профессий и убеждений на время оставили работу и иную деятельность, потянулись в лабаз. Пришли туда, как приходили в синагогу: мужчины — вниз, женщины — на антресоли, к Богу поближе. А потом пришли те, кто не в синагогу. И расселись по краям. Кто-то собирался верить в Яхве, кто-то — в мировую революцию, кто-то — в силу оружия.

В больших лабазах, Мотя, раньше делали несколько входов-выходов, чтобы удобнее вывозить зерно, когда было что вывозить. И для сквозняка хорошо, а то хоть к вечеру и посвежело, но все равно было жарковато. Дед Матвей так-таки и не оделся как положено. Только напялил фуражку — для приличия и для солидности — кобуру от маузера. Вышел вперед и едва успел рот открыть, как, осторожно погромыхая шашками, вошел полковник Офиарский со свитой. А с другого входа, робко цвякая шпорами, пожаловал товарищ Муравлев С. К., начдив красногвардейцев.

Они друг на друга посмотрели — и кивнули вежливо.

— Товарищи, — сказал дед Матвей.

— Шановны панове¹, — сказал дед Матвей.

— А идн², — сказал он.

Когда ты, Мотя, научишься ходить, я свожу тебя на экскурсию в костел на Малой Лубянке. Там собираются все московские католики, и поэтому каждую молитву для них повторяют по десять раз: на русском, на польском, на литовском, на французском, на итальянском... Так и здесь. Дед Матвей, мастеровой человек и атеист, коммунар и уроженец города Бешенковичи, говорил по порядку, по фразе: для евреев — молитву, для поляков с белорусами — сводку военных новостей, для русских — революционное воззвание. А в принципе, каждый из них был волен слушать то, что ему хотелось.

И слушали. Справа белые, слева красные, спереди — правоверные, сзади — неверующие, мужики внизу, бабы сверху... а морды у всех — практически одинаковые. И надо всем этим — прадед мой, твой прапрадед Матвей, молодой и интересный. А в лабазе совсем неуловимо вилой пахнет и розовой гречишной мукой... ах ты, Господи!

Дед Матвей, пусть ему будет хорошо там, чего не существует, был убежденным коммунистом. Начитанным человеком. И истинным гражданином города Бешенковичи. Поэтому сумел угодить всем, кроме себя, хотя последнее — уже мелочь, жмыхи-семечки.

Людам, Мотя, все равно, во что верить, и все едино, во что не верить. То те, кто верит, не любят тех, кому и без веры неплохо, то наоборот, и

¹ Уважаемые господа (*польск.*).

² Евреи (*идиш*).

конца-края этому не предвидится. Только вот кто злее в своей ненависти — верующие или неверующие? Раньше считалось, что богомольцы, теперь — что безбожники, в общем, кого больше, тот и прав. И не предвидится этому конца-края.

Деду Матвею проще было: в ту пору и в той точке пространства одних и других набиралось примерно поровну. И каждый кивал, слыша только то, что было нужно ему. Все, кроме деда Матвея, молчали в тот душный вечер, но пели гимн своей несвободе. Никто руками не махал — но все голосовали за свое безверие.

В общем, как ты, наверное, уже понял, кончилось все хорошо. То есть всем воздалось по вере их. Скоро прекратилась война. Дед Матвей переехал жить в Москву, встретил интересную девушку, наплел ей, что родом из Витебска, родил двоих. А через пару лет его не стало... Нет, его не арестовали коллеги, не подстрелили на улице бандиты и даже не довели до инфаркта соседи по коммуналке. Для детей придумали трогательную версию о том, что папа умер, простудившись на похоронах Ленина. На самом деле все было гораздо проще: дед Матвей умер через полгода после вождя, ясным летним утром, не дожид шести минут до открытия пивного ларька. У него была очень нервная работа...

Супруга его все хотела назвать Мотей внука — да времена не располагали к подобным именам, а потом хотели назвать Матюшкой правнука — но родилась я, зато еще через четверть века появился ты, и, как жизнерадостно отмечает мой отец, твой дедушка, теперь есть кому прочесть по нему успокойную молитву... ротик, Мотя, ро... Хоп!

Молодец.

1919

ПТИЦЫ ВОЛЬНЫЕ

Когда кто-нибудь впервые увидит коростеля — не сразу верит, что маленькая птишка умеет так громко и противно орать. Только ей этого не скажешь. Не понимает коростель ни по-русски, ни по-цыгански. И вообще топают где хочет, орет где нравится. Быстро бежит, не успеешь оглянуться — она далеко. А крылья не поднимает — так чтобы вольной птицей быть, высоко летать совсем не обязательно.

Примерно об этом размышлял Волошко, топая по пыльным дорогам из Чернигова — на север, к Москве. Шел, глядя на звезды, — романи, царь дороги, — шел и по привычке развешивал по росистым кустам зеленые с синим пучки-веночки.

Волошко родился между Полтавой и Сумами, жил — по дороге из Сум в Полтаву. Он жизнь свою и вспоминал так: сестра родилась — когда шли из Овруча в Коростень, вторая сестра — на пути из Козельца в Косовку...

Желтые тополя свечками тянулись к небу, и синие волошки колыхались по краям дороги. Гаркали в колосьях коростели, а в рощах бродили маленькие птички вроде голубей, только не серые, а рыжие с розовым.

Время от времени прыгивал кто-нибудь с повозки, срывал четыре волошка, жгутиком сворачивал, сверху делал колечко, затягивал, хвостик вытянув, и вешал на ветку у дороги или просто клал на обочину. И тем, кто понимает, было ясно: здесь прошли цыгане.

Пучки-патераны вязал обычно он: маленький, дробненький, в чем душа держится. Семнадцати лет не дашь и в базарный день. Пел хорошо — вот это верно, а больше ни на что особенно не годился.

Пел, плясал, следил, чтобы женщины приносили из города положенное количество добычи. Немножко качал мехи, немножко торговал, немножко воровал: в Сагайдаке люди не умней, чем в Миргороде.

Волошко никогда никому не задавал вопросов — ждал, когда сами все выложат. Никогда не рассказывал ни одной душе, что собирается делать через минуту, через месяц, через год, а еще дальше и сам не задумывался.

На второе лето после революции воровать стало нечего. Да и не у кого особенно. Но, в общем-то, ремесло и умение обманывать все равно требовались, как требуются всегда.

Что цыгану война, зачем революция?

Только степной пожар ему по-настоящему страшен.

Степному огню не молятся, со степным огнем не воюют — от него бегут, насколько хватит ног, копыт, колес.

Волошко в ту пору был по делам своим неправедным в Конотопе. Воротясь с относительным прибытком, вместо степи увидел горелую корку. И птиц не было. И людей.

Припятский табор пользовался не меньшей и не большей любовью окрестных жителей, чем какой угодно другой. Некоторых ромá нанимали кузнецами да слесарями в деревни, на хутора, даже в железнодорожные мастерские. А кого-то, как водится, радостно встречали с дреколем.

Но весь табор не запинаешь, и в город не сманишь, и далеко не выгонишь. Куда ушли, где искать? Патераны волошковые сгорели, а от Льгова до Львова места много, общешься.

...Ай, Волошко, хоть бы себе не врал. Все можно было узнать — от прочих таборов, у других обобранных скотовладельцев, у неба, у дороги.

Не стал Волошко табор догонять. Зачем — чтобы сказать, что уходит?

Табор просто так не покидают. Ушел — значит, ушел. Искать не будут, но и помощи уже не жди во веки вечные. Так и топай один — царь себе и дороге, романи, человек.

Долго шел Волошко и ехал на попутных по бесптичью. По дороге, сделавшейся домом для тысяч, мимо сёл, превратившихся в погосты для сотен. Много чего видал, не вмешиваясь. И завидовали Волошке многие: молодой, сильный, одинокий, может дойти в Москву, а там — воля...

Чуть-чуть не дошел он до Москвы. Просто услышал:

— Гра! гра! гра!!

Коростель надрывается. А среди ржи зеленой тут и там качают растрепанными синими головками цветы-волошки. Значит, можно жить.

Свернул с тракта и зашагал по проселочной.

Птица вольная, она и в силочке летит — по своему хотенью.

В село Крутое, что под Каширою, Волошко пришел — так, как приходят навсегда.

Тополя здесь были раскидистые и Ока — шире Припяти, как ни крути. Вечная и вольная, словно дорога.

Волошко, во крещении Василий, вскоре взял замуж женщину с тремя детьми — чтобы поскорее обрести не только семью и дом, но и род, историю, бессмертие. Даже записался под фамилией супруги, благо собственной не имелось.

Через год к трем девочкам добавился мальчишка, чернявый и голубоглазый.

Волошко-Василий воду носил, траву косил, за дровами ездил, даже пахать пробовал. Однако же этого мало!

А что еще? Стада в селе не осталось, молот он и поднять не мог, петь да плясать не хотел — так и людям не до веселья было.

Так что Василий-Волошко целыми днями резал прялки (что на них прясть, дурак, овец всех давно поели!), скалки (и еще раз дурак, хлеб родился плохо) да сколачивал скворечни, весь палисадник ими утыкал (это чтоб скворцы еще и яблоки загубили?).

На Василия-Волошку, правда, особо не обижались, да и смеяться по-баивались: кто его, цыгана, знает, возьмет да зарежет.

А тот пилил-сколачивал и, наверное, думал о том, как хорошо, когда твой язык слушают, а понимать не понимают. Живешь тогда, как птица, все от щебета млеют, а о мыслях, что за щебетом стоят, — не догадываются.

Хотя и птица поплатиться может: хоть кому-то ее голос да покажется противным.

А потом вдруг откуда-то нанесло глины в Оку, и сам собой сверзился колокол с церкви Жен-мироносиц, и картошка сгнила в подполах. А следующим летом Волошко-Василий не нашел в полях дергача, как ни вслушивался.

Исчезли дергачи-коростели. Ржи, конечно, для них не было, — но и в густом покосе тоже не мелькали ни голенастые лапы, ни пестрые хвостики.

Однако в бедах своих крутовцы винили кого угодно, кроме Волошки — хотя могли бы и пойти на пришлого колдуна всем миром...

В общем, бежать-то было не от чего. И Волошко, Василий Корнев, это понимал, потому как был гораздо умнее, чем считали от Льгова до Сум, и намного проще, чем думали от Крутого до Каширы.

Куда он делся — никто так и не узнал. Нечего было ни сказать, ни наврать Волошкиному сыну и приемным дочкам. Не нашлось Василия Корнева, девятнадцати лет, ни в списках арестованных каширской ЧК, ни в добровольцах Красной гвардии, ни в окском омуте у станции Акри, ни даже в припятском таборе, у первой жены Зары, которую перед следующей войной разыскал Алешка Корнев, Алексей Васильич, девятнадцати лет.

А село Крутое отныне как будто хранимо было Волошкиной колдовской силой. Ни раскулаченными, ни сосланными никого не потеряли, и немцы не дошли, и своих тогда погибло всего четверо.

И еще с тех самых пор в Подмосковье поселились горлицы... Да я и сама знаю, что не полагается им жить под Каширой, однако ж ходят там и сейчас, гугукают, рыженькие.

Прилететь сюда они не могли — пришли, должно быть. Одной лапкой да другой, потихонечку. А куда торопиться, если — навсегда?

1920

КАТМАНДУ

Ленин Троцкому сказал:
Давай поедем на базар,
Купим лошадь карию —
Накормим пролетарию! —

пел расхристанный, но веселый беспризорник на углу Лиговки и Расстанной около трех пополудни 16 декабря. В ушанку возле его ног неслышно падали: маленькие куски черняшки, папироса, яблоко.

У противоположной стены, ободранной и словно пропотевшей, пожевывал сигарку красногвардеец Андрей Ефимов, размышляя: дать дефективному по шее или лучше сразу отвести в Чрезвычайную.

Это что ж получается, думал красногвардеец Ефимов, уходишь воевать с германцами, интендантствуешь в версте от окопов, а то и поближе. Потом, дыхание не переводя, идешь служить революции, потому что знаешь и можешь других научить: как достать еду, как долго носить одежду, как сделать то, чего не найти нигде. Странное дело: унаследовав в деревне неплохое хозяйство, за год он почти все промотал. А интендантствовать — вдруг получилось. Теперь вот восстанавливает город революции, где заржавели петли всех дверей, сгнили все заборы, вытекло и забило льдом

все отопление. Мануфактуры и продуктов полно дурных, мало хороших, и черт ногу сломит на нормах. Он, конечно, понимает, накалял себя Андрей, что и это совершенно необходимо для победы мировой революции... но вскочить бы на буфер эшелона, и проехать ночь, и выйти в Москве, и прийти по Садовому от Октябрьского вокзала — до Павелецкого...

А тут всякие контры малолетние!

И только Андрей, уже в бешенстве, выплюнул чинарь и подался вперед для первого решительного шага — тут как раз и произошло абсолютно непредвиденное событие, в результате которого знакомство беспризорника с Андреем не состоялось, а с ЧК — отодвинулось.

За свои тридцать лет красногвардеец Ефимов видел многих. Да и сейчас можно было встретить на улицах Петрограда не только шинели-бушлаты-армяки, но и пальтишки, и остатки старорежимной моды, и то, что носили беженцы из голодной Казани. Ну и понемногу от всего — на беспризорниках.

Но таких типчиков Андрей Ефимов еще не встречал!

Откуда они: из Туркестана, с той стороны Каспия? Не похожи. Не были они и идейными нищими: нищие Петрограда мрачны, вонючи и величественны. Не похожи и на цыган — Андрей цыган навидался. (Хотя и цыгане бывают всякие: когда последний раз он приезжал в деревню посмотреть на новорожденную дочку — видел, там как раз поселился один, кажись, малахольный, но вроде не вор и не плут...)

Типчики в количестве двух были маленькие, сухонькие, с ярко горящими глазами, черными в синеву, на смуглых, будто чумазых, лицах. Лет под сорок, а может, и больше. Какие-то шапочки вроде ермолок. На теле — совершенно неизвестное. А на ногах — что-то из мешковины... бр-р!

По всему видно — давно продрогнув, они шли как из-за угла мешком битые, чуть согнув колени и благостно глядя ни на что.

Ага!

Красногвардеец Андрей Ефимов решительно поправил пояс, четырьмя аршинными шагами приблизился к заморышам в ермолках и очень сурово сказал:

— Документы, граждане!

Заморыши остановились и в молчании уставились на него.

— Что, документики в бане потеряли? — подбелдыкнул Андрей. — Откуда прибыли?

Один из них что-то сказал. В первый миг подумал красногвардеец Ефимов, что заморыш ругается: буквы «х» из его рта сыпались горохом. Но тут же понял, что это не так, и стало Андрею немного не по себе. Не слышал он еще никогда, чтобы человеческие голоса звучали, как будто ворошится сено или куча сухих листьев.

В чертей человеку на его посту было верить стыдно. Что не беженцы это и не шпионы — Андрей понял сразу. Наверное, дурачки. Каким ветром занесло их в Петроград, от кого они отстали — задумываться было некогда.

— Откуда вы? — спросил Андрей.

Молчание.

— Откуда, откуда? — беспомощно повторил он, разводя руки в стороны — для облегчения понимания.

Тогда они что-то залопотали, и в тонком этом стрекоте Андрей разобрал лишь только: «катманду... катманду...» Так не страну, не город, не волюсть, а только попугаев зовут!

Разум и революционный долг подсказывали: не мучься, отведи их туда, куда собирался сдать беспризорного. Но останавливало что-то еще (не душа, конечно, — в душу верить также стыдно человеку в его положении).

Еще и талонов нет, а недельный паек с оказией отослан в деревню. Не на склад же их вести, как козлов в огород. А-а!

— Пошли! — скомандовал Андрей заморышам и уверенно повернул мыски в сторону обжорки.

Они вломились в пар и вонь прогорклого жира, где царствовала, сидя в кадке-троне, разлапистая пальма, которой были нипочем что холод, что голод, что Юденич.

— Сиводеру! — скомандовал Андрей хозяйке.

Заморыши из катманды понюхали кружки и с тихим воем замотали головами.

— Замерзнете и сдохнете, эфиопы! — в отчаянии воскликнул Андрей.

А потом заморыши говорили что-то: яростно размахивая руками, то весело, чуть ли не с дроботушками, а то напевно, тягуче. И при этом раскачивались.

— С *одинадцатой версты* убежали, — решила хозяйка. — Сумасшедшие.

А Андрей судорожно ворошил в памяти все, о чем ему рассказывали двадцать лет назад в уездном училище, о чем он потом читал в газетах и книжках по пятаку штука, — и не мог вспомнить ничего вразумительного.

Но вдруг первый и последний раз в его сознательной и героической жизни посетило Андрея озарение.

Даже в дальнем катманду
Мужики хотят... еду.
Потому что в катманде
Мысли — только об еде!

И попросил:

— Расскажите мне про ваше катманду!

Неизвестно, правильно ли поняли его заморыши в многослойных рубищах. Во всяком случае, Андрей, в котором вдруг проснулся поэт и еще не заснул навеки, понял их. И от холодного города, от похабени и полной ясности целей — перенесся туда, где на двадцать восьмом градусе северной широты меж двух великих империй прыщом вклинилась загадочная страна, где сияет пик Джомолунгмы, где в долинах ходят на водопой желтые слоны, где в небесах соединяется божественное с обыденным. Там монахи по-коровьи гремят колокольчиками, там макаки корчат морды стереосовые, там речь похожа на бой маленьких барабанов: кат-ман-ду, кат-ман-ду!..

Если пятистенку Андрея Ефимова поставить на столбы, как на курьи ножки, если вместо сохи, от которой буденновцы оторвали лошадь, взять в руки мотыгу, если дать дочке отчество — по матери, — какие различья будут между трудящимися Востока и интендантом Красной гвардии?

Никакой разницы, ни малюсенькой.

Андрей разомлел. Порозовели ямки над бровью его и на щеке (в пятнадцать лет болел ветрянкой, чуть не помер). У катмандинцев же, наоборот, от сиводера лица припухли и оспины почти разгладились.

А среди джунглей катманду белели скорлупки древних городов, и в каждой — кривил губы в усмешке вечный младенец Будда, брыластый и длинноглазый.

...Однако с заплутавшими катмандинцами надо было что-то делать. Ведь преодолели они тысячи верст, чтобы научиться у нас строить рабоче-крестьянскую республику. И все это — зря? Потерялись, отстали от своих, одеты плево, говорят — будто бранятся... Пропадут. Только куда с ними идти — в милицию? Милиция, пожалуй, здесь не поможет. Нужно рыпаться в другой комиссариат.

А между тем чувствовал интендант, что, может быть, именно от него, Андрея Николаевича Ефимова, красногвардейца из крестьян Московской губернии, Каширского уезда, зависит судьба всей мировой революции.

Тут как раз хозяйка заулыбалась: в обжорку зашел погреться милицейский.

— Слышь, товарищ, — спросил Андрей, — не знаешь, на какой улице у нас Чичерин заседает?

Через пять минут Ефимов шагал по Лиговке в направлении Московского вокзала, катмандинцы трусили за ним, как цыплята, в точности повторяя каждый взмах руки и поворот подбородка.

Несколько беспризорников что-то вылавливали из Обводного канала, перебирая его сонную ледяную воду, и в страхе уходили от разъяренных водоворотов — совсем как в катманду, где сейчас варили пищу на каменных очагах и складывали хижины из пальмовых листьев. Ни там, ни здесь не боялись ни голода, ни холода, ни пожаров, ни наводнений — привыкли ко всему.

Трое подошли к Наркомату иностранных дел.

— Эй, — сказал Андрей, — здесь вот товарищи из катманду заблуди...

— Хорош материться, — мрачно оборвал его часовой.

Ну — что потом?

По всем окраинам страны катманду в тинных речонках клацали зубами крокодилы с наждачной кожей, и бурлыкали ушастые лягушенции, и серые буйволы презрительно поджимали губы. А перед носом красногвардейца Ефимова захлопнули двери, но он, конечно, не обиделся. Даже успел крикнуть «Рот фронт!» в спины товарищам из катманду.

Позже Андрей старательно прочел кое-что из сочинений певца освобождения Востока товарища Рабиндраната Тагора. У себя на квартире долго пялился на облезлую горбушку глобуса, прежде чем кинуть ее в буржуйку. В газетах вновь стал читать не только воззвания. И все старался представить себе загадочную страну на заре революции.

В звенящем от ударов серебряных бубнов катманду снова и снова складывалась пирамиды из розовых веток, из благоухающих листьев и пушистых цветов, увенчивая все это странно вытанувшимся телом очередного короля, вельможи или кого обыкновенного, и наследник касался пирамиды длинным факелом, на кончике которого подпрыгивал рогатый огонек, а после все оставшиеся в этой жизни уходили на карнавал, ибо давно поняли: человек — это песчинка. И только джунгли вздыхали, принимая еще одну частичку праха.

А в городе Петра постоянное ожидание чьей-нибудь смерти давно вошло у всех в привычку, так что люди совсем разучились не только страшиться этой соблазнительной бездны, но и сочувствовать, но и жалеть.

Люди продавали свое золотое будущее — за сомнительной пробы настоящее. Люди делали тысячи мелких и абсолютно бессмысленных дел, спешили, хлопотали. Жизнь проходила в ненужной борьбе за существование.

Перестали есть бродячих собак. Перестали бить спекулянтов — не от доброты, конечно, а по недостатку времени и иссяканию идейного вдохновения. Собаки и спекулянты мотались по городу с видом лубочных разбойников, всюду совали носы, брехали и грызлись.

Все как в катманду, думал красногвардеец Андрей Ефимов. Богатеи лежат на шелковых подушках в бельэтажах своих дворцов, окруженные слоновой костью да кокаином. Бедные же, как водится, клянчат у богатых — кто рупь, кто рупию.

...Красногвардеец Ефимов преданно служил и попутно тщательно обдумывал уважительную причину для демобилизации. Затем прошел все проверки и аттестации, долгие и трудные, как Великий пост. Вернулся в свою деревню, построил на заливному берегу Оки охотничий домик на высоких сваях. Возделал сад и поле. При помощи красногвардейского про-

шлого и природного дуροхлопства избежал записи в кулаки. Вступил в колхоз. Научил выросшую без него дочку звать себя папанькой.

Но время от времени уносился мыслями в те места, где славные товарищи катмандинцы ходят в своем домотканом, гремят костями и все время хотят кушать.

И помнил отставной красногвардеец Андрей Ефимов: им там все-таки всегда чуть хуже, чем ему. Зато вокруг — всегда чуть красивее, чем здесь. И ему становилось чуть радостнее, когда он вспоминал, что на свете есть страна: чудесная — а значит, имеющая цену, загадочная — а значит, родственная РСФСР, древняя — и стало быть, живучая.

Там белые чаши дурмана в предзакатном мареве роняют на жирную землю ядовитый нектар, и тучи мух вьются в воздухе, дрожащем от смрада, и озябшие шакалы тьякают в издыхающем вечере, и в джунглях качается на лианах еще не выгнанный король, и радуется всяческая нечисть, и десятками тысяч мрут маленькие катмандята.

Вот-вот кинет клич товарищ Троцкий — и вспомнит Андрей свое боевое прошлое и пойдет делать революцию в великой стране катманду.

Надо помочь им, надо их образумить и хоть немного подкормить, чтобы сдюжили революцию, разруху и интервенцию...

А на углу Лиговки и Расстанной стоял уже другой сволочуга беспризорник. И голосил:

Ленин Троцкому сказал:
Я мешок муки достал,
Мне — кулич, тебе — маца,
Ламца-дрица-гоп-ца-ца!

1921

МАТАНЯ

— Чв-тяк, чв-тяк, — еще затемно стучал топор, и эхо разносилось на десять домов во все стороны. И знал об этом весь квартал, а стало быть — и вся Ржакса.

По утрам под этот стук просыпаются ржаксинские петухи и будят коров, овец, телеги, кузнечные горны, амбары и погреба — вместе с хозяевами всей этой благодати.

Скрипит да громыхает русско-мордовская Ржакса целый божий день. Бабы гремят чугунками, со щелканьем чешут овечью шерсть, полощут белье в Вороне. Ребятишки неподалеку от них снуют верхом на камышовых снопах, окушков ловят, а то выйдут на берег побивать друг у друга мослы, свинцом налитые. Девки лѣтают, машут подолами каймленных фереязей. Мужики в руки берут вожжи, весла да косы.

У мужиков одной половины села на рубахах — цветы вышиты, у остальных — птицы зеленые. Половина баб — в платочках уголком, половина — в полотенцах через лоб.

И у всех детей по столько, что замаешься всех подзывать. Так и частят голоса по ржаксинским улицам:

— Мишка-Петька-Верка-Танька-Сережка!..

— Ванька-Гришкя-Митькя-Сонькя, ну-ка трескать!

Поживало село Ржакса Тамбовской губернии — в меру трудно, в меру богато. Хранимо было богом, тем, кого положено вешать в восточном углу избы, и тем, что в-омутах Вороны плещется и бурлит, в амбарах посвистывает, в жилах яблонь гудит по весне. Оттого, наверное, в селе и крестились на ранетовки да антоновки, зато в церкви во время службы топтались — как будто в той самой пляске, что пляшут от Орла до Царицына. И даже в

псалмах слышалось ржаксинцам спокойное веселье мокшанских песен. И во время вечерни весело, и после, ах, луганяса келуня!

Лекса Галчев, правда, не помнил, когда веселился в последний раз. Он молча тюкал топориком в такт всеобщей матане — как и десять, двадцать, тридцать лет назад. Лета проходили незаметно, и не был Лекса, пожалуй, ни разу счастлив, зато бывал доволен — когда завершал хорошую большую работу.

Лекса Галчев рубил избы — в самой Ржаксе, в Перевозе, в Кирсанове, а молодым был да неженатым — и в *Танбов* ходил на заработки. Везде стояли его избы, попарно сениями связанные, как жених с невестой. Опалубка спереди вырезана маковкой, волны катятся по наличникам, и резные солнца многосветные сияют под коньком.

Тямкал Лекса топориком уже тридцать пять лет, а меж избыю и избыю жизнь вел тихую. В церковь хаживал, на драки не смотрел, даже по праздникам больше двух стаканов не бил. Семью кормил — и кормил досыта. Почти четверть века проживал с женой Марьяной. Немного надоела, конечно, — да ведь крутились с ней не только вокруг ступы³, а и вокруг аналя.

Ну и дети, само собой. Семену, главному помощнику, двадцать один, Тоньку, восемнадцати лет, вот-вот сватать, Маньке пятнадцать, а уже кружева плетет, взглянешь — и забудешь, как тебя звать, Таиске двенадцать, по складам читает, а расходы подчесть может, Верке да Митьке по десять, в огороде помощники, Кате — семь, помощница в избе, остальные две пока только жрать просят. А к Рождеству Марьяна ожидала десятого. Хорошо бы, если мальчика. Тогда можно и остановиться. А то всего два сына было у Лексы Галчева — жидковато, вдруг фамилия пропадет, да и ремесло.

Два было сына у Лексы Галчева, но Митька хоть и маленький еще — видно было: хлебопашец, не плотник. Ну что же, каждому свое дело в руки. А вот Семен...

Хотя болтать Лекса не любил, да и на ухо от вечного стука давно стал туговат, — с Семеном даже разговаривал намного больше, чем со всеми другими. Семен был ему — почти ровня. Уже семь лет Семенов топорик подстукивал отцовому. Еще год-два — и, если в армию не заберут, будет он настоящим мастером, тогда женит его Лекса и сам сделает Сеньке дом о двух горницах, сениями связанных.

И даже еще через пятьдесят лет, когда Ржакса уже наверняка станет городом, будут люди показывать на резные солнышки и говорить: «Вон избы галчевские!»

Где-то совсем неподалеку гарцевал Тухачевский, а вокруг — ВОХР, ЧОН да ВЧК баламутились. Привлекали и здешних. Сил много — да ведь и враг не слаб: 21-й полк, две армии «братьев-разбойников». Разбойниками они, безусловно, считались в Москве. Свои, *танбовские*, для себя решали по-разному.

Антонов Александр Степаныч, благодетель Рудовки, Кирсанова да Никольского, и ссыльным был, и служил в уездной милиции. Начальники из ЧОНа, ВОХРы да ВЧКи — тоже через одного из ссылок, из войск да из полиции. Чего-то, видать, не поделили.

Лекса Галчев по своей несознательности туго разнил одних и других. И воевать ни с кем не собирался — не его это дело, да и чем драться — топором вот этим?.. Но хотелось верить ему, что победит Тухачевский — и торговать краской, доской и гвоздями начнут по-прежнему. Не придется тогда Лексе рубить последние деревья вокруг и ставить в срубы без выдер-

³ Обход вокруг ступы (первоначально — вокруг дерева) — древний угро-финский обряд бракосочетания, его элементы полулегально сохраняются кое-где по сей день. (Примеч. автора.)

жки. А победят Антоновы — может, продразверстки не будет, что тоже куда как хорошо.

Не раз проносились вихрем через Ржаксу конные да пешие, с шашками, берданками, пулеметами. То совсем чужие, а то здешние, *танбовские*. Только не различались они ни чубом, ни умом, ни бешенством: все такие же, как вот Семен, ну в точности. А сам Семен в этом всем хорошо разбирался вроде бы.

— Сенька, — изредка спрашивал его Лекса, — не пойму, ты за антоновских ай за красных?

Молчал сын, только мял об косяк пясть, где саднила мозоль от топорща. Говорил тогда Лекса:

— А! — и головой мотал, словно мерин.

И снова оба молчали неделями, оставляя болтовню топорикам. И будто не видел Лекса в доме своем ни газет, ни оружия. И не замечал, что Семен шастает то в милицию, то в ячейку.

Такого мужика учить — больше сил потратишь, чем толку добьешься. Поздно уж учить, да и чему?

Так и протягали они топором да долотом, пока не собрался жениться всем известный, но для порядка таившийся адъютант Антонова Александра Степаныча во Ржаксе, Захаров Кирилл.

Кирилка-рыжий.

К свадьбе его да к отделению от родни и подрядились Лекса с Семеном и еще пяток мужиков помощниками, рубить Кирилке избу. До октября сообразили сруб и оставили до весны — дубеть на морозе, чтоб стоял потом век.

Зима завернула ранняя и суровая. К тому дню, когда при старом режиме праздновали Введение во храм, снег давно лежал на огородах, Ворона замерла во льду и деревья стояли скованные, молчаливые, спящие.

Рано утром кто-то стукнул в окошко. Семен вышел за порог, и Лекса ухватил краем уха странный приглушенный разговор:

— Опять на милицейский склад.

— Когда?

— Сегодня, к рассвету.

— Стрелять будем?

— Попробуем поговорить.

А больше ничего не услышал Лекса, потому что на ухо был туговат, — да к тому ж через бревна, им самим когда-то срубленные, и молодой-то не расслышит.

Потом Семен вернулся в избу и послушно кивал головой на все родительские наставления: на полтора дня они с сестрой оставались за старших, Тонька — с ребятами и у печки, Семен — по хозяйству помимо избы.

Лекса твердо решил узнать точно, будет ли у него третий сын. Вот и собрался в ближнее село Перевоз, к ворожее Матрене Кокшайкиной, которая в этих делах никогда, говорят, не ошибалась. Конечно, и Марьяну требовалось с собой захватить — да оно и к лучшему, потому что Лекса задом прикидывал купить к разговлению сала на все рты, а при купле лишние руки никому еще не мешали.

Тронулись пешком. Сосед окликнул их на улице. Узнав, в чем дело, попытался сказать: что ж ты, Алексан Прокофьич, делаешь?! — и был подарен Лексиным непонимающим взглядом.

Еще более недоуменно посмотрела на соседа Марьяна.

...Кокшайка завершила: мальчик будет, мальчик. С благодарностью приняла за труды клубок шерсти, а за мешочек табака оставила переночевать.

Сала так и не купили — самым ранним утром Марьяна проснулась и начала жалиться, проситься домой. И вскоре они уже стояли у железнодоро-

рожного переезда в ожидании: не пройдет ли какая телега в сторону Ржаксы? Перетаптывались на стылой земле, словно в старом танце.

...Нет, не телега подъехала, а прочухала со стороны Ржаксы «кукушка», вся людьми облепленная.

— Вень, а Вень, — окликнула голосистая Марьяна знакомого машиниста, — что во Ржаксе?

— Анто-о-о... — прокричал тот сквозь свисток.

Вот так вопрос — что во Ржаксе?

Там — Сенька...

Уже лет тридцать пять не бегал Лекса взапуски. Но успел бы, мог и должен был успеть пробежать, оскользаясь, версту по насыпи, ворваться в Ржаксу, выбить плечом двери родителей рыжего Кирилки: это я, Лекса Галчев, а вон — мой сын Семен, мы тебе, Кирилка, избу рубим к медовому месяцу.

И кинулся бы, обо всем позабыв... да вот Марьяна, с пузом-то, за ним не поспеет. Оставить тут? Замерзнет, затопчут, другой отряд антоновцев черт принесет. Да не грозит ей ничего, пытался Лекса себя уговорить. А сам понимал: грозит. И ей, и сыну, еще не рожденному, и если он их не защитит — ни ЧОН, ни ВЧК не помогут.

Это только в очень старых песнях из сына, мужа да брата выбирают того, кто единственный, кого взять неоткуда и некем заменить. А тут судьба велит выбирать меж надеждой-опорой своей и... чем?

Между тем понимал, знал, чуял старый плотник-избарь Лекса Галчев: судьба обманывает — выбора нет и быть не может.

— Сенька, — вдруг позвал он, хотя и ясно было, что звать уже незачем и не о чем уже спрашивать.

И пошли они домой, во Ржаксу — медленно: Марьяне тяжело было торопиться.

По дороге Лекса пытался читать заупокойную молитву — и думал со страхом, что вот уже и начинает выживать из ума: и в звенящей в ушах молитве, и в пересчете шпал отчего-то слышалась ему плясовая.

И думал Лекса, косясь взглядом на Марьяну, спешащую домой, ничего еще не понявшую, что на тот год ему пятьдесят, прежней силы нету. Сам еще топором помашет, много, десять лет. Митька не помощник, его рука — для сохи. А если родит Марьяна нового сына — уже не Лексе его наставлять. Да и что ему в руки дадут — топор, или весло, или вовсе винтовку? — как с того света проверишь?

...Не будут стоять на Тамбовщине пары домов, сцепленных сенями, как переправой.

И Ржакса не станет городом.

Тут вдруг Лекса шагнул с дороги влево, к узловатой раскидистой ветле, прижался к стволу, уцепился за ветки и пообвис всей тяжестью, словно хотел не то влезть на небо, не то дерево в землю вдавить, вдавить в землю к чертовой матери...

Отметили Сеньке девять дней по христианскому обычаю. Подошел двенадцатый день — день поминок по древнему обычаю. Вновь собрали за стол родню и соседей, вновь выставили самогон, и бражно, и блины...

Сидели почти молча, почти не переговариваясь, даже самые младшие Галчевы не ревели и не клянчили со стола.

— А, сына! — заголосила вдруг Марьяна, переступая дробно и раскачиваясь. — А, где ж мне тебя искать! Помощник был, наследник был, и надо же, чтобы...

— Сметаны к блинам принеси, — сказал ей Лекса, придвигая к себе четверть.

...Марьяна вернулась чуть не через час, с тючком, совершенно не похожим на сметанный жбан.

Тючок вздохнул и пискнул. Марьяна раскрутила его, и на разложенном фартуке появилась крошечная девочка с тельцем, на котором переливался красный цвет с изжелта-синим.

— Ну да, — сказал Лекса.

Встал из-за стола, вышел за порог и ходил неизвестно где четверо суток. А на пятые вернулся.

Где он был и что там делал, никому не ведомо. Но все могли подтвердить: когда среди бела дня горели венцы недостроенной избы Кирилкирыжего, Лексы в селе точно не было.

Нет, мне не страшно думать о том, что было бы, не пойдя Лекса к ворожее, кинься спасти старшего, на младшего плюнув, не уйди он из села...

Особенного ничего бы не было. И даже я родилась бы, как родилась, через пятьдесят пять лет.

Только это была бы — совсем другая я.



ИГОРЬ МЕЛАМЕД

*

ГРОЗДЬ ВОЗДАЯНЬЯ

* *

*

Так холодно, так ветер стонет,
как будто бы кого хоронят,
родной оплакивая прах.
И будет так со всеми нами:
мы в землю ляжем семенами
и прорастем в иных мирах.

О, как все здешнее нелепо:
изнеможенье ради хлеба,
разврат, похмелье и недуг.
Ты пригвожден к трактирной стойке,
я пригвожден к больничной койке —
какая разница, мой друг?

Вот нам любовь казалась раем,
но мы друг друга покидаем,
как дым уходит от огня.
И лишь в объятьях скорби смертной
мы молим: «Боже милосердный,
прости меня, спаси меня!»

И в час лишенья, в час крушенья
слетает ангел утешенья
и шепчет, отгоняя страх:
всё, что не стоит разрушенья,
познает счастье воскрешенья
и прорастет в иных мирах.

Памяти Евгения Блажеевского

Коли водка сладка, коли сделалось
горьким варенье...

Е. Б.

Коль водка сладка, как писал ты, родной,
с тобой бы я выпил еще по одной.
Зачем же меня ты покинул?
Как будто в промозглый колодец без дна,
откуда звезда ни одна не видна,
ты черный стакан опрокинул.

Тебе бы к лицу был античный фиал.
 Влюбленный в земное, ты не представлял
 посмертного существования.
 Но если, родной мой, все это не ложь,
 дай знать мне, какую там чашу ты пьешь,
 сладка ль тебе гроздь воздаянья?

И если все это неправда — в ночи,
 явившись ко мне, улыбнись и молчи,
 надежде моей не перечая.
 Позволь мне молиться, чтоб вихорь и град
 не выбили маленький твой вертоград,
 где ждет нас блаженная встреча.

* *
 *

Каждый шаг дается с болью.
 Жизнь твоя почти не жизнь.
 Положись на Божью волю,
 если можешь, ложись.

Что случилось — то случилось.
 Не оглядывайся вспять.
 И рассчитывай на милость
 давшего Себя распять.

* *
 *

Веет холодом, как из могилы.
 До рассвета четыре часа.
 Даже близкие люди немилы —
 отнимают последние силы
 телефонные их голоса.

Днем и ночью о помощи молишь,
 заклиная жестокую боль.
 Милосердный мой, выжить всего лишь
 мне хотелось бы, если позволишь, —
 но хотя бы забыться позволь.

Неужели такие мытарства,
 отвращение, ужас и бред
 исцеляют вернее лекарства,
 открывают небесное царство,
 зажигают божественный свет?

* *
 *

Я хотел бы прижаться к маме
 и сказать: помоги, родная!
 Но ко мне с пустыми руками
 почтальон вернулся из рая.

Ты не пишешь мне больше писем.
Отведи меня снова в детство,
чтоб я стал от тебя зависим,
никуда не сумел бы деться.

Ты бы мне наливала грелку.
Ах, когда бы не умерла ты,
унесла бы мою тарелку,
убрала бы мою палату.

А теперь лишь глубокой ночью,
да и то лишь по Божьей воле,
я увижу тебя воочью,
забываясь от тяжелой боли.

* *
*

Мой бедный мальчик, жизнь одна лишь —
да и ее прожить невмочь.
Читаешь, пишешь, а не знаешь,
какая наступает ночь,

какая тьма уже струится
в окно сквозь тусклое стекло.
Перелистни ж еще страницу,
пока глазам твоим светло.



НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР

*

ДВА РАССКАЗА

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ

Нечего стесняться, что мы любим Пермь. Столько здесь породистых лиц, что каждое второе можно поместить на обложку журнала! А Петелина была вообще из какой-то будущей Перми, где никто не станет копать в мусорных баках... Впрочем, мы видели ее всего раз, лет так уже двадцать тому назад, когда у нее было прозвище Елена Прекрасная. Елена Климентьевна была сахарно-смуглого вида, и реяли какие-то беспричинные отблески во всей ее фигуре. В общем, казалось, что прозвище — точное. И выглядела в свои пятьдесят она от силы на тридцать! Помнится, что и за один тот раз она успела вбить в нас массу своей биографии: были там дворянские корни, два образования, подлец отец Ромы... С Романом, ее сыном, нам и приходилось много общаться (поначалу он — с джунглями на голове и внутри, а потом — коммерсант, и тут же природа словно спохватилась, что его образ не соответствует новому положению, и запустила свои вездесущие руки к нему в волосы, нечувствительно пропалывая, так что через год он уже зеркалил лысиной).

Первый звонок. 27 апреля 2001 года она нам позвонила:

— Мой Ромочка ведь вам помогал! Помогите и вы мне: ремонт нужен, я не могу в такой обстановке... Семья у вас большая, рабочих рук полно! За неделю управитесь вшестером.

— Елена Климентьевна! У нас внук родился, мы себе ремонт в этом году не планируем, не то что вам...

— Ну и что — внук! Помогите хотя бы достать мои фамильные драгоценности! Ящики в комод провалились, я не могу справиться, а чужих людей боязно просить — ограбят. Мой Рома вам всегда помогал.

Ну, мы никак не ожидали, что жизнь может так вертеться, как вошь на гребешке! Ее Рома ходил к нам как многолетний стукач и носил, как все соглядатаи, что-то утешительное и смягчающее на уровне курицы, а то и торта. Посудите: сказать ей о том, чем занимался сын — нельзя, но если все одиннадцать мам одиннадцати стукачей, которые паслись в нашем доме, попросят сейчас отслужить... И не нужно думать, что у нас была мания преследования: деньги-то на пригляд отпущены, а в Перми кругом одни самоотверженные коммунисты, ветераны войны, передовые рабочие — кого отлеживать-то? Оставались какие-то хилые писатели да шизанутые художники. Андропов, видите ли, по Венгрии понял, что восстание может начаться с группы молодых писателей, а мы теперь одиннадцати матерям одиннадцати стукачей будем, что ли, ремонт делать?!

Нас так и подмывало со скрипом зубовным, гримасами, в величественной позе сказать Елене: «Да ты знаешь, кто был твой Ромочка! Сикофант,

Горланова Нина Викторовна и Букур Вячеслав Иванович родились в Пермской области. Авторы «Романа воспитания», повестей «Учитель иврита», «Тургенев — сын Ахматовой», «Капсула времени» и др. Печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда» Живут в Перми.

дятел, в общем, по-простому — доносчик». Но взамен этого мы жалко бляели в трубку: «Простите, пожалуйста, мы уже стары, больны... Внук... Сапоги девочкам-студенткам».

— Все так и должно быть, Ниночка... Она нам все может сказать, а мы ей — нет.

— А чего ты закашлялся? Слюной подавился?

— От вожделения. Как представил драгоценности в ее ящиках — слюна и побежала.

Помним: Роману все время были нужны свежие данные. Он заводил разговоры на заданные темы. Например, барственно снимал с полки свежий том Гегеля и произносил:

— Не люблю его за то, что Маркс из него вышел. Хоть Гегель и не виноват в этом.

— Как и Маркс не виноват, что из него Ленин вышел, — конечно, бухал кто-нибудь из нас — сдуру (никогда не умели удержаться).

Сейчас кажется: простенький диалог, что в нем особенного! Ну, в первую очередь то, что он происходил в семь утра, когда мы запаковывали ревущих детей для заброски в садик, перемежая конвульсивно все это хлебками крепкого чая. А посреди ежеутреннего развала был остро воткнут в пол Роман, тянул крутой настой, подергивал беспокойно плечом и регулярно повторял: «Нина, успокойтесь».

Причем он с полным правом пил этот чай, потому что именно в то утро он сам и принес волшебную благоухающую пачку со слонем. А мы покорно впустили его около семи, потому что боялись, ибо куда денутся дети, если мы попадем в лагерь... Но, впрочем, твердо было решено: говорить все, что думаем, не радовать внутреннего цензора, который есть продолжение тоталитарного государства. Но в то же время мы подчеркивали, что свергать власть не собираемся, да и куда нам! Мы ведь все считали: конечно, умрем при этой вечной советчине.

Бесспорно было что в те семь утра? Что этот день — последний в месяце и отчет Романа должен быть у куратора. Если Роман не соберет у нас каких-нибудь сведений, то наплетет от себя невесть что! Мы были невысокого мнения о его способностях. Так что получилось абсурдное слияние воли в одном направлении — мы помогли ему, тайному работнику державы, в его неоднозначной работе. Уже тогда мы смекнули, что же это такое — державность...

Второй звонок. 11 мая 2001 года Елена снова нам позвонила:

— Я уже поняла, что ремонта от вас не дождешься! Но я прочитала в «Губернском герольде» ваш рассказ... Открою вам тайну: я тоже сочиняю. И все такое интересное, из моей жизни. Я ведь пришла к оккультизму, у меня это пошагово записано. Но как пристроить в печать? Вы мне хотя бы с этим помогите, ведь мой Рома так вам помогал!

Тут надо упомянуть ее интонацию: начинает в наступательных тонах, а заканчивает фразу, как умирающая муха.

— Елена Климентьевна! Вы же такая красавица! С вашей внешностью стоит только заглянуть в пару редакций...

— Во-первых, красавица из меня испарилась. Во-вторых, вы должны все еще перепечатать. Мой Рома вам сильно помогал...

— А телевизор? — закричали мы в параллельные трубки. — Помогал! Он его так отремонтировал, что у бедного остался один путь — на помойку.

Телевизор нам подарили родственники, и он нам очень нравился. Но Рома прибежал: «Ой, какой снег, снег!» Нам-то казалось: какой же это снег, так — отдельные на экране снежинки. Но как вспомнили про Ромины особые функции, так и ослабли, сдались — пусть ремонтирует. И тут он заносился, как шаман: паяльник подайте, удлинитель подвиньте ближе... Сначала мы решили, что он впаяет нам какое-нибудь прослушиваю-

щее устройство, но телевизор не выдержал и решил, что лучше смерть, чем бесконечные мучения. Из него пошел густой дым...

— Лучшее — враг хорошего, — плоско пошутили мы, почувствовав при этом облегчение.

О природе доносительства.

— А ты заметил, Слава, что все наши стукачи — именно все — были ненормальными?

— Это значит, что соглашаются на такую карьеру лишь неудачники, прищемленные жизнью?

— Если бы все было так, то с них и спроса нет, и осуждать больных нельзя! Нет, часть здравого смысла они сохранили. Ни один ведь не пришел и не сказал: «Здравствуйте, я из КГБ».

— Да, ведь что бы стоило хоть одному из них на ушко тебе шепнуть интимно: мол, при мне вообще предохраняйтесь, я на спецзадании... Значит, на все это — на самоконтроль, на разыгрывание дружбы — здравого смысла хватало.

— И все-таки с годами (хорошо, что не с десятилетиями) видно было: здравые силы истощаются! Видимо, все усердие бросали на камуфляж. А в быту что творили: придумать нельзя! Помнишь: один спилил ниппеля у нашего велосипеда? Я его чуть не убила тогда...

— Нина, а помнишь, Моисей послал разведчиков в страну Ханаанскую? В Книге Чисел: и сказал Господь Моисею, говоря... Так эти высматривающие исказили все! Мол, исполины там живут... И еще: мы были в глазах наших пред ними, как саранча.

— Помню! Особенно меня поразило, что там двое несли на шесте одну кисть винограда! Все в сторону преувеличения исказили.

— Нина, с кистью все просто объясняется: дорвались до хорошего вина — после странствия по пустыне... Неужели и мы в их глазах — сексоты — были исполинскими чудовищами? А сами-то они кто для себя — милые пушистики?

— Я думаю, каждый внутри о себе все знает, да еще сны ему подсказывают, кто он есть. Чтобы заслонить это знание, они бешено активны.

— Слава, а ведь в Книге Чисел сказано: Моисей услышал от Господа страшные слова... В общем, наказал их Господь всех за то, что поверили разведчикам, испугались... и по пустыне сорок лет Моисей должен был за это их водить, чтоб вымерли все легковверные.

— Нина, каков же вывод?

— Я думаю, примитивные древние архетипы в мозгу сидят у многих. В первобытном племени *чужой* узнавался с ходу! По иной раскраске и инакости движений. Я так и представляю: при виде *другого* у бедного охотника начиналось что-то вроде аллергии — затрудненность дыхания, сердцебиение, жар по всему телу. Убить — это была даже не мысль, а мгновенная автоматическая система мыслейдействий.

— Значит, для КГБ архетип *другого* в отношении к инакомыслящим проявлялся? Это враждебные, за ними глаз да глазынек. И вот тарашат они свои пронизывающие очи и не ведают, что архетип (программа) подсказывает им искаженную картину, преувеличенную. И от этого крыша едет, и ниппеля спиливаются, и телевизоры горят ярким пламенем. И нам, надзираемым, нервотрепка, и сами с ума сходят.

Третий звонок. 16 мая 2001 года Елена позвонила снова и запела старую арию — про ее рукописи.

— Мы свои-то рукописи не знаем, куда прирастить. Может, вы думаете, что издатели, трясаясь от вожделения, хватают наши вкусные рукописи?

— А со стороны это так и выглядит. Да ладно, я звоню не по этому поводу... Сегодня Рома мне приснился: в столбе энергии прилетел ко мне в гости, но опять куда-то спешит, поэтому я в таком раздрае... Вы уж извините, что опять к вам врезаюсь по телефону...

Тут мы утомили и измучили ее своим бесконечным выслушиванием сна, и она в отчаянии положила трубку.

Дело в том, что все стукачи в эпоху рынка вдруг поднялись! Фирмы, магазины, ООО — весь стандарт. (Хотя, разумеется, не все бизнесмены — бывшие информаторы.) Был момент, когда мы чувствовали, что нами никто не интересуется. Нам-то хорошо, но Роман остался без своей тайной работы... и без помощи «конторы» он наделал массу глупостей, разорился. Судорожно веселые кредиторы его с загнутыми пальцами поставили Рому на счетчик. Елена Климентьевна нам в ужасе рассказала:

— Он ведь в последнюю секунду купил себе еврейскую генеалогию и уехал в страну отцов. Праотцев... как правильно?

Четвертый звонок. Мы его уже ждали. Видели по ТВ в новостях, что недавно в Перми раскрыли эту фирму и все данные о лжеевреях передали в МВД Израиля. Мы только не знали, чего на сей раз от нас потребует Елена Климентьевна.

— Ведь какие бывают злые люди! — начала она сразу про разоблачение фирмы, продающей генеалогию. — Зачем было тревожить людей на новой родине?! Неужели Ромочку вышлют? Что его здесь ожидает?! Вы ведь верующие — молитесь за него!

Вот новая для нас задача — молиться за стукача!

— Но, Слава, с другой стороны, Роман — единственный, кто покаялся перед нами... Давай за него молиться хоть изредка.

— Да? Ты так это называешь? В девяносто первом, когда страну кратковременно вспучило, он со страху пришел! Думал, что наши друзья придут к власти и списки доносителей расклеят на каждом заборе.

...16 сентября 1991 года он пришел вечером, и, еще не разоблачившись, достал из кармана на груди сложенный вчетверо лист. Протянул и сказал: «Может, вам пригодится в вашем творчестве?!»

Почему-то мы сразу поняли, что это донос. Но это оказался черновик доноса. Видимо, автор мучительно искал, как уйти от ябедной пластики, чтоб произвести на нас пристойное впечатление. Это было сообщение о семье доцента П. «Вместо того чтобы одуматься и заработать на достойную кооперативную квартиру, они целыми вечерами обсуждают и осуждают советскую власть, якобы ничего не делающую для населения. А ведь при их необыкновенных способностях, каким-то чудом помещенных в их узкие мировоззренческие головы, они могли бы иметь и машину, и дачу, если бы не трагично время на вредные разговоры». Стояла дата: 1983 год. Мы спросили:

— А нет ли чего посвежее почитать?

— Нет, больше ничего нет, — широко, по-японски, улыбаясь, ответил он. — Даже это я не перевел в беловик и не отправил.

— Почему?

— Да как-то... Противоречило это моей сути.

Для нас это была совсем новая ситуация. Одна из примет перестройки — может быть, хороших. Мы торжественно положили бумажку на диван, и сразу же на нее села Мурка. Она думала: «Опробуем насчет удобств. Жизнь очень, очень трудная, нужно каждую подвернувшуюся секунду отдыхать». Роман сказал:

— Смотрите, Нина: ваша кошка села на мой доносик.

По ласковому «доносик» сразу стало понятно, что беловик был отправлен (и еще много беловиков). Но другие сексоты вообще и так не признались. Одному мы, неизвестно как набравшись духа, в лицо говорили, что он донес то-то и то-то. Заливаясь слезами, он от нас убежал, ни в чем не признавшись. Потом гордился, наверное, собой. Но никому из знакомых не сказал, что у Горлановой и Букура мания преследования. Зато когда мы рассказывали о нем направо и налево, то получали в ответ удивление:

— Все давно знают, что он со студенческих лет постукивает, одни вы как дураки...

Мы были не дураки, мы не хотели всех подозревать. А после этой истории, году так в 1989-м, кажется, так «поумнели», что... В общем, к нам в квартиру позвонили. На площадке стоял мальчик лет тринадцати:

— Вам цветочек!

В руках у него был букет роз. А мы не взяли: решили, что КГБ отравленные цветы прислало. Потом оказалось, что это поклонник старшей дочери прислал — хотел романтики. А вышло...

На днях снова позвонила Елена Климентьевна:

— Сквозняк в грозу так опасен: молния может пройти ионизированным шнуром — войдет в форточку, пройдет через комнату и ударит в батарею! У вас окна все закрыты?

Окна закрыли. Спасибо за заботу. Что слышно о Роме?

— Рома женился на еврейке. Теперь он в безопасности. Но вы все равно молитесь за него! Я прошу.

Достоевский говорил, что писатели должны отвечать за все человечество. Он и в тюрьме отсидел... А нам — всего лишь молиться за бывшего стукача предлагают. Но что, если позвонят матери десяти других и попросят, чтоб мы возносили за них молитвы?

ВБ

Какие-то дети, дети все, дети... Евдокия стряхнула сон. Ночной звонок в дверь воспринимается как мировая катастрофа. Такое ощущение: пока ты спала, все начало рассыпаться, а застыло только потому, что успела проснуться. Спокойно, сказала она себе, муж в санатории, кто бы это мог быть? Евдокия, полная, но легкая, всплыла над двуспальным ложем и заперемещалась к двери. Халат ее — совершенно заковыристой расцветки — то в одном месте обнимал округлость, то в другом... И она уже в горле перебирала регистры: каким голосом заговорить с тем, кто стоит на лестнице. Посмотрела в глазок и увидела сосредоточенное лицо Юрия Чухнюка... или он Чухняк?.. Бывший ученик их гимназии, но в его классе она не вела литературу! Евдокия настолько не представляла, что ему здесь и сейчас — в полпервого ночи — нужно, что растерялась, все регистры потерялись, и она спросила никаким голосом:

— Вы к кому?

— Евдокия, извините, Александровна, мне срочно... поговорить с вами, проконсультироваться!

К ней еще никто не являлся за консультациями в такое время. Заинтересованная, она открыла дверь. «Милый мальчик, ты так молод, так светла твоя улыбка...»

— Евдокия... Александровна! Что такое «высота безысходности»?

Спрашивая ее, он как-то быковато-мрачно на нее посмотрел.

— Наверное, от этого зависит ваша жизнь, что вы примчались для консультации в полночь, Юрий?! — Говоря это, Евдокия машинально защитилась халатом: запахнулась им до скрипучей тугости.

— От меня сегодня ушла жена. — Юрий громко задышал, очевидно, прокручивая перед собой происшедшее.

— Это свойство жен. Иногда они уходят, Юрий.

Он хотел сказать, что «иногда» — это не то же самое, что «сейчас», но посмотрел на халат, расpiraемый могучим давлением, и ответил так:

— У вас училась Люба Заренко. Она твердила мне два года... Вы их учили, что должна быть высота безысходности! А сегодня она ушла от меня. Так вот... может, вы мне сейчас скажете, что это такое — высота безысходности?

В это время выскочила из детской Кролик — ей было до всего дело в полночный час. Как и самой Евдокии, когда ей было семнадцать лет. При виде томно-мрачного Юрия дочь протерла глаза и строго спросила:

— А жена во сколько ушла от вас?

Ответил им человек, у которого, когда ушла жена, словно половина тела отпала, поэтому он все время проверял, на месте ли оставшиеся части; например, под видом поправки галстука шупал, тут ли шея.

— Люба (вдох) ушла (выдох) в десять часов (вдох) тринадцать минут (выдох) утра!

— Кроличек, иди-ка ты спать! — посоветовала Евдокия.

Но Кролик не ушла. А в коридор вышла еще и кошка.

— Вот и Мусе любопытно, — сказала Кролик.

— Вся кошка состоит из шерсти и любопытства, — зевнула Евдокия.

Кролик поняла, что мать зевает намеренно, и сказала Юрию:

— Жена уже не вернется, у нее теперь другие циклы работают, — туманно, но в то же время по-подростковому жестко объясняла она. — Вы завтра с утра должны искать другую жену! Да когда найдете, в первую очередь спросите, не училась ли она у моей мамы по литературе. Если и вторая училась у маменьки, то бегите от нее изо всех сил...

Напрасно Кролик старалась: мрачный Юрий был в таком горе, в таком... Он, кажется, даже не замечал, какого он пола.

— Так что же это такое — высота безысходности?

Евдокия нервно заколыхалась:

— Язык культуры нужно долго осваивать. Вот если бы вы учились у меня в классе, а потом...

— Спать бы такую культуру, — по-хамски оборвал незванный гость Евдокию, а про себя добавил: «А тебя взорвать, отравить и повесить», — повернулся и огромными прыжками улетел вниз по лестнице.

Евдокия покачала большой красивой головой:

— Ужасно тонка у нас в России пленка культуры. Вот-вот прорвется. А ты, Кроличек, иди спать, простудишься. Завтра экзамен! Или тапочки, или в постель.

— Не ты ли, мама, эту пленку истончаешь! Почему ты не говоришь в гимназии просто, что нужны дом, семья, дети? У тебя ведь все это есть!

Евдокия, чтобы не выглядело демонстративно, зевнула не размыкая рта и сказала: мол, папа, бедный, в Ключах там скучает один.

— Папе ты никогда не говорила про высоту безысходности, а все: да, милый, хорошо, милый!

— Есть искусство — и есть жизнь. Какая ты все-таки дремуче-первобытная еще...

— Мама, почему ты визжишь и топаешь ногами!

— Я? Ну а где мы находимся в конце концов?

— Где же?

— В России. У Достоевского вообще сплошь одни скандалы...

— Мам, у Толстого не одни скандалы, а он тоже не во Франции жил.

Евдокия поймала себя на том, что закуривает третью сигарету. И так, Кролик не против культуры, а против людей, паразитирующих на культуре. Она потом сама не могла понять, как у нее получился такой вывод.

— Мама, ты хотя бы вспоминаешь иногда, как твой первый муж утонул в Байкале?

— Я тут ни при чем. Байкал пьяных не любит.

— Байкал пьяных не любит... А долго ли ты сама пробыла тогда на высоте безысходности? Ты через месяц вышла замуж за папу!

— У тебя, дочка, нет широты мышления, тонкости. Да. Это я упустила. Прости. У папы мне понравился номер машины: 906. Если перевернуть, то получится то же самое число. Ты же знаешь, как я внимательна к числам, как много значения им придаю... Ждать было нельзя!

Евдокия увидела, что в пепельнице полно окурков. А дочь все не унималась:

— Ты мне объясняла сто раз: Икар упал, а люди не заметили его полета — желая летать! Один пашет землю, все своими делами занимается, а Икар только ножкой булькнул... Ты очень стремишься быть замеченной. Но разве можно — любой ценой?! Детям морочить головы... А сама ты хоть минуту пробыла на высоте безысходности?

— Еще раз скажешь про высоту — и получишь в умный лоб, Кроличек!

— Все поняла. Теперь сокращу до ВВ. У Икара — ВВ. Но люди имели право заниматься своими делами, я думаю... Но ты не ответила мне про себя — была хоть минуту на?..

Да как Кролику рассказать, что в советское время старые имена казались чем-то жухлым! Сколько раз Евдокию называли Дуськой, столько раз и взгромождали на высоту безысходности! На эту самую подлую высоту... Это сейчас все снова вошло в моду, вон и магазин рядом — роскошный! — называется «Евдокия»! А раньше... что пришлось вынести, Боже мой!

— Понимаешь, сейчас в России... доченька...

На слове «Россия» окно в соседней комнате взорвалось. Евдокия и Кроличек кинулись друг к другу, завизжав и больно обнявшись.

— Неужели это он, Юрий? — вслух думала Евдокия, уже подбирая осколки бутылки и разбитого балконного стекла.

Кроличек бросилась защищать мрачного красавца: мол, там, внизу, целая драка, мильон алкашей.

— Ну он, может, воспользовался этой дракой и отомстил, — по привычке побеждать возразила Евдокия, хотя уже вспомнила, как они с дочерью ловили некоторые фразы пьяной компании под окном.

В пьяной компании словно нет переходов от одного этапа к другому. Кажется, только что был мирный разговор о том, где дешевле можно купить пакетики с опьяняюще-чистой жидкостью, и вдруг полетели булжники матюков, а потом и настоящие булжники. Наконец застонала вдалеке милицеевская машина. Она стонала то справа, то слева, пока все не разбежались. И тут-то она появилась во всем блеске: грозный «форд», гуманитарно подаренный копами, кажется, Чикаго — да, оттуда — далеким уральским коллегам.

Евдокия стояла на балконе, уткнувшись в ночь. Кролик пристроилась рядом.

— Мам, а этот Юрий, как его фамилия, он что, давно женат?

— Чухнюк... или Чухняк. У них не я вела, а Пискунова: типический герой, принципы гуманизма... Слава Богу, она уже год как на пенсии.

Теперь Кролик знала фамилию этого мрачного Аполлона и могла идти спать, но завтра она его найдет (у подружки мама в горсправке работает).

— Мама, давай вместе пойдем к Юре завтра? Ты же разбила эту семью.

— При чем тут я? Это все Люба Заренко... Помню: появился у них в одиннадцатом классе новенький — так я сама видела, как одна ее губа погналась за ним, а другая по-прежнему тянулась в сторону Юрия.

Мать и дочь уже сидели на кухне. Ветер принес в балконную дыру полуденную сумасшедшую муху, которая вскоре зажужжала в теплом воздухе возле уха Кролика. Даже мухе нужно тепло, нужен уют. Евдокия взяла мухобойку и пригласила муху на казнь:

— Ну, садись, я тебя прихлопну.

Но насекомое не послушалось.

— Ладно, оставайся на ВВ, мама!

— Опять ты за свое!

— Хорошо, тогда будем говорить про низины оптимизма...

А Юрий в это время шел по городу, отказавшемуся от света — будто специально для него такой кусок города выпал. Вот на этой скамейке может сидеть его жена, одиноко так! Но не сидит. А если свернуть за магазин

«Евдокия», то и там она может сидеть. И тоже никого. Если бы она ушла к другому, то он бы ее вырвал, но она ушла в высоту безысходности, а это...

Родителям Любы он звонил пять или шесть раз, никто не отвечал. Возможно, на дачу уехали. И Любу взяли? Вдруг он увидел свет в своих окнах. Он никогда так серьезно с женой не ссорился еще, и опыта примирения нет... Юрий остановился покурить у окна на своем этаже. Это окно в подъезде — под возрожденческую арку — сделал новый русский, их сосед. Неизвестно, как пришла ему идея витража в подъезде, но до витража дело не дошло. Его подпольное производство водки было разоблачено, а вместе с ним сгинул и сам сосед куда-то... Четыре стеклышка только и вставлено — лазоревых лепестка. И что они должны были означать? Надежды на... ? Все лицо соседа было измято подлостью или желанием скрыть подлость, а вот поди ж ты — хотелось витражей; причем — не только для себя, а для всех в подъезде!

Хорошо, что не звонил родителям, не потревожил их! Они и так к себе взяли бабушку, чтоб Юрий с женой жили в ее квартире, а теперь бабушка заболела... Впрочем, он знал, что хороших людей много и кто-нибудь да родителям донесет, как Юрий искал Любу, которая то взбегает на высоту безысходности, то сбегает с нее...

Любовь — это ясновидение, это не ослепление. Он знал, что Люба — не Евдокия, но Евдокия хоть своих не трогает, живет в свое удовольствие, а эксперименты ставит на учениках, Люба же искренне верит в любую чепуху... И тем не менее сердце вываливается (от любви). Пора! Он хотел выжечь в себе такие вопросы к жене: «Ну как там, на высоте безысходности, — кислороду хватает? Голова не кружится?» — но, к сожалению, сигареты были слабые, не выжигали ядовитые слова. Тут бы подошла едкая махорка, которая — пусть вместе со здоровьем — разрушила бы и ненужные мысли.

Люба лежала в ванне с томиком Кушнера в руках. Она виновато посмотрела на мужа и сказала:

— Хотя его и зовут Скушнер, но мне понравился.

— Где ты его взяла?

— В одном доме... у Лиды, ты ее помнишь, наверное, на первом курсе она с нами начинала, а потом ушла в академ. И еще там был один сценарист, то есть драматург! В общем, он хочет пьесу написать о высоте безысходности. В восторге: «Какой сюжет, какая жизнь у нас в Перми богатая!»

— Он сам-то не хочет быть героем пьесы? Я из него инвалида сделаю! Это так сценично, украсит пьесу... коляска никелированная. Лицо в синяках.

Юрий прошел на кухню и там смел все, что было в холодильнике. (Он не понимал тех, кто от расстройств не ест.)

Люба неслышно приблизилась сзади и положила голову на плечо.

— Да этот сценарист... его жена бросила! Как он говорит: «единоутробная жена». А все — с неудавшейся жизнью — хотят, наверное, это и дальше распространить. — Люба давала понять, что она все понимает...

Юрий подрабатывал через ночь в «Эдеме» — ночном баре (вахтером или вышибалой, что одно и то же). Он сказал:

— Завтра у нас зарплата — набросай список, я на Гачу заеду, поверблюдствую опять, все привезу. — Он посмотрел в окно. Странно — где он находил тьму в городе? Ведь в Перми белые ночи в июне. Скорее белобрысые такие, но с каждым мигом все прозрачнее и прозрачнее.

...Евдокия позвонила нам в семь утра! Почему-то многим нашим знакомым кажется, что если у нас много детей, то всегда найдется один, кого можно одолжить для решения тех или иных проблем. А то, что каждый из них — такой же человек, загруженный своими проблемами, это в голову людям не приходит.

— Что случилось-то?

— А помнишь, Букур, ты говорил: «водка» — одного корня с «водой»? Ну а воду надо все время пить. Получается подсознательный приказ: водку тоже пить! У русских так.

— Я вообще думал, что у иных моих пьющих друзей вместо сердца — рюмка, никогда не разобьется. А вот недавно позвонил отец одного: инфаркт у сыночка... Пока не заменят слово «водка» на другое...

— Тут мне Кроличек подсказывает: они сейчас пакетики пьют... со стеклоочистителем.

— Но изначально-то пили водку.

— Эти пьяницы разбили у нас балконное стекло... Надо бы на час-другой покараулить квартиру, дочь сдаст первой экзамен и вернется.

С трудом мы отбились от Евдокии: у наших тоже экзамены (что — правда).

...Все обошлось: никто в квартиру Евдокии не забрался за те два часа, что Кролик сдавала экзамен. Потом она вызвонила мастеров. А в четверть девятого вечера Евдокия вернулась домой:

— Знаешь, ко мне в автобусе пристал один: «Евдокия? Когда долг отдашь?!» — «Какой долг?» — «Ты ведь Евдокия?» — «Да, но...» — «Никаких „но“! Должна — отдавай!» Потом уж мы выяснили, что он имел в виду другую Евдокию... Странно. В нашем поколении Евдокий-то раз-два — и обчелся. И ведь пошли автобусные круги злобности. Знаешь, Кроличек, стоит в транспорте кого-то толкнуть нечаянно, все — кругами пошло. Но потом я пару раз вежливо сказала: «Простите великодушно», — и обошлось... Я, видимо, кому-то должна... в самом деле! Я готова с тобой поехать к Юрию.

— Мама, я уже там была. У них все в порядке. Люба вернулась. Сидит и готовится к экзамену.

— Значит, зря ты съездила?

— Нет, не зря. Она вся чешется, а я сразу: «У вас случайно не немецкая комбинация? На нее часто бывает аллергия...» Люба сняла — все, перестала чесаться...

— В кого ты у нас такая умная, Кроличек!

В этот вечер Кроличек записала в своем дневнике: «Как хочется любви!»



ВИТАЛИЙ КАПЛАН

*

ЗВЕЗДЫ И ЯБЛОКИ

* *
*

Подать в отставку, денег подзанять
И дом купить в недалеком Подмосковье.
Засеять грядки и с землей сравнять
Ту память, что рифмуется с любовью.
Смурные мысли обернув бинтом
И объявив несбывшееся вздором,
Проснувшись ночью, думать лишь о том,
Пора ль давать подкормку помидорам.
Обрезка яблонь, тыквы, кабачки —
Есть чем занять и голову, и руки.
...Соседям, закурив, втирать очки,
Что отдал тридцать лет родной науке,
Не уточнив, какой. Да все равно!
Пить с ними пиво, осуждать порядки,
Смотреть под настроение кино
И обихаживать с клубникой грядки.
Такая жизнь... А в письменном столе,
Промасленным обернут поролоном,
На всякий случай заперт пистолет
С одним-единственным в стволе патроном.

Киносъемка

На съемочной площадке
Снимают фильм про ад.
Художникам не сладко,
И режиссер не рад.

Все знают, что об этом
Не следует снимать,
Но пьют из речки Леты,
Ругаясь в душу мать.

А там — скалистый берег,
Там сыро и темно.
...Давно никто не верит,
Что это все кино.

Каплан Виталий Маркович родился в 1966 году. Поэт, прозаик, литературный критик, специализирующийся в области фантастики. В течение нескольких лет руководит московским детским литературным объединением «Кот в мешке». Это первая стихотворная публикация Каплана в нашем журнале.

Взгляд с обрыва

Блестит под солнцем старая река
Осколками дешевого стекла —
Забыла, как небесная рука
По плоскости лесов ее вела.

Излучины свивались в письмена,
В созвучия подобранных слогов,
Но обмелела к старости она,
Куда ей до песчаных берегов...

Все позади — и звон апрельских льдин,
И лодок беспокойные пути.
Исход оставлен ей всего один —
Под жадным солнцем к вечности ползти

И затекать в полотна чудаков
На пыльном и бескрайнем чердаке.
Ну что еще сказать — удел таков.
Была река, а стала — «о реке».

Варнавинская элегия

Провинция, куры, сухая жара —
Ну точно в натопленной бане.
Зеленые мухи кружатся с утра,
И хочется скрипнуть зубами.

Здесь хлеб привозной — два с полтиной батон,
Дешевле чуток, чем в столице.
Но вот голоса — слишком горек их тон
И слишком усталые лица.

Зато не позволит пропасть огород,
Прокормит надежный суглинок,
Природа подкинет порой от щедрот
Орехов, грибов и малины.

И кажется — в небо впадает река,
Пока ты стоишь на обрыве.
Сквозь пальцы пространства текут и века,
И ползают змеи в крапиве.

А кто потерялся в горячей пыли —
Тоску свою лечит петлею.
Но толку? Душа-то все так же болит,
Пускай и гниешь под землю.

А те, кто не вытянул злого туза,
Бутылкой бессмыслицу лечат.
Эффект нулевой, и слезятся глаза,
И льются соленые речи.

О Господи, что с ними станет потом?
Хоть чем-нибудь, да помоги им!
И в сером домишке с надвратным крестом
Неспешно текут литургии.

Соборы здесь были и монастыри.
Да что там, известное дело:
Когда-то решили: «Огнем все гори!»
И нынче как раз догорело.

Цветет иван-чай на углях пустырей,
Хохочет воздушная нежить...
Эх, звоном бы! Только вот нет звонарей,
И колокол некуда вешать.

* *
*

Слова несказанные тают,
И время утекает зря.
Душа распахнута пустая
В холодный сумрак октября.

Дожди давно ее обмыли,
Ветра в ней мусор подмели,

И без толку считать на мили
Дорогу в каменной пыли,

Когда идет она без хлеба,
Иглою палец проколов,
В то исчезающее небо,
Что дальше снов и выше слов.

* *
*

Не было звездного неба,
Не было яблок тугих.
Все это в спешке, нелепо
Я засандаливал в стих,

Слушая писк комариный
Где-то в районе окна,
Что обещал до зари нам
Тихий кошмар вместо сна.

Звезды и яблоки — это
Просто обломки любви,

Отзвуки мертвого лета:
Хочешь — на память сорви,

Я для того их и бросил
В стих безнадежно-сырой.
...Скрежет несмазанных весел
Радует больше порой,

Чем увертюра Шопена.
С пивом рифмуется жизнь.
Жаль, что отстоя пены
Мы с тобой не дождались.

* *
*

Снова приходит Рождественский пост,
круг годовой замыкая.
Сам по себе он обычен и прост
(фраза возможна такая).

Мяса нельзя, молока да вина, —
скучный реестр неофита,
и забываешь о том, что вина
к сердцу гвоздями прибита.

Но для измазанной, мокрой души —
вафельный снег полотенец.
Вспомни, как в ночь в Вифлеемской глуши
Божий родился младенец,

под удивленные возгласы звезд
небо совлекший на землю.
Это и будет Рождественский пост,
этому чуду и внемлю.

* *
*

Это несложно — представить себе
Ночью родившийся снег.
Ветер, к примеру, хохочет в трубе,
Жуть настагает во сне —
Значит, проснешься и кинешь в окно
Быстрый растерянный взгляд,
Но из предзимья к тебе все равно
Белые хлопья слетят.
Некуда скрыться от яростных мух,
Лезущих в бой на стекло.
...Ты все равно не поймешь, почему
Все же тебе повезло.
Ты еще можешь губами ловить
Семечки льдинок лихих,
Ты еще можешь осколки любви
Сыпать в нечаянный стих,
И наплевать, что, рождая метель,
Ты сочиняешь себе
В скрипе дверных проржавевших петель
Музыку к стылой судьбе.
Ты сочиняешь, как падает снег —
Молча, безжалостно, зло,
Выхода нет ни во сне, ни в вине...
О, как тебе повезло!
И не отводишь ты глаз от стекла,
И представляешь: за ним
Ветра ночного слепая метла
Снег разгоняет, как дым.
Так и в себя бы войти, подмести,
Выгнать фонариком тьму,
А ты все шепчешь: «Не стой на пути!»,
И непонятно, кому.



АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

*

ПАДЧЕВАРЫ

Повествование в рассказах

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА НА ОЗЕРЕ ВОЖЕ

Первый раз после долгого перерыва я отправился в Падчевары на новом викторовском джипе. Привыкнув совершать долгий путь в вологодскую деревню на котласском поезде, потом несколько часов дожидаться колхозного или рейсового автобуса, трястись в нем пятьдесят с лишним раздолбанных километров по большаку и идти от остановки по разбитой проселочной дороге с тяжелым рюкзаком еще час до дому, уже жалея, что купил избу так далеко от Москвы и добираться до нее едва ли не сутки, я удивленно и словно во сне взирал, как громадная, легко и быстро идущая по дороге «тойота-лендкрузер» миновала Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль и Вологду, и, выехав из дому не слишком ранним мартовским утром, мы даже не к вечеру, как рассчитывали, а в послеобеденное время подъезжали к деревеньке, недалеко за которой начиналась архангельская земля.

На недавно построенную прямую бекетовскую дорогу ложились долгие тени. Медленно опускавшееся солнце играло на тонированных стеклах автомобиля, остались в стороне на всхолмиях среди лесов и полей красивые, занесенные снегом знакомые и незнакомые деревни с громадными северными избами — Гридино, Нефедовская, Огарковская, Анциферовская, Бухара и Огибалово, — в машине было не жарко и не холодно, играла приятная музыка, и в этом беззвучном и устойчивом движении посреди белого пространства было что-то столь же неверное и нереальное, как в комфортабельном перелете через океан, занимавшем, к слову сказать, ровно столько же времени, сколько автомобильный путь от Москвы до Осиевской и Кубинской, двух самых дальних падчеварских деревень, между которыми стояла моя изба.

Как часто я в Падчевары в прежние годы ни ездил, а случалось, бывал я там по четыре-пять раз в году, перемещение из городской квартиры в деревню было делом не только физически хлопотным, но порою и рискованным. Между этими мирами лежала очевидная граница, которую поезд в неведомый мне миг пересекал тряской ночью, так что я ложился спать в одном измерении, а просыпался в другом и никогда не был уверен, что вернусь обратно. Там, где будило меня наутро беспокойство, была всегда иная погода, люди, слова, даже самый воздух был резче, ко всему нужно было подготовиться, себя собрать и переиначить — но, сидя в несущемся со скоростью полтора-два километра в час, при том что скорость эта совершенно не чувствовалась, джипе, как мог я уразуметь, на каком отрезке

Варламов Алексей Николаевич родился в 1963 году. Закончил МГУ. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Москва», «Грани». Первый лауреат премии Антибукер за опубликованную в «Новом мире» в 1995 году повесть «Рождение». Живет в Москве.

пути — на мосту через Волгу, на границе Ярославской и Вологодской областей, в самой деревянной Вологде или где-то за ней — начинался этот иной мир?

Впрочем, одну очевидную границу мы все же пересекли. Покойный крестьянин Василий Федорович Малахов, которому я был обязан и покупкой избы в Падчеварах, и любовью к этим лесистым глухим местам, сидя на терраске своего дома, покуривая со мною «Астру» и отвечая на вопрос, отчего нет в деревне садов и ни у кого не растут яблони, вишни или сливы, рассудительно заметил, что климат здесь неподходящий, а вот в соседнем Харовском районе плодовые деревья не мерзнут, на две недели раньше вскрываются реки, распускаются деревья и поспевают рожь, причем разница между деревнями столь ощутима, будто кто-то прочертил линию между теплом и холодом. Голубоглазый хромой старик оказался прав: проехав поворот на Харовск, мы с удивлением обнаружили, что после обычной и почти не изменившейся с утра картинки весенней природы с почерневшим набухшим снегом в полях, гомонящими черными птицами и блестящим от воды асфальтом не плавню и не постепенно, но очень резко, скачком, прибавилось белого снегу по обе стороны дороги, а сама она оказалась покрытой ледяной коркой и погрузилась в безмолвие. Столбик на законном термометре автомобиля, даже не заметившего смены дорожного покрытия и так же ровно поглощавшего километр за километром новой дороги, стремительно пополз вниз, по обочинам замелькали вешки, поставленные на тот случай, если путь заметет. Все здесь было иным, весна еще не приступала к зимним застывшим краям, здесь начинался мой Север, где я отсутствовал три года, часть этого времени путешествуя по неизвестным странам, но никогда его не забывая, а, напротив, то и дело вспоминая и рассказывая жителям дальних мест про свою приемную деревенскую родину.

Меня слушали с интересом и недоверием, задавали вопросы, покачивали головой и подозревали в том, что я сочиняю байки. Окруженный благополучием, довольством и сытостью, которые грех было вменять моим трудолюбивым и вежливым слушателям в вину, я и сам не верил, что описываемый мною мир существует, и теперь, раскинувшись на кожаном сиденье просторного восьмицилиндрового автомобиля, не мог понять, радуется или тревожит меня возвращение, но одно обстоятельство в этой поездке меня определенно смущало.

Я и на своих-то доставшихся от покойного тестя «Жигулях» в Падчевары не ездил не потому, что «Жигули» были старенькими и еще более отвратительно я их водил, а из чувства неловкости перед деревенскими жителями. А тут джип, известие о котором облетит всю вожегодскую волость и надолго застрянет в народной памяти... И хотя вряд ли в северной деревне могли догадаться, сколько он стоит и кто в Москве на таких машинах ездит, приезд на чужеземном автомобиле в глухие края невольно бросал тень на мою гордую и опрятную бедность, с которой, находясь в дальних странах, я опрометчиво полагал, что навсегда расстался, но очень скоро заработанное и накопленное сгинуло, а я, видно, был повязан с нуждой навсегда и потому совершенно напрасно заставил бы подозревать моих сельских соседей в причастности к праведному богатству хозяина роскошной «тойоты».

Нет, никогда бы я не согласился на эту безумную поездку, отозвавшуюся впоследствии многими неприятными минутами, когда б не безрассудная страсть к рыбной ловле, противиться которой я был не в состоянии, ибо только на джипе мы могли пробраться на озеро Воже — цель нашего нынешнего путешествия.

В Вологодской губернии замечательные озера — Кубенское, Белое, Сиверское, — там водится много рыбы, но все это ничего по сравнению с

озером Воже. Даже мой душевный богач, единоличник дед Вася, для которого вся местная природа была безнадежно погублена проклятыми большевиками, уважительно сказывал:

— Лужа большая, за раз не вычерпашь.

На этой луже мне удалось побывать всего однажды в жизни, когда много лет назад на утлой резиновой лодочке вместе со смешливой светловолосой девушкой я пересекал озеро августовской теплой и звездной ночью и по сей день спорил с ничуть не переменившейся с той поры жenuшкой, была ли тогда волна или же вода застыла и не двигалась. Но огромное Воже запало в мою память, и, покупая дом в Падчеварах — так назывался куст наших деревень, а по-старинному говоря, волость, — мечтал, что часто стану на озеро ездить.

Мечты эти не сбылись ни разу. Вокруг Осиевской были другие озера, реки и ручьи, а деревню отделяло от устья Вожеги километров тридцать, и даже если бы я поставил на лодку мотор, это бы ничуть не помогло, потому что до Бекетова река была иссечена порогами и перекатами и моторки по ней не ходили, исключая две недели весеннего половодья. Падчеварские бывали на Воже редко, без своего транспорта туда было не попасть, однако разговоры об озере среди охотников и рыболовов разговаривали, и другой мой деревенский знакомый, колхозный лесник Тюков, к гиперболам и восторгу души не слишком склонный, в минуты частого летнего или зимнего бесклевья на нашей погубленной реке или капризном лесном Чунозере говорил, что зимой рыбалка на Вожеском озере и впрямь интересная, и разводил руками, показывая окуней, которые то и дело рвут прочнейшую леску.

Именно он заронил нам с Шурой, чаще прочих моих друзей бывавших в Падчеварах, отчаянное желание пробраться на вожеский лед зимой. С другой стороны, и хозяин джипа Викторов, охотник и рыболов, равного которому я не знал ни по мастерству, ни по трудолюбию, ни по разнообразию блесен, лесок, мормышек, катушек и прочих снастей, у него имевшихся, про ружья ничего не говорю, ибо в них не смыслю, объездивший без преувеличения всю страну и полмира, увесивший и оставивший свой охотничий домик в ближнем подмосковном имении шкурами зебр, медведей, чучелами кабанов, лосей и гусей и головами дальневосточных таймений, тоже был наслышан от знакомых егерей на Кубенском озере об этом малодоступном водоеме, и так все сплелось, что мы поехали.

Сердце мое забилося, когда остались последние километры до поворота на Наволок. Машина свернула с главной дороги и, ныряя вверх-вниз по падчеварским холмам, так что я не мог разглядеть свой дом, обыкновенно отовсюду видимый, ибо он стоял на самом высокоом во всей округе месте, совершала последние километры пути. Ни она, ни водитель ее не выглядели уставшими. Наконец после изгиба реки, где дорога разветвлялась — направо она уходила через новый мост в центральную усадьбу колхоза «Вперед», деревню Сурковскую, а налево поднималась в гору к восточной окраине Падчевар — Осиевской и Кубинской — прямо в конце зимника, как если бы он вел к дому и не сворачивал, а шел через поле, появилась изба.

Издаലെка казалось, что за три года с ней ничего не случилось. Так же одиноко, беззащитно и бесприютно посреди полей под сенью трех высоких осин и березы, полвека назад в одиночку построенный деревенским солдатом Анастасием Анастасьевичем, дом стоял от деревни метрах в двухстах, охраняя мое житье от любопытного взора. Однако этого расстояния было вполне достаточно, чтобы зимой к избе было не подъехать и без лыж не подойти. Я честно предупреждал об этом своих товарищей и предлагал оставить автомобиль в деревне, а дальше всем вместе делать тропу, но Викторов на это деликатное предложение даже обиделся: не для того он такую машину купил, чтобы пасовать перед сугробами.

Мы неслышно въехали в притихшую, занесенную снегом деревеньку, которая выглядела зимой пустынно, умиротворенно и трогательно, словно почти не осталось в ней жителей, а те, кто есть, впали в спячку. Джип проехал по главной улице, свернул на боковую и двинулся дальше по тракторной колее через небольшое поле, за которым стоял дом. В чистейшем рылом снегу трехтонный японский «крейсер земель» застрял метров через двадцать — некоторое время он волок перед собой кучу снега, а потом беспомощно зарылся капотом и встал. Снег достигал середины дверей. Коренастый, широкоплечий и малость кривоногий, как азиатский наездник, Виктор вылез сконфуженный, а Витальич, четвертый кандидат в вожеские рыболовы, первый раз в жизни готовившийся выйти на лед и горевший желанием изловить свою первую рыбку, огромный рыжеволосый человек, которого с университетских лет мы привыкли называть по отчеству не оттого, что он был нас старше, а за великий рост, доброту и рассудительность, покашливая, заметил, что Викторова предупреждал, но разве ж он кого слушает? — и мы с Шурой отправились за трактором к бригадиру Самутину.

К тому времени, когда Самутин подъехал на тракторе к месту пленения «тойоты», водитель наш уже достал довольно широкую и плотную зеленую ленту и стал деловито подсоединять «лендкрузер» к «Беларуси».

По растерянными глазами падчеварского тракториста, бывшего последней надеждой для нескольких десятков деревенских старух, которым привозил он дрова, корма, баллоны с газом, чинил лавы, заборы и городил огороды, по передернувшемуся темному лицу его было видно, что дядя Юра чего-то не понял — подумал, наверное, что либо он слегка перебрал и взгляд у него не фокусируется, либо городские совсем спятили, потом посмотрел на Викторова, как на младенца, и промычал насчет стального троса.

— Это специальный сверхпрочный материал, — пояснил автомобилист уважительно. — Ты потихонечку, остороженько, чуть-чуть дерни ее, а дальше она пойдет сама.

— Да зачем так? — удивился Самутин. — Я тебя на дорогу вытащу, и езжай куда надо.

— Э-э, на дорогу не надо, — одновременно обеспокоенно и ласково возразил Виктор; густые усы его подрагивали. — У нее коробка автоматическая, ее буксировать нельзя.

Самутин сел в «Беларусь», дернул рычаги и подался вперед, одновременно с ним нажал на газ и включил заднюю передачу Виктор. Однако джип даже не тронулся с места, а японский супертрос, как прелая клинковая лесочка диаметром 0,2 миллиметра, на которую попался вожделенный килограммовый окунь с озера Воже, лопнул.

Из спящих домов вылезло человек пять. Они на все лады обсуждали машину, Самутину, снега, тросы, разбойных окуней, давали советы, и я уныло и трусливо подумал о том, что завтра о нас будет говорить вся дальнорская округа — она бы и так говорила, но теперь моя репутация человека тихого и незаметного, давно уже своими заботами никого не обременяющего и неинтересного, безвозвратно погублена.

Меж тем бригадир, ни на кого не глядя, ласково матерясь, привязал гремящую цепь — трактор уперся и без особого труда выволок сразу потерявшую свой праздничный и высокомерный вид иномарку на дорогу. Затем он позвал другого колхозного тракториста, Валю Цыганова, и вдвоем они расчистили дорогу до Анастасьева хуторка.

Только теперь, оказавшись возле дома, мы увидели, как пострадала за три года моего отсутствия изба. Мало того, что в нее, как всегда, залезли и разбросали по комнате вещи и посуду. Были оборваны снаружи провода, дом еще больше покосился, а с крыши над коридором между двором и передком съехало несколько досок, и вся середина оказалась заметена сне-

гом. Я опечалился оттого, что застал дом, о котором столько было рассказов, в упадке, было неловко перед гостями, как если бы я был виноват в том, что нет света, дымит холодная печка и едва-едва нагревает квартиру. Однако очень скоро начался дружеский ужин при свете газовой лампы, которую захватил запасливый Викторов, чувство моей вины сначала ослабло, а некоторое время спустя и вовсе исчезло, и изба с ее гладкими янтарными стенами и прямоугольниками окон с занавесками в красный горошек опять предстала в своем волшебном виде.

Напрасно убеждал нас серьезный и настроенный на рыбалку предводитель, что надо пораньше лечь спать, пораньше встать и ехать на озеро, зря звал алкоголиками, — сдвинув плечи, мы сидели вокруг стола, бросали в печь все новые дрова, так что температура в щелястом и не приспособленном для зимней жизни передке мало-помалу поднялась до пяти градусов по Цельсию; мы грелись изнутри, выходили на двор, отворяли ворота, глядели на белеющие в черноте поля, мерцающие звезды и огни дальних деревень; потом и этого показалось нам мало, и мы развели на снегу костер; мы курили, вспоминали, как вдвоем с Витальичем выцепляли двор и никто в деревне не верил, что двое дачников смогут такое дело осилить.

Я соскучился по своему дому, который казался мне уже ушедшим в прошлое и несуществовавшим, и не мог представить, как совсем молоденьким его долго искал, одиноко плыл по пустынной и стремительной, полноводной лесной реке мимо цветущей и остро пахнувшей черемухи, потом наткнулся на деревню и увидел в поле заброшенный пятистенок, как ездил избу покупать, как привез сюда жену и показал ей это богатство. Я был снова влюблен в каждое бревнышко, старенькие корзины, мучные лари и деревянные самодельные вилы, бродил по нему и не хотел идти спать, глядел на деревню, и хотя с тех пор повидал много удивительных мест, северный край показался в тот час моему сентиментальному, опьяневшему сердцу еще более красивым.

Мужики меня понимали, и как ни торопил нас вожатый, и сам разделявший восторг помолодевших, взволнованных душ, отправились спать мы далеко за полночь и утреннюю зарю проспали. Двинулись в одиннадцатом часу, потом не иначе как от вчерашнего умопомрачения в одном месте я потерял ориентиры, и вместо того, чтобы ехать через Бекетово, мы понеслись по неверной дороге в Липник, там развернулись и покатали назад, так что на водоеме оказались около полудня.

Летом никакие дороги к Вожескому озеру не ведут, со всех сторон оно окружено болотами, и добраться до него можно только по воде; зимой же реки превращаются в дороги, и на озеро едут не только со всей Вологодской области, но и из сопредельных краев вплоть до Северодвинска. На самом озере ни одной деревни, кроме древнего и некогда очень большого села Чаронды, нету, но Чаронда находится на противоположном, кирилловском, берегу. Она давно опустела, и там не осталось никого, кроме нескольких старух, которым раз в год завозят муку, макароны, чай да соль, и они сами себе пекут хлеб, поют песни и рассказывают сказки, зато в нашей восточной части озера есть рыбацкие избы.

С того единственного раза, когда я на озере побывал тринадцатью годами раньше, в памяти моей остались десятка полтора небольших домов, сети и моторные лодки возле причала, но теперь, повторив все изгибы русла Вожеги и выехав наконец в ее широкое устье, мы увидели даже не деревню, а целый городок. Наверное, больше сотни домов от совсем маленьких сарайчиков до изб-пятистенков стояли на высоком правом берегу реки, наползая друг на друга, и можно было представить, сколько собирается здесь в выходные дни, а особенно летом, народу и какой стоит шум. Однако, по счастью, в этот будний день людей было не слишком много, и

большая часть домов была заколочена. Лишь двое мужиков курили на берегу и с любопытством глядели на притормозившую «тойоту».

Накатанная дорога в этом месте кончалась, и дальше через озеро уходила колея. Дул холодный ветер, и громадное снежное поле лежало перед нами. На севере и юге оно сливалось с небом, на противоположном берегу виднелась колокольня в Чаронде и довольно большой высился посреди снегов черной полосой остров Спас, на котором прежде тоже была деревушка с церковью, и в датированном пятьдесят седьмым годом отчете туристической группы в турклубе на Большой Коммунистической улице в Москве, где я и узнал про существование этого дикого озера, сохранилась фотография рыболовецкой артели со Спаса: семеро бородатых босоногих мужиков тянули полный рыбы невод.

— Тяжелая у вас, ребята, машина, — сомнительно сказал подошедший к нам дедок.

— У нее мощность знаешь какая, — возразил Виктор, но легкая, как поэмка, неуверенность просквозила и тотчас же улеглась в командирском голосе.

— Ох, тяжелая, — повторил дедок.

На самодельном невесомом шарабане, состоящем из двух камер от «Беларуси» и мотоциклетного мотора, легко и быстро старичок-ледовичок покатил по заснеженному полю к трещине — так называли нагромождение торосов километрах в трех-четыре от устья, где велась основная рыбалка и куда мы тоже собирались попасть.

Виктор с Витальичем надели на колеса цепи, и мы двинулись по занесенной снегом колее. Первые метров пятьсот машина шла уверенно, потом начала пробуксовывать, нехорошее предчувствие сжало наши сердца, но прежде чем мы успели в нем разобраться, в том месте, где колея не то раздваивалась, не то сбивалась и ее пересекала другая, джип встал.

Водитель несколько раз дернул его сначала вперед, потом назад, цепи глубже проели снег, машина села на днище, и освободившиеся могучие колеса завращались на мощных осях.

Мы вылезли наружу. Вокруг было то, что поэтически называется не то ледяным, не то белым безмолвием; посреди этого открытого пространства как-то странно ощущались не только размеры заветного озера, но и величие всей страны, где оно находилось, а кроме того, по-видимому, только русскому человеку понятная и присущая вопреки собственным сиюминутным интересам гордость за поглотившие японскую игрушечную машинку вологодские снега.

— Вот теперь понимаешь, как застрял в России Наполеон, — произнес склонный к историческим раздумьям Витальич. — Ну что, мужики, будем пробовать?

Обыкновенно застрявшую машину пытаются толкать. Особенно хорошо это получается враскачку — но как можно было сдвинуть эту махину, да к тому же с хорошего похмелья?

«Тойота» сидела безнадежно, и казалось, теперь ее не вытащит никакой трактор, да и откуда было здесь трактору взяться? В сущности, самое разумное было отправиться рыбачить, а «лендкрузер» как не оправдавший своего предназначения и названия бросить и дать ему спокойно в мае, когда сойдет лед, погрузиться в ил и вчинить иск знаменитой компании за обман потребителя, однако вместо этого мы начали операцию по спасению самурайского крейсера.

В комплекте автомобиля помимо нарядного шелкового тросика имелась небольшая туристическая лопатка, которая сломалась примерно через полчаса энергичной работы сменявших друг друга и враз опохмеленных мужиков. Машина редела, но не думала трогаться с места; мы навалились на нее — она все глубже продирала цепями рыхлый снег, пока наконец не

уперлась в лед. Теперь она сидела в плену так прочно, что выдернуть ее можно было только подъемным краном или вертолетом.

Помрачневший и не склонный к шуточкам Викторов отправил нас с Шурой на берег за ветками, а они с Витальичем продолжали руками копать под днищем. Издалека наши друзья выглядели очень трогательно в своем усилии, как если бы два муравья, большой рыжий и поменьше черный, умертвили, а потом попытались притащить в муравейник гигантского навозного жука.

Принесенные ветки «тойота» размазала по снегу, но какие-то неуловимые признаки в ее поведении заставляли предполагать, что мы на верном пути. Мы толкали ее втроем враскачку изо всех сил, был самый разгар дня, никто не проходил ни в ту, ни в другую сторону, и только видны были точки рыбаков возле вздыбленного тороса. Там клевало...

— Мужики, — произнес Викторов густым голосом, когда очередная попытка провалилась, — давайте так. Вы идите рыбачить, а я тут повожусь сам.

Ему даже никто не стал отвечать — настолько нелепо звучали его слова. Мы устраивали перекуры, по очереди отгребали снег, потом сходили в рыбацкую избу за лопатой, нарезали новых веток с прибрежных кустов и побросали их под колеса, сломали и эту лопату, а машина по-прежнему не сдавалась. Она была ужасно мощная и стыдилась своей беспомощности, казались ненужными все ее цилиндры, лошадиные силы, плавные автоматические двери, воздушные подушки, гигантская панель управления, кондиционер, мы подтрунивали над ней, погоняли матерными криками, хохотом, беспечностью, веселостью и остроумием.

И наконец — о чудо! — джип вздрогнул, получил небольшое ускорение, взобрался на кручу и, не веря себе, проехал вперед несколько метров. Однако его было мало вытащить, машину надо было развернуть, потому что самое опасное для нее оказалось съезжать и заезжать на колею; еще несколько раз она садилась, снова матюги, и, уразумев некоторые тонкости в искусстве джипования, мы ее выпихивали, и когда наконец автомобиль стоял в нужном месте и нужном направлении и можно было отправиться рыбачить, на озеро спустились тихие сумерки весеннего равноденствия.

Солнце садилось прямо за Чаронду, за высокую церковь, подсвечивая береговую линию, лес и избушки на берегу. Джип и четыре фигуры подле него отбрасывали четкие тени; поднялась мелкая поземка, и вспотевшие тела спасателей озябли, но что-то умиротворенное чувствовалось в этом вечере. Мимо нас тянулись рыбаки. Согнувшись, на лыжах или пешком они натужно волокли за собой, как собственные тени, доверху набитые рыбой сани; так идут, возвращаясь с поля после трудового дня, выполнив долг, крестьяне. Никто не обращал на нас внимания, как если бы застревающие в снегах джипы и суетящиеся вокруг столичные пижоны в пуховых куртках были здесь делом привычным и надоедливым.

На обратном пути мы застряли в последний раз уже на самой колее, и когда через два часа, измотанные, почти в совершенной тьме, выехали к реке, Шура, который лучше всех знал владельца джипа, ибо прожил с ним пять лет в крестообразном общежитии университета на проспекте Вернадского, шепотом сказал мне, что если завтра Викторов вздумает снова ехать на машине по озеру, то он выйдет возле рыбацких домиков и дальнейшей ответственности за эту авантюру нести не будет.

Я не отнесся к Шуриным словам серьезно. После сегодняшнего дня только полный идиот мог снова лезть на джипе в озеро, а владельца процветающей фирмы идиотом назвать было никак невозможно. Но едва мы отъехали от озера и на проторенной колее машина пошла уверенно, обрел свою обычную самоуверенность и автомобилист. Троим не смевающим от ужаса слова вымолвить пассажирам стал он объяснять, что проанализировал ситуацию и понял свои ошибки: цепи надо снять, они только мешают,

потому что с ними машина быстрее проваливается и зарывается, ехать же надо не останавливаясь и не меняя колею, а еще надо взять две лопаты, доски, и никаких проблем с автомобилем не будет.

Шура сомнительно покачал головой, и тогда Викторов неожиданно рассвирепел и, оторвавшись от руля, так что машине грозило улететь в кювет, стал говорить, что, может быть, для нас важнее всего надраться и он не понимает, зачем для этого надо было ехать за тридевять земель, но его задача — проверить в деле джип, а если машина застрянет, хотя практически теперь это исключено, он и один ее откопает. Нам осталось только хорошенько посидеть вечером в протопленной и теплой избе, за полночь лечь спать и набраться сил перед новым трудовым днем.

Без цепей машина застряла иначе, чем с цепями. Теперь по прошествии времени (а с тем же Викторовым мне доводилось вытаскивать год спустя на Кубенском озере из снежной ямы и снегоход «Буран», и прицепленные к нему здоровенные сани, и переделанную под рыбацкие нужды карету «скорой помощи», хотя с «тойотой-лендкрузером» ни в какое сравнение это нейдет) я затрудняюсь сказать, какое из вожеских застреваний было лучше и в который раз мы застряли скорее. По-моему, это произошло примерно на одинаковом расстоянии от дороги, но психологически второе оказалось все-таки более тягостным.

С одной стороны, теперь мы знали, что четырьмя мужиками джип, в принципе, вытаскиваем и его освобождение из снежного плена лишь вопрос времени и труда, с другой — ну, первый день ладно, туда-сюда, ребята поразвлекались, а на второй хотелось порыбачить, и когда машина встала, не было больше шуточек, началась суровая, скупая на слова мужицкая работа.

Несмотря на полный абсурд происходящего, мы не унизились до ругани и обвинений, мы ведь были настоящими друзьями, пусть один ездил на джипе, другой на «вольво» двадцатилетней давности, третий на «Жигулях», а четвертый на велосипеде. Но часа через два беспрестанных трудов, глядя на скрючившегося под колесами небритого олигарха, Шура вдруг принялся рассуждать о природе русского успеха и, отирая пот, отряхиваясь от снега, сказал нам с Витальичем, что здесь, на этом льду, он понял одну вещь, и, может быть, ради этой вещи и стоило ехать, — а именно, что никогда ни он, ни Витальич, ни я не смогли бы стать владельцами фирмы, джипа и загородного дома и добиться успеха, а вот Викторов смог. И не потому, что он фантастически трудоспособен и упорен, а потому, что успех приходит лишь к тем, кто действует против всяческих правил. Когда прут вопреки очевидному, когда абсолютно ясно, что делать таким образом нельзя, а они делают, тогда, и только тогда, добиваются в этой стране результата.

Мы с Витальичем как люди исконно столичные и, следовательно, менее амбициозные отнеслись к этим словам как к очередному проявлению Шуриного остроумия, патриотичный Витальич лишь кротко возразил против словосочетания «эта страна», однако Александр, пять лет проживший с Викторовым в общаге и даже носивший одну с ним обувь (у обоих иногородцев был одинаковый размер, но саратовец стачивал левый ботинок, а норильчанин правый, и через год они обыкновенно менялись), по-видимому, не шутил.

Викторов занимался бизнесом так, как иные пишут стихи, романы или даже — страшно вымолвить — критические статьи. Он искренне свое дело любил, по-рыцарски ему служил и уверял нас, что по большому счету его преуспевающие знакомые такие же люди, как и мы, упрекал в обывательском высокомерии и приводил немало примеров замечательной человечности своих новых друзей. И хотя мы не вполне были свободны от сомнений, гораздо радостнее было сознавать, что романтичный товарищ наш

одинаково верен дружбе и со спивающимся приятелем молодости, и с директором московской гостиничной сети. А вот о затененных сторонах своих лирических негодий коммерсант никогда не рассказывал, и по внезапной жесткости его лица и резкости слов можно было только догадываться, чего ему стоило подняться и, теснимому со всех сторон, удерживать свой плацдарм.

...А все-таки с цепями было лучше. Или снег вчера был не такой рыхлый. И потом, совершенно никуда негодились гладкие доски, прихваченные нами из дома, по которым скользили колеса. Мы снова отправились на берег за ветками. Шура посерел лицом, будто работал не на свежем воздухе, а в задымленном цехе. Витальич, на которого благодаря его стати падала основная нагрузка, держался за спину, да и я уже не верил, что этот кошмар когда-нибудь кончится. И только Викторов не терял духа, был деятелен и бодр, продолжал откидывать снег. Я глядел на эту картину словно со стороны, хотелось стряхнуть наваждение, и, как бывает в минуты сильной усталости, казалось, что все это в моей жизни уже было: рыхлый снег, черная линия леса, небо, поземка, тяжелое дыхание — это и есть жизнь, а остальное — лишь приложение к ней. Трудно было представить, что однажды все закончится и я окажусь в тепле, уюте, покое, и тут мне вспомнилось, как много лет назад в одном из наших первых походов после целого дня проливного дождя, когда мы промокли до трусов и не осталось сухой одежды в неправильно уложенных рюкзаках и мы малодушно объявили молчаливую забастовку, забившись под пленку и достав бутылку водки, Викторов в одиночку разбил лагерь, установил тент, разжег огромный костер, сварил макароны, вскипятил чай и ни словом, ни жестом ни тогда, ни позднее нас не попрекнул...

Мимо проехали два «уазика», и, глядя на то, как легко скачут отечественные «козлы» по родным снегам, Витальич молвил:

— Вот это, я понимаю, машина.

В его голосе не было ничего, кроме ровной констатации факта, но владелец «тойоты» смурнел час от часу, и я чувствовал, что он готовит нам новый рабочий день.

Порыбачить мы опять не смогли. Правда, в тот день мы закончили джиповать засветло, и на обратном пути у нас осталось полчаса, чтобы зайти в рыбацкую деревню и купить там рыбы. Поселение выглядело довольно странно, это было в чистом виде мужское царство — этакий андрогинный рай. Поскольку дрова в нем были дефицитом, мужики набивались по несколько человек в чью-нибудь избу, куда с улицы заходили, как в дымовую завесу, напивались водки и так коротали долгие ночи, чтобы наутро отправиться на ледовую работу. Многие из них жили в Вожеге — пристанционном поселке, месте сумрачном и угрюмом, но здесь легче было прокормиться: промышляли круглый год рыбой, а осенью клюквой и грибами, помогали строить новые дома и тихо пережидали затянувшуюся реформенную непогоду.

Мы купили у них несколько свежих судаков, пожарили, сварили умопомрачительную уху, но в тот день сломался перевепечатлявшийся Шура, и мы сидели вдвоем с Витальичем. Иногда Викторов отрывал голову от подушки и пытался загнать нас спать, однако мы никуда не шли и гадали, сколько часов продлится завтрашняя джиповка, в коей мы не сомневались, хотя в этот раз Викторов неуверенно дал слово, что на лед больше не сунется; водка нас уже не брала, и я предательски помышлял о том, чтобы никуда не ездить, а остаться дома, посидеть с удочкой на речке, где иногда ловились мелкие и окушок, и ершик, а несколько раз нам даже удавалось вытащить на зимние жерлицы-дурилки налима или же истопить баньку, которую специально под гренадерский витальичевский рост спроектировал и срубил дед Вася.

Однообразие и схожесть дней стали угнетать, и душа просила выходного, но когда в кромешной тьме меня разбудил истошный вопль и стук — Александр вышел по малой нужде на улицу, и за ним захлопнулась дверь, — то понял, что никуда от друзей своих мне не деться и быть единственным в компании не удастся.

Когда на завтра мы подъехали к озеру, в устье реки стояло несколько «Жигулей», «Москвичей» и «Запорожцев». Была суббота, на озеро прибывал народ, но, похоже, ехать по снегу решался лишь на «уазиках». Именно эти жалкие «Жигули» и «Москвичи» хозяина джипа и подкосили: представить, что его нарядная, могучая машина будет позорно стоять в одном ряду с отечественными консервными банками, Викторов не мог.

Он замешкался, завозился со снастями и пробормотал:

— Вы, мужики, идите, а я следом.

Не задавая лишних вопросов, смиренные, тихие и пешие, не оглядываясь назад, мы побрели к торосу. Идти по снегу было не слишком легко, ноги проваливались, в лицо дул ветер, но душу грела слабая надежда, что уж сегодня мы будем вознаграждены за два дня кромешных страданий.

Минут через десять мы услышали за спиной странный звук.

— Не оборачивайтесь!

Но это уже не имело значения. Мимо нас на громадной скорости, рыча, мчался викторовский джип. Мы даже не замахали руками, а проводили его глазами спокойно и отстраненно, готовые в любую минуту прийти на помощь, но на этот раз водитель выбрал новую тактику. Он шел не по колее, а по целине на максимальной скорости, едва касаясь колесами снежной поверхности, как судно на воздушной подушке. Сбавь он скорость хоть на мгновение, тотчас же рухнул бы в снега, и теперь уже навсегда, — но благодаря мощному двигателю японская машина перла через озеро, как русский предприниматель. Не хватало только видеокамеры чтобы ее движение заснять и продать фирме в качестве рекламного ролика всепобеждающей восточной техники. Джип уменьшался в размерах, уже не было слышно звука мотора и нельзя было понять, застрял он или добрался до тороса, а если добрался, то как станет там разворачиваться и где набирать скорость для обратного пути.

Черные точки впереди, казалось, застыли и не приближались, как если бы мы топтались на одном месте, не в силах преодолеть вращение Земли. Несколько раз посреди целинного снега попадались хорошо знакомые столичным пешеходам громадные ямы, устланные ветками смятого ивняка, будто в них ночевал и ворочался во сне оттаявший мамонтенок, и снова тянулся без конца и края ровный снег.

Потом куча рыбаков стремительно приблизилась, мы стали различать отдельные фигуры, а когда подошли к торосу, возле которого, как на выставке, на истоптанной сотнями пар ног площадке, даже не погрузившись в плотный снег, стоял готовый к новым победам самодовольный джип, то по чуть-чуть озабоченному викторовскому лицу угадали, что что-то было не так. Причем это «не так» относилось отнюдь не к джипу, но к самой атмосфере и в особенности к рыбакам: нечто легкомысленное и слишком беспечное почудилось нам в их поведении. Мужики не сидели над лунками, не было характерных движений рук, судорожно вытаскивающих леску, люди слонялись, выпивали, трепались, бесцеремонно разглядывали машину, и только один человек на льду, сурового вида, с обветренным лицом, одетый в яркий пуховик, как подстреленная птица, перелетал от дырки к дырке, хватался за ледобур и яростно делал новые лунки. В первый момент мы не поняли, а потом поглядели на пустой лед — и до нас дошло: сегодня нет клева.

Наверное, на волшебном вожеском озере такое бывало нечасто, может быть, нам фантастически не повезло, и оставалось только представлять

здоровенных колючих красивых окуней, которые должны были рвать леску, вылезать из лунки и биться на льду, но сторожки молчали. Викторов дырявил все новые отверстия, и длины бура едва хватало, чтобы пробурить толщу льда; он менял цвета и размеры мормышек, нацеплял то мотыля, то опарыша, однажды ему удалось вытащить подряд двух ершиков, он блеснил, бросал в лунки ароматные присыпки, кормового мотыля и говорил, что сейчас вот-вот пойдет клев, главное — не унывать, и мне опять вспоминался дождливый вечер, когда мы сидели под пленкой и так же безучастно на него глядели...

А рыбаки меж тем лениво толковали про перемену погоды и собирались домой, советовали нам приехать в начале мая, когда лед на озере подымается, отрывается от берега и нужно на лодке к нему подплывать, а дальше идти пешком к трещине, и вот тогда-то и бывает самый сумасшедший клев, и каждый из нас с ужасом думал, что в этом случае джип не застрянет в снегу, а уйдет на дно и нам придется доставать его оттуда.

Витальич, которому так и не суждено было поймать на льду свою первую рыбку, достал бутылку, мы разложили закуску, выпили, стало нам тепло и хорошо. Благодушно мы смотрели и пригласили выпить Викторова, который уверял, что на льду никогда не пьет, и, не желая сдаваться, продолжал бегать от лунки к лунке, что приносило ему успех на всех ледовых полях страны, и он облавливал нас с Шурой так же легко и быстро, как обогнал всех конкурентов в предпринимательских делах, и только на озере Воже подкосила его неудача. Потом и он махнул рукой и сел рядом с нами:

— Разливайте!

На обратном пути, загрузившись всем скопом в машину без сучка и задоринки, мы, с гиканьем пронесясь по снежному полю, купили в мужицкой деревне судаков и уехали, так и не поймав ни одной стоящей рыбы, но зато подарив рыбакам превосходного крупного мотыля с московского Птичьего рынка и оставив о себе память странную и темную — кто были эти люди и зачем сюда приезжали?

Ночью погода переменялась. Задул восточный ветер, испортивший нам единственный день рыбалки, Шура принялся топить печь, но с равным успехом можно было бы развести костер на улице, тепло из передка выдувало, мы промерзли насквозь и утром, побросав неубранный дом с невымытой посудой, отступили из деревни, как наполеоновские французы. Викторов боялся, что вечером под Москвой может быть пробка, торопил нас, в суматохе я не мог отыскать ключ и закрыть дом, и мне казалось, что больше я в него не вернусь. Но уже на подъезде к Харовску градусник за окном машины полез вверх, в Вологде текли ручьи, была весна, за три дня, что мы отсутствовали, еще больше почернели и осели поля, прибавилось гомонящих птиц, все было снова хорошо, мы обгоняли всех, кто был на дороге, повеселевший Викторов обещал Шуре помочь с работой, подарил нам на память по зимней удочке с вольфрамовыми мормышками, и я даже не расстроился, когда оказалось, что мой рюкзак с картошкой и грибами забыли в избе, и теперь ему предстояло дожидаться весны и тихо гнить со всем содержимым на лавке.

ЛЕТНИЕ НОЧИ В ПАДЧЕВАРАХ

— Эй, мужики, это вы в марте на джипе приезжали?

На самом краю деревни на плоской крыше сарая совсем на городской манер жарилась под горячим июньским солнцем незнакомая компания: несколько молодых парней, девицы в купальниках, блестели бутылки, орал всюду магнитофон, и лишь сумрачная полная тетка средних лет, в темном платке, молчаливо и не обращая на молодежь внимания, ходила с

ведром по огороду и скрашивала эту немислимую картину, хотя бы чуть-чуть придавая ей нормальный деревенский вид.

Главный среди отдыхающих, здоровый, коротко постриженный качок в узкой майке, недоверчиво поглядывал на меня и двоих Тихомировых.

— Я думаю, мы с вами найдем общий язык, — сказал он наконец значительно, но не вполне уверенно. — Залезайте к нам, мужики.

— В другой раз как-нибудь.

Качок недовольно засопел — не привык, чтобы ему отказывали.

— Давай, давай залезайте.

Но мы уже двинулись. В спину нам засвистели, заулюлюкали, а потом стали посылать безобразные ругательства.

— Это кто такие? — изумились Тихомировы, которые никакого отношения к джипу не имели.

— Да шут их знает.

Я их и в самом деле почти не знал. Аккуратная, обшитая и покрашенная голубой краской, покрытая шифером теплая зимовочка, которую облюбовала нехорошая компания, была ближайшей к моему дому, если не считать низенького дома старухи Першихи. Они так и стояли рядом — окруженный кустами черной смородины старый передок с разобранным на дрова двором и голубая, какая-то на вид совсем не северная легкомысленная избенка. Когда я купил свой хутор, а зимовка еще пустовала, после того как из нее съехал наш зимний спаситель бригадир Самутин — для его большого семейства она оказалась слишком мала, — одинокая Першиха очень сокрушалась, что я не поселился в этом ладном домике, тремя оконцами смотревшем на тихую зеленую улицу.

— И тебе, и мне спокойнее было бы, — приговаривала старуха всякий раз, когда я шел мимо, и она нарочно выходила мне навстречу. — Дому дак догляд нужен.

Я вежливо кивал, но уединенный, защищенный от любопытного взора, просторный, хотя и не такой обустроенный, настоящий вологодский хутор с видом на долину реки и окрестные леса был моему восторженному и глупому сердцу милее, нежели маленькая зимовка. Да и все равно эту избушку мне никто бы и не продал. Председатель колхоза берег ее для своих, и в конце концов в зимовке поселился его знакомый вожегодский мужик, приехавший сюда на охоту и изредка привозивший охотников чуть ли не из самой Москвы. Были ли они его друзьями или же он занимался своеобразным бизнесом, я не знал, но новый хозяин вскоре умер, и теперь в деревню как к себе на дачу стал ездить на «уазике» его сын и возить своих друзей.

Кажется, они тоже охотились, что-то рассказывал мне про них лесник Тюков, упоминала Першиха, но я на новых соседей внимания не обращал, и им до меня дела не было. И вот на тебе... Не одни коситься станут, так другие в друзья набиваться. И чем больше я над этим размышлял, тем сильнее мне делалось не по себе: что, если вся эта шепутная команда закатится ко мне в гости? С какими намерениями, что у них на уме и как стану я объяснять свою незаслуженную причастность к «лендкрузеру»? Вот уж точно: не в свои сани не садись. А на моих выселках кричи не кричи — ни до кого не докричишься. С какой же симпатией вспоминал я деликатную деревенскую молодяжку, изредка среди ночи, а то и под утро стучавшуюся ко мне за бутылкой водки и никогда ничем не угрожавшую. Зачем я отказывал и на них сердился? Но кто бы мог подумать, что Богом забытые Падчевары станут местом отдыха вожегодской богемы?

А погода была и впрямь дачная. Середина июня, солнечно, тепло, белые ночи — даже трудно поверить, что всего два месяца назад снега было выше человеческого роста, в нем застревали мощные машины, невозможно было согреться в избе и все вокруг было белым-бело...

Переход от зимы к весне, таяние снегов, ледоход, прибавление светового дня были, пожалуй, единственным, чего я в деревне еще не видел. А вот к концу весны, покончив с экзаменами в университете, всегда старался поспеть и наступление лета очень любил. Оно приходило стремительно, на глазах, за несколько даже не дней, а часов деревья покрывались листвою, будто старались наверстать потерянное время. Желтым, голубым, фиолетовым цвели луговые цветы, дни и ночи напролет пели птицы, и до сумерек летали бабочки.

У магазина стояла невысокая старуха с двумя сумками через плечо и, шурясь на солнышко, приговаривала:

— Ой, беда, овода скоро подымутся.

Дом опять обворовали. Утащили пузатый чайник со свистком и кастрюли, но самое ценное я держал в сеннике — небольшой комнате в верхней части двора, которая запиралась мощным амбарным ключом и за все десять лет моего деревенского житья еще ни разу не сдалась вору. Ее пытались взломать топором, лазили проволокой в замок, долбили стамеской, но все было тщетно — и дверь, и засов были сделаны на совесть.

С большого и невидимого озера дул сильный и теплый ветер, мы сидели в высокой светлой горнице, глядели по сторонам, и было так хорошо от молодого разнотравья и разноцветья. Вместе с Тихомировым я вытащил на улицу к колодцу оставшуюся после зимы грязную посуду и сгнившую картошку, мы прибралась в доме, распахнули настужь окна, передок отогрелся, проветривался, наполнялся запахами летней земли, комары уже поднялись, но были еще не слишком наглыми и в избу не лезли. Света по-прежнему не было — теперь его отсутствие почти не ощущалось: на двух керосиновых плитках можно было прекрасно приготовить обед, еще у нас имелся примус, и я почувствовал себя опять вернувшимся во времена, когда только стал счастливым домовладельцем и на керосинке или в русской печи готовил себе еду.

На деревенской свалке зоркий Тихомиров отыскал самовар, мы почистили его и на улице кипятили воду, жили неторопливо и тихо, беседуя про разные интересные места, в которых побывал в командировках Николай Иванович, и в том числе про Вьетнам, где мой гость познакомился и подружился с большим Витальичем, а через него и со всеми нами. И нет-нет да и поглядывал я в окошко на нехороший дом — но, слава Богу, слышал только доносившуюся оттуда музыку...

Как знать, если б не Тихомиров, я бы совсем пал духом оттого, что мое мирное и возлюбленное деревенское бытие могло в любой момент разрушиться, однако с Николаем Ивановичем было не так страшно. Он превосходил меня и моих университетских друзей по возрасту на пятнадцать лет, но по уму и жизненному опыту — на целое столетие. Витальич рассказывал, что бывалый инженер-связист спасал его от круглосуточной жары и духоты во время безумного ханойского лета, и мы ему во всем доверяли. Мне казалось, он знает и умеет все на свете, рядом с ним было не стыдно обнаружить свое неумение и незнание, и я очень жалел, что так поздно он до моего имения добрался, и мне не удалось познакомить его с дедом Васей, и не узнали друг друга рассудительные, мастеровитые, неторопливые и в этой своей цельности такие редкие русские люди. Его жена Людмила, любившая мужа какой-то суеверной любовью, повсюду его сопровождала, могла часами сидеть рядом, когда он рыбачил или что-то делал, сплавлялась с ним на катамаране по порожистым речкам, мокла под карельскими и уральскими дождями, тащила с рюкзаком через болота, ночевала в лесу, укладывала и берегла его сон, никогда ни за что не корила, и представить эту уже на наших глазах соединившуюся пару отдельно было невозможно — может быть, поэтому на чисто мужские зимние рыбалки они не ездили.

Худо ли, бедно, но мы залатали с Николаем Ивановичем протекавшую над коридором крышу, починили перила в коридоре и сделали небольшое крылечко перед дверью, чтобы не нужно было высоко задирать ногу, когда переступаешь из коридора порог квартиры. Собрались было даже смастерить из ненужного мучного ларя новый топчан для приема гостей, но без гвоздодера разобрать прочное сооружение, построенное много лет назад солдатом Анастасием, не смогли. Ломать ларь было жалко — только мне он был без нужды, а отдать его тюковской матери, как она просила, не получалось, потому что ларь, видно, собирал солдат прямо в коридоре, и вытащить его через небольшую дверь на улицу было невозможно.

В разговорах и неспешных делах, в воспоминаниях и молчании проходили наши долгие дни. Вечерами мы рыбачили на металлической лодке со смешным фабричным названием «Романтика», которую я привез в свое второе падчеварское лето из Москвы, и теперь рассказывал Тихомировым, как в годы жутчайшего дефицита покупал ее по объявлению у какой-то запальчивой тетки из московского микрорайона Ясенево, и та не сильно заламывала цену, потому что лодка была мужнина, а она собиралась разводиться и торопилась продать все, что можно, до раздела имущества. Я вспоминал, как помог мне Виктор, тогда еще не на джипе, а на тещинных «Жигулях», привезти складную лодку на Ярославский вокзал и погрузить в багажный вагон и как потом, молодые и счастливые, мы сплавлялись на этом почти что краденом корабле с подсевшим ко мне в Вологде худощавым о ту пору Витальичем по шумливой речке Вожеге от Тигина до Падчевар, и я не подозревал, что рано или поздно отольются мне чужие слезки.

Лодка шла быстро, не боясь ни перекатов, ни камней, слушалась весел и обладала всего двумя недостатками: во время рыбалки стоило случайно задеть удочкой борт или дно, она гремела на всю реку, и затащить ее на гору к дому было делом нелегким.

Покуда был жив дед Вася, он давал мне здоровенную тачку, и я привозил на ней лодку к его избе с резными окошками и терраской, стоявшей гораздо ближе к реке, чем мой аскетичный, ничем не украшенный хутор, но после дедовой смерти баба Надя держать «Романтику» в своей усадьбе отказалась:

— Гли-ко ты, батюшко, залезут ко мне из-за твоей лодки и напужат.

Мне пришлось оттащить посудину к своему дому, и с тех пор я ни разу ее на воду не спускал и плавал на резиновой. Однако с годами моя самая первая надувная лодочка, которую купил я еще, будучи студентом, в магазине «Спартак» на Ленинском проспекте и до сих пор помнил тот яркий весенний день, когда расплачивался за нее дворницкими деньгами, на которой проплыл множество речек Русской равнины и Карелии, а однажды пересек с женой безбрежное озеро Воже, которую многожды раз пропарывал, латал и заклеивал, наконец окончательно сгнила от хранения в сыром доме, металлическая же все скучала в нижней части двора вместе со старыми досками, телегой, хомутами и козлами, и зима была ей нипочем. Ее-то мы с Николаем Ивановичем и спустили в это лето на воду — она легко выдерживала троих пассажиров, и, швыряя в разные стороны блесны, мы ухитрялись выловить в вечер по щучке-другой — на большее река не расщедривалась.

Мы ходили на Чуозеро, где клевало по обыкновению вяло, зато нас поедом ела мошка и куковала на другом берегу кукушка, и я бессознательно начинал считать звонкий бой лесных часов, но голос птицы то и дело прерывался, и больше четырех раз подряд она не куковала.

Белые ночи хороши еще и тем, что не заставляют никуда торопиться. Можно прийти домой как угодно поздно и сколько хочешь спать, так что мы рыбачили до полуночи, потом шли в гору к дому, затеивали ужин и сидели в полутемной комнате до рассвета. Соседи нас не беспокоили —

может быть, уехали, а может быть, все про нас поняли и потеряли интерес, и никто не мешал нам благодушествовать, но все-таки что-то неладное было на сердце...

Да и мысли об избе были противоречивыми. Я не то чтобы теперь о покупке дома жалел, я многое здесь увидел и понял, да и, вспоминая себя в свои двадцать семь лет, понимал, что поступить тогда иначе не мог — слишком уж хотелось мне купить эту избу. Но за десять лет что-то переменялось и во мне, и в ней: стали утомлять дорога и опасение, что приедешь однажды к разгромленным стенам с разбитыми окнами, осколками тарелок на полу и поломанной мебелью.

Иногда я подумывал, не купить ли домик поближе к Москве, с более удобным подъездом, в деревне, где достаточно москвичей и я не буду смотреться белой вороной, завести огород, насадить деревьев и кустов, копать осенью элитную картошку и жить, как положено семейному человеку, а не молодому искателю приключений. Однако бросать здешнее, пусть и приходящее в упадок, хозяйство было жаль. Да и продать избу было некому. Недаром двадцать лет ее никто не хотел покупать.

Я глядел нерадивым хозяйским оком на свой потемневший и растрескавшийся пятистенок с перекошенным, осевшим двором и разъехавшейся кровлей и хорошо понимал одну вещь: дом надо либо бросать, либо спасать. Перекрывать крышу, чинить крыльцо, укреплять стены и делать это сейчас, потому что через несколько лет будет уже поздно. Когда-то его купив, я вложил в него столько денег, столько душевных и физических сил, жил неделями поздней осенью и зимой, не ходил ни на рыбалку, ни в лес, ни на болото, нанимал в деревне работников, упрашивал их и кланялся в ножки, угощал водкой, готовил им в печи и на керосинке обеды, возил из Москвы запчасти к их мотоциклам, до полуночи слушал пьяные и нечленораздельные разговоры, но сделать всего, что требовалось, не успел, а теперь не было у меня ни презанного запала, ни времени, ни денег.

Если бы в избу не залезали, наверное, и отнесился бы я к ней иначе. Но так не лежала у меня больше к дому душа, я чувствовал себя здесь незащищенным, и снова, как в первые падчеварские недели, казалось мне, все выталкивает меня отсюда.

Да и после деда Васи и Тюкова близких мужиков в деревне у меня не осталось...

В предыдущем рассказе я ничего не написал о смерти своего друга не друга, даже не знаю, как назвать, а вернее, сказать, кем мне был этот человек, на пятнадцать лет меня старше, с которым мы столько километров исходили по лесам, просидели часов в лодке и на льду, проболтали зимними ночами у русской печи в холодном доме и выпили водки, с кем ссорились и мирились, играли в шахматы или просто курили и молчали.

Тюков сам пришел ко мне знакомиться еще в первую мою падчеварскую осень, когда, по-детски влюбленный в деревенскую усадьбу, я приносил из леса маленькие елочки и сосенки и рассаживал их вокруг дома.

— Посадки одобряю, — сказал невысокий коренастый человек в пиджаке и сапогах, открыто улыбнулся беззубым ртом и протянул руку, — только сосна не приживется.

Я недоуменно воззрился на широкое лицо, на котором отсутствовал нос.

— Лесник я здешний, — пояснил он. — Во-он изба моя в Кубинской, видишь, крыша виднеется. Заходи чай пить.

И снова я удивился, потому что всегда мне представлялось: лесник должен жить в избушке где-нибудь в лесу, а не посреди деревни. Я вообще тогда очень многому удивлялся и радовался, всем живо интересовался, со всеми охотно знакомился и не слушал пересудов деревенских старух, что Сашка Тюков-де страшный пьяница, ему и нос в пьяной драке отрубили и нечего мне с ним дружить.

— Тюкоу, — произносил его фамилию на здешний лад дед Вася.

Что еще я мог сказать о нем кроме того, что сосенки действительно не прижились, зато елочки подросли, а сам он стал героем моего рассказа, а затем и целой повести, из-за которой я теперь немного тревожился: а вдруг она нечаянно попала в Падчевары, ходит по домам и обсуждается своими невыдуманными персонажами. Ведь тот самый первый и давний мой рассказ о своей жизни Тюков случайно прочел и оттого относился ко мне странно: ему и приятно, и неудобно было оттого, что о нем пишут мелкими печатными буквами и читают самые разные люди.

У нас были какие-то неловкие отношения. Я даже не знал, как к нему обращаться, и звал по имени, к здешнему «дядя Саша» так и не привыкнув. А величать его по имени-отчеству или просто по отчеству, как он меня, не мог. Однажды в один из рано наступавших декабрьских вечеров зимнего солнцестояния, когда, промокшие и продрогшие, мы вернулись с Тюковым из леса, где рубили деревья для бани, и в темной кухне уселись перед открытым огнем русской печи, он рассказал мне историю своего рождения, про свою мать, потерявшую на войне мужа, и про молодого деревенского парня с редким именем Адольф, который был его настоящим отцом, но очень долго сына не признавал. Настоящее тюковское отчество звучало для моего уха диковато, а звать иным не поворачивался язык.

Я по-своему и любил и боялся падчеварского сураза, после того как однажды полусуто-полусерьезно он ни с того ни с сего сказал:

— Я ведь, Николаич, и убить тебя могу.

Наверное, просто так не говорят, и, значит, была у него причина, да и вообще порою чувствовалась в его наливавшихся скорым гневом глазах, в странных и даже надменных отношениях с деревенским миром, в какой-то затаенности и уязвленности страшная и непроходимая обида. Никому в голову в деревне не приходило и не пришло бы звать его словом, каким звали в прежние времена рожденных вне брака детей, но в глубине души он все равно был постоянно к оскорблению готов и поджидал обидчика. Может быть, и та роковая драка, когда ему отрубили нос, по этой причине случилась, да и вообще вся жизнь пошла наперекосяк. Я думаю теперь, он тянулся ко мне, потому что я был из другого мира, и рассказал свою историю, боясь, как бы она не дошла до меня стороной в насмешливом пересказе. Но по легкомыслию и небрежности я в ту пору над его болью не задумывался, не понимал ее, не чувствовал. Мне было просто интересно его слушать, ходить по лесу и рыбачить и... продолжать о нем писать. Не только о нем, а о многих здешних людях. Но Тюков был особенным и после деда Васи самым дорогим.

Он искренне по мне скучал, радовался, когда я приезжал, и, покада лесник был жив, он присматривал за домом, и избу не потрошили так сильно. Но все это в сюжет рассказа о зимней рыбалке и утонувшем в снегах джипе никак не вмещалось, хотя именно тогда в заснеженном марте, когда, застряв в сугробе в самый первый раз еще в деревне, там, где теперь зеленела трава и летали бабочки, мы пошли разыскивать бригадира Самутина, первое, что Юрик мне сказал, было:

— Сашка Тюков умер...

— Как — умер?

— Так вот и умер, — повторил Самутин, довольный произведенным его словами впечатлением, и я тупо подумал, что повесть мою лесник так и не прочел и привезенные ему сигареты — я всегда привозил блок «Примы», это повелось еще с тех времен, когда сигареты были в дефиците, — придется отдать кому-то другому. И на льду все время о нем вспоминал. Ведь мы даже договорились с мужиками по дороге в Падчевары, что обязательно Тюкова с собой хоть разочек на лед Воже возьмем — он зимнюю рыбалку очень любил и компании не испортит. А вот не пришлось, и, может, без него ничего у нас и не заладилось...

Потом уже жена его Лиза рассказала мне, как все произошло. Тюков давно маялся животом и грешил на водку, знал, что пить ему нельзя, тем более пил он все подряд, но остановиться не мог, почти не закусывал и потом унимал боль настоем чаги. Однако несмотря ни на что был в свои пятьдесят с небольшим крепким и сильным мужиком, ворочал один громадные хлысты, был зол в любой работе, проходил в день десятки километров, все хвори запивал молоком, заедал картошкой с рыжиками, и казалось, в здешнем воздухе ничего дурного стрястись с ним не может, постепенно жизнь его устоится, он образумится и станет таким же степенным, неторопливым стариком, каким был дед Вася. Однако беда подступила с другой стороны.

Прошлой осенью Тюков стал чувствовать стеснение и боль в груди, и наконец стало ему так трудно дышать, что, не любивший лечиться и куда-нибудь из деревни уезжать, он отправился в райцентр в больницу. Там с ним обошлись невежливо, толком не выслушали, нахамили, и обиженный лесник вернулся ни с чем домой. За обидой ушло драгоценное время, миновала зима, и, когда весной уже совсем хворый и обессиленный он поехал в райцентр снова, делать что-либо было поздно.

— Какой диагноз, ему самому не сказали, а направили в Вологду на инвалидность, — рассказывала мне Лиза ровным и бесстрастным голосом, стоя у печи в своем неизменном белом платке и скрестив тонкие учительские руки. — Я ничего не знала. И не догадывалась. А он переживал очень, говорил, умрет скоро. Я ему — ну это если первую группу дадут, тогда дело плохо. А тебе скорее всего вторую или третью, пенсию будешь получать. Печь новую собьешь. Он поехал, а потом возвращается — я его на дороге встретила, идет и показывает мне бумажку: дали ему первую группу. Так я жалела тогда, что сказала ему, что если первая, то худо, значит, совсем. Но слово-то назад не вернешь. Сам-от думал, от вина помрет, а вышло — от рака легких. Мучился очень все лето, пить бросил, не вставал, а Света с нами уже не жила давно. Она в больнице лежала на сохранении.

Так вот странно все сплелось: отец умирал, а дочка в это время рожала.

Девочкой, девушкой она была чудо как хороша. Помню, как поразило меня ее нежное юное лицо. Когда я приходил к Тюкову, она редко оставалась в избе, стеснялась и убегала, и я никогда не мог хорошенько ее разглядеть, но грустно было подумать, что эту девочку в глухой, безлюдной и никому не нужной северной деревне ждет. И кто мог тогда представить, что случится на Светкином пути и подобно своему покойному отцу она прославится на всю Вологодскую область только благодаря событию, наоборот, радостному и счастливому?

Окончив школу, Света поехала учиться в Вологду на продавщицу. Однако прижиться в городе, как и когда-то молодому, вернувшемуся из армии Тюкову, ей не удалось, и она возвратилась в деревню. А там какая работа? Сама Лиза, когда уволилась после истории со скандальной тюковской дракой из школы, а потом уже уволили ее по сокращению штатов с почты, устроилась в собесе разносить по деревням пенсионерам хлеб и пристроила на эту же должность Светку. Так и трудились они на пару, и Бог весть сколько бы еще эта трудовая повинность — хождение по разбитым падчеварским дорогам с набитыми хлебом сумками — продолжалась, когда б два года назад Света не вышла замуж.

Верней сказать, не вышла, а попросту переселилась к электрику, который жил на той же улице в доме напротив. Поначалу она все ходила к нему смотреть цветной телевизор, а однажды объявила матери и отцу, что собирается у соседа поселиться насовсем.

— Живи, если хочешь, — в сердцах сказала Лиза, — обратно будет недалеко перебираться.

Перебираться, однако ж, не пришлось, ибо жизнь у молодых, столь нетрадиционным для деревни образом соединившихся, заладилась. Несколько месяцев спустя они расписались. Свадьбу затевать не стали из-за отсутствия денег, и желанную для каждой девушки роль невесты в белом платье Светке сыграть не довелось. Просто съездили в сельсовет, или как это место теперь называется, и расписались. А еще через некоторое время молодая жена забеременела, и врачи обнаружили, что у нее будет... тройня.

Все лето молодая ходила большая и неповоротливая. Потом ее положили на сохранение в районную больницу. Но дома был при смерти отец, и она запросилась в Кубинскую. До рождения внуков лесник не дожил, все лето промучился и в начале октября умер, а Светка еще оставалась в деревне. До родов было несколько недель.

Как это часто с двойней и тем более с тройней случается, роды начались преждевременно. Из деревни повезли ее в райцентр, в Вожегу. Но там в больнице имелся всего один кювез, и тогда из Вологды вылетел санитарный вертолет. Я не знаю, сколько это стоило и кто оплачивал борт; как знать, не те ли самые врачи, которые погубили Тюкова, сделали все, чтобы спасти его дочь и ее детей, но на вертолете Свету Тюкову, самую обыкновенную деревенскую женщину, ничью ни родню, ни знакомую, привезли в вологодский роддом, и той же ночью она родила двух мальчиков и девочку. Здоровых и крепких. Таких же, как она сама.

К ней приходили из газет, пытались брать интервью и фотографировали — шутка ли, последний раз в области тройня родилась пять лет назад, — но роженица журналистов чуралась и, как только дети набрали положенный вес, сбегала в свою деревню.

Там ей подарили целое приданое для детей — стиральную машину, кроватки, одеяла, пеленки, одежду, посуду, даже памперсы, которые жаль быстро кончились. Она живет в красивой северной деревне, где давно уже нет своих детишек, кормит грудью сначала одного, потом другого, потом третьего, недосыпает, стирает белье, убирает дом, а еще сажает и копает картошку и лук. Ей помогает мать, и так живут они наперекор всему, что творится в округе, пьянству и вырождению — только что будет с ее детьми?..

На следующий день за Тихомировыми должна была прийти машина. Еще по дороге сюда они договорились с шофером разбитого «жигуленка», который вез нас из Вожеги в Падчевары, что через несколько дней он приедет и их заберет, и эту последнюю ночь мои гости не спали. Они встречали на дворе восход солнца, и я хотел дожидаться его вместе с ними, но в четвертом часу, когда небо на северо-востоке заалело и дневное светило, по моим представлениям, давно должно было подняться, как любил говорить покойный дед Вася, на три березы, а оно все не поднималось — ему мешал лесистый пригорок, — не выдержал и отправился спать. Супруги остались и утром рассказывали, какое это было фантастическое зрелище, когда брызнули из-за лесистой горюшки солнечные лучи, будто начался пожар, загорелось небо, и лица светились восхищением, не было на них ни тени усталости от бессонной ночи. Я слушал их и чувствовал, как привязался к этим немолодым и все же гораздо более молодым, нежели я, и очень деликатным людям, знал, что они уезжают не только с сожалением, но и тревогой и им не хочется оставлять меня одного, но им нужно было на работу, а мне — оставаться здесь.

Стояли у дома аккуратно собранные пятнистые станковые рюкзаки, мы глядели на извивающуюся вдоль реки дорогу и ждали машину; вся местность хорошо просматривалась, изредка вдалеке поднималась пыль, и тогда они набрасывали на плечи рюкзаки, но оказывалось, что это едет в Сурковскую колхозная полторка, автолавка или молоковоз. А машина за ними так и не приехала, хотя шофер обещал, что непременно приедет, и сто рублей, которые они готовы были заплатить, считались здесь неплохи-

ми деньгами. Мы пробыли вместе еще один вечер, а назавтра я проводил их до рейсового автобуса и как ни уговаривал не торопиться, по деревенскому обычаю мы вышли слишком рано и застали автобус на пути к конечному пункту. Чтобы не ждать на жаре, пока он доедет до последней деревни и вернется, проехали до большого села Бекетова, где по сравнению с Падчеварами было многолюдно, мужчины и женщины ходили по-городскому одетые, прогуливали детей молодые мамыши и по моде шеголяли в мини-юбках девицы.

Странное дело, даже спустя много месяцев я хорошо помнил обстоятельства тех обыденных дней, погоду, дорожную пыль, стрекот кузнечиков, свои ощущения и среди них то, что все же до города Бекетову было далеко, и никто не удивился, когда на обратном пути автобус свернул с дороги и через поле по ухабам, поднимая за собой клубы белой пыли, которая проникала в салон и скрипела на зубах, поехал в родную деревню водителя. Там, в Назаровской, белоголовый, молчаливый и аккуратный автобусник скоро пообедал в доме у тещи и невозмутимо продолжил путь, и приодевшиеся перед поездкой в райцентр, слегка взволнованные пассажиры не роптали, его поджидая, а я рассказывал своим ошеломленным сельскими нравами друзьям, как много лет назад этот же шофер вез меня на станцию и так же обедал в этом доме, только в добавление ко всему взял еще поросенка, который всю дорогу бегал по салону и визжал.

День был очень жаркий и даже душный, и когда в Падчеварах я сошел с автобуса, а они отправились дальше в Вожегу, мне стало по-настоящему грустно и сиротливо. Не доходя до Осиевской, я свернул направо к березовой рошице, где находилось падчеварское кладбище, на котором хоронили людей из трех деревень, расположенных на правом берегу реки. У левобережных был свой погост — так было заведено, чтобы не зависеть от времени ледостава и ледохода, когда связь между двумя берегами прерывалась, а смертушке до людских неудобств дела не было.

Прежде я приходил на кладбище к деду Васе и бабе Наде, но теперь мне нужно было найти могилу, что появилась здесь меньше года назад. Кладбище было немаленькое, здесь хоронили, должно быть, не одну сотню лет, но совсем старинных захоронений я не обнаружил, не было здесь никогда и часовни, и общей ограды, а стояли среди берез большей частью простые деревянные или металлические кресты или конусообразные памятники со звездочками, фотографиями, надписями и всего несколькими разными фамилиями: Малаховы, Цыгановы, Шинины, Ковановы, Самутины, Матросовы, Першины, Ганины, Тюковы...

Я хотел, но постеснялся спросить у Лизы или у совсем уже ослепшей и оглохшей, но все еще находившейся в здравом уме тюковской матери, схоронившей уже своего третьего сына, был ли Тюков крещен.

Скорее всего нет. Ведь он родился в сорок седьмом, когда не осталось в округе ни одной действующей церкви и много лет тут не крестили, не венчали и не отпевали.

Но сколько ж было теперь его старухе матери лет? Должно быть, уже за восемьдесят. Там, в избе, когда я зимой зашел к Тюковым, дома не было никого, кроме нее, и, охнув, маленькая, высохшая, ослепшая, но сохранившая разум бабка сползла с кровати и стала тревожно и хрипло спрашивать:

— Кто?

Я был уверен, что она меня не помнит, но когда назвал себя, вспомнила, обрадовалась и стала говорить, как Саша про меня вспоминал и все ждал, что я приеду.

— Когда ж меня Бог возьмет, а, Алеша? А? — спрашивала так, будто я мог что-то об этом знать. — Сашу-то когда хоронили, столько про него слов хороших сказали, сколько он за всю свою жизнь не слышал. Как людям помогал, для других все делал, а себе ничего.

Прежде она часто ходила на кладбище, где не был похоронен ее пропавший на войне муж, но лежали и рано умершие дети, и тюковский отец Долька, но теперь, после того как умер последний сын, сил ходить не стало...

Могила Тюкова была на краю, просторная, аккуратная и ухоженная, с уже установленным памятником — но креста на нем не было. Только фотография совсем молодого, незнакомого мне человека с еще не изуродованным лицом и немного растерянными глазами.

Я постоял недолго, выкурил сигарету и пошел к дому.

Всегда, когда остаешься один после того, как уехал кто-то близкий, нападает тоска. И не дожидаясь, пока она совсем меня заберет, прихватив весла и снасти, я собрал рюкзачок и пошел на реку. Было еще рано, по-прежнему висело над землей дрожащее марево, в котором медленно плыли над травой деревенские избы, гумно, овины, и в неподвижном воздухе я стал грести вверх по течению. Падчевары скоро скрылись из виду, остался позади брод, через который вела дорога на Чунозеро и через который еще совсем недавно гоняли на левый берег Вожеги совместное стадо колхозных и частных коров, и в помощь двум колхозным пастухам назначался по очереди кто-то из деревенских. В прежние годы коровы обыкновенно шли утром мимо моего дома вдоль загоры к реке, их перезвон меня будил в девятом часу, и, глядя на мычащих животных с мелодичными колокольчиками на шее, слушая окрики пастухов и удары кнута, я всякий раз думал, как чувствуют себя колхозные буренки рядом с хозяйскими — наверное, как детдомовские детки с папино-мамиными.

Но теперь «детдомовских» ни в одной из деревень не осталось, их перевели на центральную усадьбу и должность пастухов упразднили, а своих коров пасли рядом с избами.

Раньше я редко когда отплывал дальше чем на полкилометра от деревни, жалел время и ловил прямо тут, у плота, где полоскали белье бабы и где было у противоположного берега в излучине несколько глубоких мест, но в этот раз решил подняться километра на три вверх. Река была покойна и полноводна, изредка билась возле берега щука, гоняли малька окуни, плескались плотва и ельцы, но к середине июня по-настоящему уловистая рыбалка уже отошла. И все равно сидеть в лодке было хорошо, никуда я не спешил, а вспоминал, как несколько лет назад теплым сентябрем ловил в этом месте окуней. Бросал лодку без весел, и ее медленно-медленно несло вниз мимо желтых берез и темных елок, отражавшихся в очистившейся после лета воде, а я забрасывал в разные стороны удочку с красным поплавком, и у меня тотчас клевало.

Окуней тогда было так много, что я не мог съесть их сам и относил бабе Наде, но ей они были не в радость: это была ее последняя осень. Был жив и Тюков, у кого-нибудь из них я сидел вечерами, и не хотелось уезжать, а жить здесь долго-долго — хотя уезжать было надо. Вернувшись в Москву, я поехал в Ясную Поляну, где лили дожди, и все это было странно — за Вологдой тепло, а под Тулой дожди и холод — и ужасно здорово, потому что в Ясной было много яблок, много разговоров о литературе, о деревне, о Тургеневе, Бунине, Достоевском, Толстом... И все так удачно складывалось у меня в тот год: выходил роман, клевала рыба, было множество опят и не донимали беспокойные соседи.

Когда стемнело, я развел на берегу костер и пожалел, что не захватил с собой чайника. Странное дело, мне всегда казалось, что в середине июня темнеть в этих краях не должно вообще, однако от часа до половины третьего становилось довольно сумрачно и невозможно было разглядеть поплавок. Мне нравилась эта неожиданная теплая ночь на реке, и я решил провести ее у воды всю и встретить восход. Однако вскоре после полуночи за спиной стало погромыхивать, вспыхивать, воздух сгустился еще сильнее, и я испугался, что меня застанет на реке гроза. Я очень боялся

оказаться на воде в железной лодке, быстро смотал удочки и погреб наперегонки с тучей. Молнии сверкали такие яркие, что озаряли всю местность, в реке отражалось небо с краями великолепных слоистых туч, но гром раздавался не сразу, был еще очень слабым, и хотя это означало, что разряды бьют далеко, в их фиолетовом свете было что-то зловещее. С правого берега лес отступил, потянулась загорода, и видно было, как над долиной реки нависала невообразимо тяжелая, громадная туча, должно быть образовавшаяся над большим озером. Наливаясь на глазах, она неспешно смещалась в нашу сторону.

Я хорошо знал, что должно за этим последовать: налетит порыв ветра, встанет стеной дождь и начнется светопреставление, какое однажды в этой деревне мне уже случилось пережить. Нигде больше я не видел подобных гроз — в течение часа молнии били одновременно с треском грома, и от близких разрядов в доме с вывернутыми пробками вспыхивали лампочки. А деревня с разломанными деревьями и разметенными крышами после грозы выглядела как после побоища.

В лицо подул свежий ветер, начал накрапывать дождик — но я уже добрался до деревянных мостков, бросил лодку со снастями и побежал вверх в гору. Исполнилось около двух часов ночи, деревня спала и казалась совершенно пустой, только в одном доме горел свет, но живший в нем человек не выключал его никогда, даже если куда-нибудь уходил, и все к этому привыкли.

Молнии освещали луг, гумно, деревья и избы, но по-прежнему не было слышно грома, хотя грозе давно пора было начаться. Теперь я уже успевал добежать до дома и хотел, чтобы она разразилась и я стоял бы во дворе, где наблюдали восход Тихомировы, и оцепенело смотрел на непогоду. Но на полдороге со склона холма облегченно и огорченно увидел, что тяжелая туча проходит восточной стороной и, наверное, сейчас там, где ехали в поезде Николай Иванович с Людмилой, льет страшный ливень и, заглушая стук колес, гремит гром. А у нас постепенно стало стихать, молнии потускнели, сменились зарницами, дождик, чуть-чуть помочив землю и прибив пыль, перестал, и я пожалел, что напрасно ушел с реки и не встретил солнца.

И была еще одна, самая короткая в году, ночь на воде, когда я снова сидел один у костра, ждал восхода и не мог поверить, что эта ночь последняя и уже завтра утром я буду подъезжать к Москве. Будет казаться мне несуществующей деревня, снова потребуются усилие души, чтобы переместиться из одного мира в иной и привыкнуть к большому городу и его людям. Я сидел на песчаной косе, грел руки и наблюдал за тем, как светало. Комары исчезли, было очень тихо, и примерно в километре вниз по течению виднелся отблеск рыбацкого костра. Мимо пронеслась река, и слышны были ее звуки: журчание воды на перекате, всплески рыб, шуршание темных стволов и веток о тростник, взмахи крыльев неведомых ночных птиц. Слабо светили звезды, где-то далеко лаяли собаки, и очень слабо гудел в небе самолет. Я сидел в каком-то странном бездумье и опустошении, а потом перед самым рассветом сверху по реке поплыл туман. Он надвигался из-за излучины, как вчерашняя туча, и поглощал деревья, камни, захватил меня, мой костер и лодку и двинулся дальше вниз. В тумане встало солнце, но он не рассеивался, а только наливался упругостью, тяжелея, оседал каплями воды на деревьях, кустах и сиденье лодки, как если бы по земле ползло дождевое темное облако, и из-за него мне так и не удалось увидеть восхитивший Тихомировых восход. В четвертом часу дружно запели птицы, снова появились комары, я сел в сырую лодку и поплыл к чужому костру.

В этом месте река переставала петлять и примерно на километр тянулся широкий плес. Незнакомые мужики стояли у его начала лагерем. Один

спал, а другой спустился к воде, где легонько качалась выдолбленная из цельного ствола маленькая лодка с одним веслом, и я вспомнил, как однажды на далеком озере Долгом пробовал на такой лодочке грести, но ничего у меня не получалось, а сын хозяйки, у которой я купил избу, очень ловко с суденышком управлялся.

— Закурить не будет?

Я подгрел к рыбаку и достал тюковскую «Приму».

— Курите такие?

— Еще как курю, — обрадовался он: в этих краях не только Тюков, но и все мужики предпочитали сигареты без фильтра.

— Берите все.

Он растерялся:

— А ты как?

— Да мне они ни к чему.

— Ну ты цайку хоть попей. — И я догадался, что этот пожилой добрый человек в офицерском плаще не падчеварский, у нас здесь никто не цокал, а вот в верховье реки, совсем недалеко отсюда, в Тигине, цоканье было делом привычным.

У костра лежал потрепанный номер толстого журнала.

— Читаете?

— Да не, костер развести взяли.

Хотелось открыть журнал и посмотреть, кто был в нем напечатан и чьему произведению, знакомого или незнакомого мне автора или же моему собственному, предстояло сгореть в этом бесхитростном огне на берегу реки, но протягивать руку я постеснялся.

Поднялся ветер, и туман исчез так же стремительно, как появился. Солнце осветило верхушки деревьев. Мы сидели у прозрачного утреннего огня и говорили о рыбалке, о колхозной старине, о бедняцкой коммуне, которую построили в двадцатые годы на берегу реки между Тигином и Устьем, но она не сохранилась, и о самой речке, где прежде было много рыбы и раков; рыбак рассказал, что родом он из Лещевки, предпоследней из тигинских деревень, находившихся выше по течению реки, но долгое время жил в Северодвинске, а теперь вышел на пенсию и вернулся на родину. Здесь у него было хозяйство, огород, корова, рыбалка, и весной на долбленной лодке он спускался с товарищем до Бекетова, рыбачил и ночевал в палатке, но в этот год задержался. Я радовался, что могу как бывалый поддержать этот разговор и обсудить рыбалку на лесных озерах — Долгом, Манозере, Чунозере и даже на самом Воже, где какая водится рыба и на что в разное время года берет. Когда стало уже светло, мужик не утерпел и спросил:

— А сам-то ты кто?

Тут я замялся: сказать, что писатель, постеснялся, всегда стыдился, мне казалось, что, глядя на меня, никто в это не поверит, и слово «преподаватель» мне тоже представлялось тяжеловесным; вспомнилось, как однажды меня спросил о моей профессии водитель молоковоза, который подвозил от деревни до станции, и тогда, замаявшись, я сказал — учитель, так понятнее, — водитель успокоился и не стал брать денег, а растрогался, как в старом советском фильме:

— Ты учи детишек, учи.

Проснулся и подошел к костру другой рыбак, помоложе и на вид помрачнее — я еще в самом начале своей падчеварской жизни подметил, что в здешних краях чем человек старше, тем добрее, — и они стали собираться вынимать сеть, а я отправился прятать «Романтику» на левом берегу — затаскивать ее к себе на гору мне не хотелось, да и было одному не под силу. Первое место показалось мне не слишком удачным, и в голову закралась гадкая мысль, что славные рыбаки могли заметить, где я ее схоронил, и, сам себя ругая за подозрительность, перепрятал лодку в другом,

чертыхаясь и надрываясь, а потом, оглядев заросли ивняка, в который раз убедился, что лучшее враг хорошего, разделся, переплыл реку, держа над головой одежду, и пешком вернулся в деревню.

Было раннее утро. У часовни в Кубинской стояла Лиза. Она вся вымокла под дождем, и было столько радости в ее глазах, столько невысказанной таинственной благодарности, что вдруг кольнула меня странная, но очень точная и верная мысль, что Лиза — святая. Но только если я кому-нибудь об этом скажу, то она ужасно рассердится.

Она подошла ко мне, и я увидел в ее глазах странное колебание. Она точно сомневалась, надо ли мне говорить то, что она хотела сказать. (Вообще-то этот короткий разговор случился не летом, но еще раньше, зимой, когда мы уезжали в Москву и я зашел к Лизе попрощаться, однако хоть на небольшое смещение времени имею же я право, а дождик этот и ее счастливая улыбка — все это правда было, было...)

— Вот еще, — сказала она, себя пересилив, — Саша говорил, что в больнице какую-то повесть вашу читал. Ему медсестра принесла.

Она замолчала.

— Обиделся он очень, как вы про маму его написали. Про меня, говорит, что хочет пусть пишет, а про нее-то зачем?

Я похолодел:

— Но ведь я не писал о ней ничего дурного.

Я правда не писал...

— Я не знаю, я не читала, — сказала она торопливо и невнятно, как человек, выполнивший очень неприятное, но необходимое дело, — вы заходите к нам чаю пить, — и пошла по дороге в Наволок.

ОСЕННИЙ ПОХОД В КОРГОЗЕРО

И все же более и зимы, и весны, и лета я любил деревенскую осень. Она начиналась почти всегда в одно и то же время — около середины сентября, когда становились сырыми и пахли грибами тихие леса, созревала на болотах клюква, темнели от дождей стога свежего сена, в небе тянулись караваны гусей, желтизна берез и зелень елок смешивалась над синей водой покойных лесных озер, была удачлива вечерняя рыбалка на темной реке и счастливо-утомленное возвращение к дому. Поднявшись по покосившейся лесенке, я включал мягкий электрический свет, присаживался на высокий порожек у двери, с усилием двумя руками стаскивал болотные сапоги с натруженных ног, ставил на лавку корзину или рюкзак, умывался, ужинал, пил горячий чай и так остро чувствовал не растерявшую за день тепло избу и ощущал весь этот бесценный, не напрасно прожитый день, в котором не было обидно ни за одну минуту. Я жалел тогда лишь о том, что не могу жить так всегда, и в сентябре мне удается вырваться в деревню только на несколько денечков, а в остальное время я связан работой, домом. Как хотелось пожить здесь вдоволь и никуда не спешить, а медленно наблюдать за уменьшающимися днями и делающимися прозрачными лесами.

О таинственной, окруженной лесами и стоящей на отшибе деревне, куда заросли все пути-дороги и вели лишь лесные тропы, я слышал столько, сколько в Падчеварах бывал. Жадно расспрашивал сам, разглядывал Коргозеро на карте, много раз вокруг лесного селения кружил и восхищался его укромным расположением, подходил совсем близко и слышал за деревьями лай собак. Несколько раз встречался в лесу с приветливыми коргозерами — так звали жителей деревни, — казалось мне, сделалось еще один шаг — и увижу серые крыши деревенских изб. Часто грезило мне Коргозеро во сне, но до той осени наяву ни разу я до него не доходил, выставляя в качестве причины своей нерешительности обстоятельство литературное: когда-то в Коргозеро, по словам деда Васи, навевался из своей

Тимониhi суровый писатель Василий Иванович Белов, и, случайно посетившись с ним по соседству, я уважал его территорию и границы переступить не смел.

И вот по мере того, как я облазил всю доступную мне здешнюю округу и одно лишь Коргозеро оставалось белым пятном, все больше и больше меня туда тянуло и хотелось хоть одним глазком взглянуть и на деревню, и на озеро. На самом-то деле я боялся туда пойти не из-за одного мистического страха перед Василием Ивановичем и его землей, а еще и потому, что не хотел тревожить в душе чувство сожаления, опасался, как бы не пронзила меня мысль, не заньло сердце, что в Коргозере-то и надо было покупать избу. Там-то уж точно встретилась бы мне затерянная земля, которой я грезил, а то обстоятельство, что добираться до нее еще труднее, чем до Падчевар, и никакие импортные джипы и отечественные «козлы» туда не ходят, лишь радовало меня. Может быть, там и слилось бы воедино ощущение американской безопасности и русского простора, и стоит мне только эту деревню увидеть, не захочется покинуть ее уже никогда.

Настроение мое было тем более тягостно, что на этот раз неведомые воры взялись за избу всерьез и не только украли все ведра, кастрюли, самовар, одежду, сняли колеса с велосипеда, вывернули лампочки и утащили даже детскую раскладушку, но сумели взломать главный и доселе не сдававшийся мой бастион — запиравшийся на амбарный ключ сенник, для чего они разобрали крышу и вынесли оттуда всю водку и еду. Таким образом, в моем распоряжении оказалась только одна бутылка, которую нечем было закусывать и не из чего пить, и в опустевшем доме передо мной маячил выбор — терять полдня на то, чтобы идти в соседнюю деревню за водкой и закуской, или обойтись единственной, чудом купленной в Вожеге поллитрой и всю неделю с незамутненной головой и пустым желудком налегке бродить по озерам и лесам, питаясь чем Бог пошлет и что само отыщется либо наловится. Я выбрал второе и самонадеянно подумал, что сие и есть мой тест, определяющий склонность к алкоголизму и чревоугодию, распространенную среди многих созерцательных натур.

К общению с деревенскими жителями я больше не стремился. И в Осиевской, и в Кубинской уже давно почти все, с кем я встречался, когда шел с бидоном и пластиковой бутылкой на колодец или на реку, спрашивали об одном и том же: залезали ко мне или нет? И это жадное любопытство было мне неприятно. Было стыдно сознаваться, что да, опять залезали, не хотелось в ответ на следующий вопрос перечислять, что унесли, выслушивать сочувственные отклики и вздохи. Прав я был или не прав, но мне казалось, мои деревенские соседи не то чтобы лицемерили, но немного лукавили — знали, что залезали, знали или догадывались, кто залезал, однако не хотели связываться или стучать на своих же. Я не мог их за это осуждать, смирился, что чужой для них, да если бы мне и указали на кого-то, что бы я стал с этим человеком делать? Но чего уж спрашивать и тем более сочувствовать тогда...

Однако в этот раз оказалось, что за прошедшие месяцы от набегов пострадал не я один; люди жаловались, что воруют не только у отпускников вроде меня, но и у тех, кто живет постоянно.

— Раньше-то никогда такого не бывало. И замков не держали. Приставят батожок к двери — значит, нет хозяина. Никто и не пойдет.

Говорили, что в Падчеварах орудует чуть ли не шайка, что у кого-то в Наволоке украли стиральную машину, а в другом доме у старухи утащили старинную икону. Приезжала милиция, и на какого-то парня из Сурковской недели наручники и увезли, но он якобы был не один, а взял всю вину на себя, и дружки его остались на воле.

Я слушал не слишком внимательно, уже свыкнувшись в душе с мыслью, что избу мою рано или поздно разорят совсем, как вороны чужое

гнездо, и поделаться с этим я ничего не смогу. Но пока еще были целы стены, окна и крыша, я жил сегодняшним днем и старался не думать о том, что станет завтра.

Назло всему я любовался желтеющими деревьями, поднимался вверх по реке на лодке — и как же билось мое сердце, когда я шел к тому месту, где три месяца назад спрятал ее в прибрежных кустах. Казалось мне в ту минуту, если и «Романтику» украли, то после взлома сеника я уже не смогу переступить последнюю обиду, все брошу и тотчас же уеду — но лодка, к счастью, была на месте, и я обрадовался ей, как живой...

Поднявшись вверх по течению, я затаскивал лодку на песчаную косу, где жег летом костер и на песке остались, или мне так казалось, следы костра; ходил по лесам, тщетно пытаюсь насобирать опят или подосиновиков. Обычно в эти осенние приезды едва успеваешь поворачиваться. Осень не весна, и для приезжего человека тут каждый час на счету: за не слишком длинный световой день надо и в лес за грибами сходить, и ягод набрать, а еще успеть на вечернюю рыбалку. Потом до полуночи сидеть и чистить, отваривать, солить или резать на сушку грибы, готовить уху или жарить рыбу. Однако в этот год я опоздал, плотва брала в сумерках вяло, грибы вообще почти все отошли, лишь попадались в лесу усеянные черными склизлыми опятами пни, и я совсем по-детски сокрушался — ах, попасть бы сюда на недельку-другую пораньше, — иногда встречались громадные желтые грузди или, как красная сыпь на траве, появлялись крохотные, годные только для засола горькушки.

А больше ничего и не осталось — но зато было много времени, я угадал к самому расцвету золотой осени: леса светились и полыхали, под ногами все было желтым и красным, ночами зажигались над деревней звезды, мерцали и обнимали холмистую землю. По вечерам я иногда заходил к счастливой помолодевшей бабе Лизе, которая никогда не спрашивала меня про обворованную избу, но рассказывала, как приезжал к ним из Вожеги батюшка и окрестил троих деток, а заодно и их молодых родителей, а еще исповедовал и причастил тюковскую мать.

— Всех из избы выгнал, когда исповедовал.

— Правильно, положено так.

Но Лизе было смешно и странно, что ее, хозяйку, выгнали из собственной избы.

— А еще говорят, церковь в Огибалове скоро откроют. Алешка-поп из Северодвинска служить будет.

Оказалось, что один из деревенских стариков, который прежде жил в Северодвинске, а потом купил в Кубинской дом, был дьяконом в северодвинской церкви. Странное настало время, ни воровства поголовного, ни попа крестящего и исповедующего прежде не было, плохое мешалось с хорошим и уравнивалось, как осенние дни и ночи, но отстраненно я думал, что раньше принял бы все близко к сердцу, а теперь эта жизнь меня уже почти не касалась.

С крынкой молока я возвращался из хорошо протопленной Лизиной квартиры, наугад нащупывая в поле разбитую колею, поднимался в комнату и, чтобы не скучать и не слишком долго предаваться колебаниям, как поступить с великоустюжской поллитровкой — выпить «Федота Попова» сразу или же растянуть на несколько вечеров, — включал старенький транзистор, крутил ручку и странствовал по шорохам и волнам. Здесь в деревне почему-то лучше ловились короткие волны, и по странной иронии с годами всех остальных забивало радио «Свобода». Так я сидел за столом и слушал ехидные новости, утомительные передачи и повторяющиеся каждый час назойливые объявления, узнавал голоса людей, которые казались мне совершенно нереальными несмотря на то, что иных мне случилось повидать и даже посидеть с ними за одним столом в Лас-Вегасе на мудреной конференции славистов и культурологов, посвященной судьбам пост-

модернизма, которую провели в университете этого смешного и остроумного городка. Вспоминая их, я с удивлением думал: можно ли представить на всей нашей земле нечто более далекое друга от друга, чем эту деревню и этих ироничных и самоуверенных людей?

Они были мне еще более чужды, но в ночные падчеварские часы далекие радиоголоса отвлекали от одиночества и тревоги. Что-то старческое, мнительное объявилось в моей душе к сорока годам. Я вспоминал страхи бабы Нади, боявшейся после смерти деда включать свет в избе, и, обыкновенно беспечный и легкомысленный, отмахивающийся от ее вопроса: «Не страшно тебе там одному-то?», любивший уединение и волю, тщательнее обычного запирали засовы и ночью тревожно прислушивался ко всем звукам. Но никто не трогал меня, и даже веселые соседи были настолько увлечены осенней охотой, что больше не загорали на крыше под нещедрым сентябрьским солнышком. Только однажды я пережил несколько неприятных минут, когда возвращался в сумерках с реки и вдруг увидел стоявшую на краю поля белеющую «Ниву».

Я вспомнил, как тюковский сын Алексей рассказывал мне, что где-то здесь на краю овсяного поля охотники устроили лабаз и что туда наведывался медведь, и сам Алексей однажды видел, как зверь шел берегом реки. Тропинка в этом месте вела через кусты, земля была изрыта кабанами, и в моей голове тотчас же возникла картина: сидящие в засаде охотники и треск веток на берегу, торопливые выстрелы... Что делать — кричать, петь песни? Я шел ни жив ни мертв и, только когда кусты кончились, облегченно вздохнул.

Но опасность поджидала меня с другой стороны. Однажды в лесу за рекой далеко от дома я случайно набрел на гриву: посреди обыкновенного заросшего травой неинтересного заболоченного леса возвышался крутой холм и по его склонам стеной взбирались на кручу деревья. К холму вела неприметная тропинка. Я поднялся по ней и увидел мшистую поляну, а на поляне россыпь громадных, размером с тарелку, подосиновиков. Они росли кругами, и большинство из них было старыми и червивыми, в другой раз я не обратил бы на такие грибы внимания, но теперь был рад и им.

Часть грибов я поджарил, остальные решил сушить. У меня оставалось мало дров, и, поскольку дни стояли нехолодные, уже два дня как я не топил печь, но по такому случаю хорошенько ее протопил, нарезал и разложил сверху грибы и пораньше закрыл вьюшку, хотя в глубине печи еще вспыхивали голубые огоньки, а сам ушел в баню. Я поступал так иногда с печкой, зная, что через час, максимум два угарный газ разложится, зато печь будет очень горячей. И в самом деле, когда поздней ночью, распаренный и счастливый, нагледевшись на осенний закат и звездное небо, накатавшись по сырой траве, вернулся, в избе было сухо, тепло и никакого угара не чувствовалось. Утомленный, я наспех поужинал, лег спать и сразу провалился, но сон мой был неспокоен. Проснулся я от какого-то странного ощущения. В избе было уже светло. Остро пахло подсыхающими подосиновиками, и запах их казался неприятным. Мне было вообще очень нехорошо.

Некоторое время я лежал в кровати и не понимал, что происходит. Потом босиком подошел к окну, не ощущая ступнями привычного холода. За запотевшим стеклом не было видно ничего: молочный туман лежал на земле, как лежит зимой снег, и был он гуще и холоднее тумана летнего. В ушах шумело, булькало, болела голова, меня подташнивало, и очень медленно краем сознания я начал понимать, что в избе угар. Никогда прежде угорать мне не доводилось, хотя об опасности угара меня часто предупреждали и рассказывали, что угорают даже местные, ко всему привычные люди, особенно когда топят холодную печь, и мне сделалось жутко, будто я выпил какой-то отравы или съел бледную поганку. Особенно страшно было из-за этого непонятного тумана, который мог принадлежать уже

иному миру. Я не понимал, жив я или мертв, стоит этот туман наяву или же только в моих глазах, но сообразил быстро открыть печную трубу, распахнуть окна и дверь и выскочил на улицу.

Туман не двигался, он был непроницаем и непроходим, и казалось, законопаченный этим туманом и упакованный в него, как в целлофан, дом остался один в целом мире. Трудно было дышать, меня стало выворачивать, но рвоты не было, а только навалилась страшная слабость. Я сидел на порожке дома под просвечивающей кровлей и мерз, разевая рот, как рыба, и думал о том, что мне невероятно повезло: я мог бы не проснуться и мой московский страх однажды не вернуться из деревни был напрасен. Только уже совсем оочевенев, зашел домой и лег спать, не закрывая окон и двери, но даже во сне в зыбкой дрожи чувствовал, как очищается сознание и сквозь радость спасения пробивается в нем хозяйское прижизненное сожаление, что понапрасну извел накануне вечером столько дров.

Наутро от тумана не осталось ничего, в доме остыла печка; светило солнце, грибы высохли, голова моя прошла, и все произошедшее показалось муторным сном, но с той поры я стал бояться закрывать печь и тревожно смотрел на таинственные огни в ее глубине, чье мерцание могло принести не только жизнь и тепло...

Быть может, с той ночи я потерял счет проведенному в Падчеварах времени, и стало чудиться мне, что живу я здесь давным-давно. Писать не хотелось, и, дабы оправдать свое пребывание в деревне и отсутствие в семье, как на работу я ходил на Большой мох и приносил оттуда клюкву, которой уродилось сей год немало, но на истоптанном и уже обобранном бабами из всех окрестных деревень, как обклеивают птицы вишню, болоте не так-то легко было найти нетронутую кочку. Еще клюква росла обыкновенно по берегам Чунозера, и, как-то раз, возвращаясь с лесного озерца, я увидел стоявшего посреди реки человека. В этом месте был брод, однако человек забрал левее, а значит, он был нездешний и вот-вот должен был черпнуть. Спортивная фигура показалась мне знакомой. Я пригляделся внимательнее и убедился, что это был один из спасателей джипа.

Так у меня появился спутник. Опытный Александр, которому случилось в молодости прожить целый год в деревенском доме в Кириллове, не только спас меня от одиночества и «Свободы», но и взял на себя ответственность закрывать печь так, чтобы не угореть, однако и не выпустить тепло, а также пополнил запас еды и питья, благодаря чему в первый же вечер красноречиво и окончательно развеял мои литературные сомнения, подбив на поход в Коргозеро, к коему я был в душе давно готов. Два дня спустя после неудачного путешествия к Устью, заброшенной деревне, стоявшей в том месте, где впадала в Вожегу речка Чужга и куда мы так и не добрались, потому что на полдороге нас накрыло ветром и дождем, мы двинулись на юг.

Ранним утром, чтобы сократить путь, переплыли на лодке через речку и, спрятав «Романтику» в прибрежные кусты, пошли вдоль линии электропередачи. Это была уже ставшая привычной мне дорога к ягодным угольям Большого мха, но в эту осень она сделалась совершенно сухой, и на тропе, где обычно мы брели по колено в воде или скакали с кочки на кочку, было видно неглубокое, жутковатое русло обезвоженной Токовицы. Вокруг было какое-то невообразимое количество птиц. Я не знал их названий, но то и дело, пестрые, черные, тяжелые, они с шумом срывались с места, взмывали в воздух и перелетали с дерева на дерево.

Мы вели важный разговор на повышенных тонах, какой случается только за время долгих часов непрерывного общения, и были очень увлечены, как вдруг за Большим мхом, где обыкновенно людей не бывало, навстречу нам попало несколько человек. От неожиданности и мы и они

вздрагнули, словно застигнутые врасплох глухари. Женщины прошли мимо, а мужчина в очках и кепке, подозрительно на нас с Шурой взглянув, строго спросил, куда мы направляемся.

— В Коргозеро, — пожал я плечами раздосадованно: допрос посреди леса был мне неприятен.

— А к кому?

Тут я рассердился еще больше:

— К дяде Васе Белову.

— К кому-кому?

— Да что ты к ним пристал? — вмешались женщины, должно быть почувявшие, что никакой опасности мы не представляем, и потянули еще более насторожившегося мужика за собой, а мы пошли дальше, но еще долго я думал, как будет пограничный патруль обсуждать эту странную встречу и гадать, кто же такой дядя Вася Белов.

Вскоре нашу дорогу пересекла узкоколейка. Около нее стояла снятая с рельсов маленькая самодельная дрезина — пионерка, на которой приехали сюда сборщики ягод, и я догадался о причине подозрительности лесного прохожего — недоверчивый человек боялся, как бы не причинили вреда его драгоценному и единственному универсальному транспортному средству в этих лесных краях. В конце концов, перепрятывал же летом и я свою ненаглядную «Романтику» от двух совсем не страшных рыбаков, но что поделять, если люди друг друга стали бояться и никто никому не доверял.

А у нас теперь был выбор. Можно было идти более коротким путем прямо вдоль столбов в Коргозеро или же сделать круг, пройдя по железно-дорожной насыпи, и свернуть к крохотному Гагатринскому озеру. Вторая дорога казалась мне красивее, в одном месте она шла по гряде, и мы вступили в долгую арку под нависшими над шпалами ветками деревьев. Узкоколейкой здесь уже не пользовались, хотя еще несколько лет назад я ехал по ней на пионерке вместе с прежней хозяйкой дома и ее сыном. А теперь мост через речку Коргу, за которой наша дорога сворачивала к Гагатринскому озеру, был почти разрушен; бывая здесь каждый год, я видел нараставшие разрушения, странным образом повторяющие порчу моего дома, но перейти на ту сторону по уцелевшим бревнам пока что еще было возможно.

Следы одичания, заброшенности домов и лесов я видел не только здесь. Еще несколько лет назад на Чунозеро можно было проехать на тракторе, дорогу худо-бедно поддерживали, чистили, теперь же в нескольких местах ее перегородили огромные стволы вывороченных бурей деревьев, и чтобы их обойти, приходилось делать изрядный крюк по лесу. И почему-то казалось мне, все это происходило из-за того, что помер трудяга Тюков, незаметно ухаживавший за здешним лесом.

От Гагатринского озера, дальше которого я никогда раньше не ходил и где безуспешно мы попытались рыбачить, дорога повернула налево, затерялась в болотце, а потом вынырнула из него и вскоре снова влилась в столбы; оказалось, она просто делала крюк. Мы прошли еще с полчаса, и чем ближе были к заветной деревне, тем беспокойнее становилось на сердце — удивительно и волнительно жить, когда у тебя есть тайна, но стоит ли эту тайну открывать?

И чего я боялся — разочарования или слишком сильного очарования, не захочется ли мне в самом деле остаться в Коргозере навсегда? Как знать...

Здесь ходили, должно быть, нечасто; в прежние и совсем недавние времена, которые даже мне удалось застать, Коргозеро, формально относившееся к нашему бессмертному колхозу «Вперед», опекалось падчеварскими мужиками. Сюда приезжали они на тракторе целой бригадой на сенокос, жили по две недели, а заодно помогали коргозерским старухам по

хозяйству, латали крыши, чинили загороды — но уже несколько лет никто из Падчевар в Коргозеро не навевывался; природа быстро брала свое, тропинка была совсем узенькой, а еще через несколько лет она зарастет совсем, рухнет мост через Коргу, и никто не найдет далекое селение. Так, значит, лучше уж сделать это теперь, пока, никому не нужная, не погрузилась она на дно своего таинственного озера.

Но вот наконец деревья отступили, перед глазами появилась громадная открытая холмистая местность, стога, мы прошли еще совсем чуть-чуть, и от того, что увидели, перехватило дух.

Левее, окруженное березами, в золотой чаше лежало круглое озеро, а прямо перед нами располагалась вологодская Ясная Поляна. В ней было изб пятьдесят. На огромном скошенном лугу с равномерно распределенными по всему зеленому пространству стогами паслось несколько коней, а в стороне стояло довольно большое сооружение, похожее на амбар, и, только приглядевшись к нему внимательно, в постройке с усеченными главами и порубленными крестами можно было разглядеть бывшую церковь.

Из дома вышла старуха и, не глядя на нас, пошла к коням. Издалека плохо было видно, что она делает — уж не коней ли ловит, но оказалось, что бабка попросту отгоняет красавцев от стога сена. Мы направились к первой встреченной нами коргозерке, однако, сурово взглянув в сторону незваных гостей, величественная старуха скрылась в огородах, и пришельцы растерянно остановились перед таинственной деревней. Тропинка вела к калитке в чужой загороде, открывать ее мы не решились и обошли деревню справа, ступив на единственную и не слишком широкую улицу. Дома на ней стояли по обе стороны, отчего поселение было вытянутым, но не вдоль озера, как я предполагал, а по направлению к нему, и ближайшую к воде избу разделяло с берегом с полкилометра. Деревня была сама по себе, а озеро само по себе, так что вряд ли она могла в него погрузиться.

Иначе и не могло быть. Точно так же, как не было ни одной деревни на берегу озера Воже, не считая единственной Чаронды, невозможно было построить дома и на берегу Коргозера — оно было окружено тростной, и только в одном месте рыбаки прорубили проход к чистой воде. Так что зря мы тащили удочки — рыбачить на озере можно было лишь с лодки. Да и само озеро, давшее название селу и такое большое на карте, вблизи удивило меня своей незначительностью. Крохотные лесные озера были куда живописнее, а вот таких чудесных деревень я еще не видел нигде.

Все было в ней очень уютно, чисто, убрано, иные из крыш были даже покрыты железом, и, быть может, впечатление этой аккуратности усиливалось оттого, что в отличие от колхозных деревень, где дороги были разбиты тракторами и после дождей колеи и ямы заполнялись водой и грязью, в Коргозере было необыкновенно тихо, опрятно. Можно было спокойно идти по самой середине улицы мимо чистых окон с резными наличниками, ровных оград и березовых поленниц, и от этой картины, пасущихся на сыром лугу коней, от тишины и покоя пахло такой стариной и привычной родиной, канунами, ладом и плотничьими рассказами, так заныло сладко сердце и захотелось здесь остаться, пожить и потолковать с людьми.

Признаться, я думал, что наше появление в Коргозере произведет больше эффекта. Однако никто не обращал на нас внимания, как если бы деревня располагалась на большаке и кто только через нее не ходил. Наконец мы остановили одну бабку — услышав, что мы из Осиевской, она обрадовалась и стала называть известные и неизвестные имена деревенских старух и мужиков, и оказалось, что она хорошо знала тюковскую матушку, с которой когда-то ходила на посиделки, и очень сокрушалась о Сашиной смерти.

А еще она рассказывала, как до войны жила несколько лет в Ленинграде на Литейном, и было странно слышать от нее названия петербург-

сих проспектов и дворцов и ужасно хотелось подольше с бабкой потолковать, узнать, почему поехала она в Питер и почему вернулась, как сложилась ее жизнь и как живется в тиши и одиночестве теперь, — все эти подробности представлялись мне чрезвычайно важными, и она звала нас зайти в дом и даже предлагала переночевать, почему-то совсем не боясь незнакомцев, и только сокрушалась, что не может ничем, кроме лука и картошки, угостить. Но Шура не был расположен в тот день к беседам, он потянул меня дальше и, когда я спросил его, неужели ему неинтересно, мельком поглядел в мою сторону:

— Представь, как ей станет тоскливо, когда мы уйдем.

У закрытого много лет назад магазина мы встретили двоих мужиков, поговорили о рыбалке и снова услышали жалобы, что раньше-де рыбы было много, а теперь она вся перевелась, и на всякий случай узнали, по каким дням уходит рабочий поезд из Сорок второго в Кадниковский.

Только теперь, достигнув Коргозера, я понял, что мои представления о его оторванности от мира были преувеличенными. Здесь был даже телефон. От Коргозера до Сорок второго, где жила прежняя хозяйка моего дома Тася Мазалева, вела довольно хорошая дорога, а Сорок второй — возникший вскоре после войны леспромхозовский поселок — при всей своей неуютности и искусственности был местом вполне обжитым, устойчиво связанным с железной дорогой, снабжением, почтой и медпунктом.

День был серенький, изредка собирался дождик, мы бродили по северной деревне, и мне хотелось узнать, почему люди облюбовывали те или иные места; наверное, она была очень старая и очень отдаленная — и если все здешние деревни располагались кустами по семь-восемь, а то и больше деревень, Коргозеро было единственным поселением, стоявшим обособленно. Отчего никто не захотел рядом — из удаленности от реки или жаждали простора и уединенности его первые поселенцы?

Но больше всего поразила меня одна изба, находившаяся на южном краю деревни. Что-то было в ней или, вернее, вокруг нее необычное и в то же время с детства знакомое. Я не сразу разобрал, что именно, и, только приглядевшись, понял. Возле дома росли яблони. Невысокие, больше похожие на кусты, может быть, какого-то особенного сорта. И снова вспомнился мне дед Вася: так вот, значит, где была граница тепла и холода, водораздел двух бассейнов рек, стекавших с одной стороны в Белое море, а с другой на юг — к Волге. Должно быть, она проходила именно здесь, через это лесное селенье, деля его пополам, и весною можно было увидеть, как по-разному тает с двух концов Коргозера снег.

Напоследок мы двинулись в сторону церкви. Она была открыта, но совсем не загажена, как многие из северных брошенных церквей, которые мне доводилось повидать, росписи на стенах не сохранились, однако неожиданно взгляд наткнулся на надписи на полу и стенах. Их делали, видно, дети, приезжавшие сюда на летние каникулы. Девичьи имена, годы посещения, но никакой похабщины, и одна очень странная, крупными буквами: «Гос., прости меня». Почему-то именно так, с сокращением. Я пробежал глазами по стенам, а потом увидел еще одну слабую, сделанную карандашом надпись. Пригляделся... «Здесь вешали хлеб...» Дальше шли фамилии, которые я не запомнил, и цифры: «1943», «1944».

В этой церкви в войну хранили и взвешивали муку. И мне представились голодные годы, изможденные женщины, которые не смели к этому хлебу прикоснуться, а дома их ждали дети — все знакомое по книгам или рассказам старух и подтвержденное этим странным, чудом сохранившимся документальным свидетельством миновавших времен.

К Падчеварам мы вышли уже в сумерках ни живые ни мертвые от усталости и не сразу поняли, что лодки на месте нету. Почти час искали ее по

всему берегу, еще на что-то надеялись, казалось, вот-вот она появится, и мы просто перепутали кусты, я весь окрапился, исцарапался и обсыпался листьями — но надеяться было не на что и нечего искать. Пока мы ходили по лесам, «Романтику» увели и скорее всего уже продали кому-нибудь за пару бутылок. Жалко было ужасно, наверное, так же, как мужу той ясеневской женщины, что мне ее по дешевке девять лет назад продала...

В темноте по лавам перешли речку, собрали ужин и опять сидели до утра в янтарной избе, выходили во двор, отворяли ворота, смотрели на звезды и далекие огни и никак не хотели уходить, вспоминали свое детство, студенческие годы, говорили про друзей, про детей, про наших рано умерших отцов. А наутро заколотили окна, закрыли двери, и дом остался посреди сырого поля. Я не знал, когда снова его увижу и увижу ли вообще — мало ли что может с каждым из нас случиться. И после того как изба скрылась за горушкой, подумалось, что, быть может, мой осенний поход в Коргозеро был прощанием с этой землей. Все было открыто, описано и украдено, поставлена точка, и на душе сделалось печально и сиротливо. Странно все это было. Как та последняя сухая падчеварская осень.



ДИНА МАЛЫШЕВА

*

ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Эхо Черного вторника

Международный контекст, созданный Черным вторником — трагедией, произошедшей в США 11 сентября 2001 года, — задал новое и достаточно противоречивое направление отношению немусульманского мира к исламу. С одной стороны, большинство политиков, государственных деятелей и средств массовой информации, отдавая дань политкорректности, заверяют, что не ставят знак равенства между понятиями «террорист» и «мусульманин», что операция США и их союзников в Афганистане направлена не против ислама, а против окопавшегося в этой стране «международного терроризма». С другой — в дебатах, которые ведутся по поводу произвольно обозначившейся связи «ислам и терроризм», вольно или невольно проскальзывает мысль, что именно приверженцам ислама легче всего совершать акты террора — и в силу прочно укоренившейся в сознании мусульман идеи жертвенности, мученичества, и по причине особенностей самого исламского вероучения с его догматом о предопределении, который доведен до полного фатализма и слепого подчинения судьбе. Добавляет черных красок в общую картину ислама и напоминание о том, что одной из главных религиозных обязанностей мусульманина является «священная война» с неверными (*джихад*).

В самом мусульманском мире военная операция в Афганистане лишь усилила и без того широко распространенные антизападные, антиамериканские, антиизраильские настроения. В массе своей рядовые мусульмане восприняли действия международной антиталибской коалиции как войну «неверных» с исламом. Этим они отличаются от своих правительств, почти единодушно поддержавших борьбу с международным терроризмом. Так, призыв Осамы бен Ладена начать священную войну «с крестоносцами и евреями» (США, Западом и ООН. — *Д. М.*) был официально отвергнут мусульманскими лидерами. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса заявил в связи с этим: бен Ладен «не может говорить ни от имени последователей ислама, ни от имени арабов»¹.

Напомним, что мусульманский мир, да и сам ислам более, чем какой-либо другой религиозно-культурный ареал, притягивал к себе внимание западного мирового сообщества задолго до Черного вторника и военной операции в Афганистане. И это не удивительно, если учесть как геополитическую значимость мусульманских государств Ближнего и Среднего Востока, Персидского (или, как его называют арабы, Арабского) залива, так и наличие на их территориях огромных запасов нефти. Можно поэтому предположить, что Запад, стремящийся к сохранению стабильности в этих жизненно важных регионах, интересовался исламом чисто прагматически — хотелось понять, является ли ислам стабилизирующим или же дестабилизирующим фактором.

Малышева Дина Борисовна — доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Центра проблем развития и модернизации Института мировой экономики и международных отношений РАН.

¹ Цит. по: Новопрудский С. Ренегат. Осам бен Ладен объявил войну исламу. — «Известия», 2001, 5 ноября.

В дебатах по этому вопросу алармизма предостаточно. Ислам нередко сводят к стереотипной триаде: «ксенофобия, насилие, женоненавистничество», а «великий страх» по поводу «исламского фундаментализма» и его вариаций — исламизма и интегризма — то и дело смыкается с идеями антимусульманства и даже расизма. Рассуждают о том, что именно мусульман отличает повышенная политизированность, склонность к экстремизму и терроризму во имя веры. Ставшее популярным благодаря книге американского политолога Сэмюэля Хантингтона, противопоставление Север — Юг (богатые — бедные) начинает интерпретироваться как неизбежность столкновения христианской и исламской цивилизаций. Но, разумеется, пишущие и говорящие об исламе на Западе демонстрируют и иные, более содержательные, подходы, в рамках которых мусульманская религия, исламская традиция рассматриваются как часть цивилизации, компонент общемировой культуры, образ жизни.

Примерно такой же разноречивой в трактовках и взглядах наблюдается в России, где общественное сознание, научная мысль стремится отразить новый феномен — «постсоветский ислам». Как и на Западе, внимание к этому явлению обусловлено не только академическим интересом, но и политическим императивом: Россия имеет собственную крупную мусульманскую общину и непосредственно соприкасается на своих южных границах с беспокойным морем ислама. В нынешней военной операции в Афганистане Россия и бывшие азиатские республики поддерживают своих бывших противников — моджахедов Северного альянса, в котором видят силу, способную создать барьер на пути проникновения в СНГ радикального ислама, носителями которого являются афганские талибы. Социологи отмечают, что под влиянием американских «ударов возмездия» по Афганистану, воспринятых россиянами (преимущественно немусульманами) в целом положительно, прежнее и достаточно терпимое отношение к исламу начинает меняться: так, на вопрос ВЦИОМ: «Изменилось ли после терактов в США и начала бомбардировок в Афганистане ваше отношение к исламу и мусульманам?» — больше трети опрошенных россиян ответили, что их отношение «намного или несколько ухудшилось»².

Итак, в западном, да и в российском общественном мнении именно ислам прочно ассоциируется с экстремизмом и терроризмом. Между тем примеры проявления «крайностей» предостаточно и в христианской, и в буддийской, и в индуистской, и во многих других религиозно-культурных средах, а рассуждения об особой нетерпимости мусульман к представителям других религий, воинственности ислама и его приверженцев опровергаются самой жизнью.

Во-первых, история, в том числе и современная, знает немало войн между самими мусульманскими государствами — между Ираном и Ираком в 1980 — 1988 годах или же между Ираком и Кувейтом в 1990-м. Вступают в вооруженную междуусобицу и приверженцы разных течений ислама: сунниты против шиитов и ахмадийцев в Пакистане; алавиты, сунниты и шииты в Ливане. Но не меньшую враждебность проявляют друг к другу и немусульмане — приверженцы разных вероисповеданий: вспомним о длительной конфронтации католиков с протестантами в Северной Ирландии или конфликте тамил-индуистов с сингалами-буддистами на Шри-Ланке.

Во-вторых, внутррелигиозные разногласия в исламе (между шиитами и суннитами, между шиитскими сектами и проч.) острее, чем проявления враждебности к иным религиям. И этим ислам мало чем отличается от того же христианства, где разногласия, скажем, Русской православной церкви с Ватиканом или с украинскими униатами куда острее, нежели отношения, которые сложились у РПЦ с российским исламом. И вообще ислам не проповедует вражды к иным религиям: христиане, иудеи и другие религиозные общины обозначены в Коране как «люди Книги», так как имели, как и мусульмане, свое Писание, а потому обладают статусом «покровительствуемых».

² Ильичев Г. Дружба через войну. — «Известия», 2001, 5 ноября.

Наконец, что касается найденных в исламском вероучении оправданий действий террористов-смертников как мучеников веры, то представления о том, что воин, павший в бою, попадает в рай, свойственны не только исламу, но и другим религиям. К тому же мученичество, *шахидизм* (от слова *шахид*, буквально «свидетель» — тот, кто жертвует своей жизнью, чтобы засвидетельствовать свою преданность вере) больше свойственны догматике и культовой практике шиитской ветви ислама, где идея страдания и искупления — один из важнейших элементов вероучения. К тому же на совершение акта самопожертвования ради идеи решаются и представители иных конфессий, и члены вполне светских организаций, и просто далекие от религии люди. Достаточно вспомнить эсеров-«бомбистов» в России, японских камикадзе, подвиги времен Отечественной войны, другие, относящиеся уже к новейшей истории, эпизоды: подорвавшую себя вместе с Радживом Ганди террористку-тамилку, «Красные бригады» в Европе... Словом, акции мусульман-фанатиков, уносящих жизнь других людей в Америке, Израиле либо Ливане, имеют опосредованное отношение к исламу как религиозной системе. Однако сама исламская религия объявляет запретным убийство невинных людей и покушение на чужую собственность. Так, ведущие государства мусульманского мира, в числе которых была и Саудовская Аравия, осудили террористические акты 11 ноября, квалифицировав их как «нарушение заповедей всех небесных религий, всех нравственных и человеческих ценностей»³.

Ислам как религиозная система

Ислам, будучи исключительно «сильной» религией, далеко не сводящейся только к вере в Бога, представляет собой образ жизни, образ мыслей, более того — основу целой цивилизации. Предписания ислама пронизывают жизнь мусульманина от рождения до самой смерти, во многом определяя его социальное поведение. Ислам в значительной степени определяет характер экономических отношений, формы государственного управления, социальную структуру — словом, он сохранил до настоящего времени свою жизнеспособность как мощная религиозно-культурная традиция.

В то же время о мусульманском мире как о некоей целостности можно говорить лишь условно. Исповедующие ислам народы по своим языкам, обычаям, культуре, традициям существенно отличаются друг от друга, да и сама мусульманская религия в различных странах и регионах часто испытывала на себе воздействие местных верований и традиций. Отсюда — своеобразный синкретизм, столь зримо присутствующий, к примеру, в яванском, северокавказском, африканском «исламах». Как справедливо замечает исследователь этой религии Фредерик Денни, «мусульмане обитают по меньшей мере в двух культурных сферах. Одна из них — врожденная и впитанная с молоком матери местная культура родной страны, этнического окружения, другая — приобретенная и осознанная принадлежность к исламу, всей мусульманской культуре»⁴.

Ислам — динамично развивающаяся религия, свидетельством чему служит стремительно увеличивающееся число его приверженцев. В наши дни ислам представлен более чем в 120 странах мира (включая Россию и составляющие ее субъекты) и занимает после христианства второе место в мире по числу верующих — 1,2 млрд. человек. Крупнейшим мусульманским государством является Индонезия, затем идут Индия, Пакистан и Бангладеш. В большинстве государств Ближнего и Среднего Востока (и в некоторых африканских стра-

³ Об этом заявил временный поверенный в делах Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Мунир Ибрахим Аль-Бенджаби. См.: Мунир Ибрахим Аль-Бенджаби. Необходим диалог двух цивилизаций. Действия движения «Талибан» нанесли большой урон исламу и мусульманам. — «Независимая газета», 2001, 6 ноября.

⁴ Денни Ф. М. Ислам и мусульманская община. — «Религиозные традиции мира». Том 2. М., 1996, стр. 7.

нах, где мусульмане составляют значительную часть населения) ислам объявлен государственной религией.

Но приверженцы ислама есть и в других частях света. В США, где церковь отделена от государства и потому вопрос о вероисповедании не включен в официальные переписи населения, по приблизительным подсчетам мусульман от 4 до 6 млн. — больше, чем традиционных для этой страны протестантов⁵. В Германии насчитывается около 3 млн. мусульман⁶, подавляющее большинство которых составляют турки, и ислам стал в этой стране второй по значимости религией. Францию избрали местом своего проживания более 4,5 млн. выходцев из мусульманских стран (главным образом арабских). В других западноевропейских государствах — Испании, Великобритании, Италии — также наблюдается быстрый рост мусульманского населения. Даже скандинавские страны, находившиеся долгое время на периферии мировых миграционных процессов, ощутили приток мусульман, многие из которых бежали из конфликтных зон. В Восточной и Центральной Европе — в особенности в Болгарии, бывшей Югославии и Албании — исламский фактор заметно усилил свое воздействие на общественно-политическую жизнь. В Китае в местах компактного проживания мусульман (Синьцзян-Уйгурский автономный район) численность последних (около 18 млн. человек) растет, но не быстрее, чем население всей страны в целом.

В России — по разным оценкам — насчитывается от 12 до 20, а по некоторым данным — до 30 млн. мусульман. В Азербайджане с его семимиллионным населением, в Узбекистане (23 млн.), Таджикистане (5,7), Киргизии (4,6) и Туркменистане (4,7) мусульмане приблизительно составляют 90 процентов от числа всех граждан. В Казахстане, где доля казахов в шестнадцатимиллионном населении республики превышает 50 процентов, мусульман почти 65 процентов. На Украине компактно проживающие в Крыму и исповедующие ислам крымские татары (около 260 тыс., или 12,5 процента населения полуострова) стали фактором политической и экономической жизни, с которым уже не могут не считаться местные государственные структуры⁷.

С момента зарождения ислама в VII веке и его победоносного шествия в Средние века быть мусульманином означало — принадлежать к цивилизации победителей: мусульманская империя простиралась от Испании на западе до Индии на востоке. Тогда в мусульманском мире зародились представления об особом предназначении ислама, о непосредственной связи между религией и успехами в мировых делах. Однако события Нового времени — начиная с покорения Египта, считавшегося сердцем мусульманского мира, Наполеоном в 1798 году и последовавшие затем европейские колониальные завоевания, вынудившие мусульман жить под европейским правлением, — привели к утрате исламом своих позиций и стали для исповедовавших эту религию болезненным шоком.

Мусульмане отвечают на вызовы современности

В новейшее время мусульманские государства оказались на периферии постиндустриального мира. Малайзийский ученый и общественный деятель Анвар Ибрахим пишет в связи с этим: «Хотя мусульмане составляют одну пятую всего мирового населения, более половины из них (свыше 500 млн.) живут в условиях абсолютной бедности».

⁵ Козловский В. Заокеанская Мекка. Мусульманские радикалы чувствуют себя в Америке как дома. — «Время новостей», 2001, 25 сентября.

⁶ Здесь и далее данные по: Тульский М. Ислам в неисламском мире. — «Независимая газета», 2001, 29 сентября.

⁷ «Страны мира». Справочник. М., «Республика», 1999; Юс и н М. Исламский мир накануне войны. — «Известия», 2001, 19 октября.

Осознание этого породило в исламских обществах фрустрацию и растерянность. Возник «синдром неполноценности» и ощущение того, что национальной идентичности грозит смертельная опасность быть уничтоженной не в результате военного вторжения, а мирно, путем внедрения «западной отравы», как именуют консерваторы в арабских странах и Иране рыночную экономику, светские идеалы, общество потребления.

Травма современного ислама — в контрасте между ушедшим в историю расцветом средневекового ислама и нынешним бедственным положением многих мусульманских государств, в углубляющемся различии между «бедными» мусульманскими государствами и процветающим христианско-западным миром. Выход из этого затруднительного положения в мусульманских странах пытаются искать в основном в следующих альтернативных проектах:

в секуляризме, который означает выведение шариата как юридической системы из области общественных отношений;

в реформизме, или модернизме — путем согласования ислама с достижениями современной науки, с новыми общественно-политическими реалиями;

наконец, третьей альтернативой становится фундаментализм, или его разновидность — исламизм, который пронизан идеями политического радикализма.

В целом модернизацию частично удалось осуществить лишь в немногих государствах Азии и Африки, в числе которых — государства Персидского залива. Несколько десятилетий ускоренных социально-экономических преобразований по капиталистическому пути привели эти некогда архаичные восточные общества к поистине революционному скачку из отсталости в современный, постиндустриальный мир. И хотя исламская составляющая на общественном и государственном уровне в монархиях Персидского залива выше, чем в большинстве других мусульманских стран, здесь утвердились определенные элементы секуляризации государственно-правовой системы. Таковы, например, существующие в Саудовской Аравии консультационные советы, построенные по принципу *шуры* — совещательной традиции в исламе.

Но в большинстве исламских государств секуляризация, а с ней и модернизация встретили стойкое сопротивление. Ценности европейского безрелигиозного гуманизма там не прижились. Пожалуй, всерьез о приверженности секуляризму на государственном уровне заявлено только в Индии и Турции, где многое делается для того, чтобы религия становилась частным делом. Правящие элиты в этих государствах последовательно, на протяжении нескольких десятилетий, следуют принципу секуляризма, стремятся сделать государство независимым от религиозных организаций и духовенства, добиться равноправия религий. При этом приверженность секуляризму не стала синонимом осуществляемого «сверху» насильственного перевода религиозности масс в сторону нерелигиозности. Она свелась лишь к отделению религии от других сфер социально-политической деятельности.

В то же время в современной истории можно найти немало обратных примеров, когда неосторожная, непродуманная попытка «задвинуть» ислам на второй план во имя реализации какого-либо модернизаторского проекта приводила к трагическим последствиям, к расколу общества, своего рода «реакции отката». Наиболее яркий пример — Афганистан, где после попыток «запретить» религию в период правления левых прокоммунистических сил на политическую арену вышла новая, ранее не участвовавшая в межафганском конфликте сила — исламское движение «Талибан» (от слова *талиб*, означающее «спрашивающий», «находящийся в поиске»; талибы — это также «благочестиво постигающие ислам» ученики духовных и религиозных наставников). До антитеррористической операции осени 2001 года движение контролировало 90 процентов территории Афганистана и в восприятии немусульманского мира стало воплощением фанатизма, варварства и обскурантизма. В известной мере так оно и было, поскольку талибы использовали «исламское оружие» для ра-

дикального переустройства общества — в сторону реанимации религиозно-патриархальных устоев и насильственного утверждения их.

Другой пример — Алжир. Здесь в течение нескольких десятилетий проводился социалистический эксперимент. После краха главного спонсора мирового социализма — Советского Союза в этой арабской стране началась гражданская война, породившая терроризм «с религиозным лицом». В Иране шах, продемонстрировав пренебрежение к религиозной традиции в ходе реализации светской прозападной модели, не смог предотвратить исламскую революцию. В результате победил теократический режим Хомейни, а Иран, истерзанный кровавой гражданской междоусобицей, этническими распрями, вооруженным конфликтом с Ираком, оказался на протяжении длительного периода искусственно изолирован от мировых экономических и политических процессов, отброшен в своем развитии назад.

С выходом на политическую арену социальных групп, чья жизнь оказалась дезориентирована, нарушена в результате модернизации, быстрых социальных и общественных перемен, связано явление *политизации ислама*. Это — своего рода радикальный ответ мусульманского мира на вызовы, рождаемые современным развитием. Этому феномену способствовали периоды социальных и политических кризисов, внутренней и международной нестабильности, когда экономические трудности, политические потрясения, идеологическая путаница работали в пользу лозунгов «обновленного», «очищенного от западной скверны» исламского общества, а ислам превращался в наиболее доступный и приемлемый способ обретения национальной идентичности.

Политизации ислама способствовала и сложившаяся в большинстве государств исламского мира политическая атмосфера: они отстают в создании структур гражданского общества, утверждении демократических прав и свобод. Гарантами стабильности во многих странах является армия с присущим ей специфическим пониманием демократии и прав человека; диктаторские и авторитарные режимы остаются главной политической приметой мусульманского мира. В условиях отсутствия, подавления или запрета политической оппозиции, партий, профсоюзов, массовых политических организаций, поправки гражданских свобод — мечеть, религиозно-политические и националистические объединения и движения становятся единственно доступной формой противостояния власти.

К числу обстоятельств, благоприятствующих превращению ислама в политическое оружие, относится и то, что мусульманский истеблишмент в политических структурах стран Азии и Африки — одна из немногих сравнительно независимых и сильных «групп давления». Она устанавливает нормы поведения, которым должны следовать общество и государственные руководители, ответственные за принятие решений. Возвращая общество к истокам, традициям, в том числе и религиозным, идеологи политического ислама утверждают таким способом культурную самобытность, противопоставляют «превосходящие духовные ценности» Востока, занятого «поисками бога», Западу, погрязшему в материализме. В движениях, вдохновляемых идеями политического ислама, ощущается стремление очистить мусульманское общество от западной «скверны», создать новую модель, противостоящую «глобальной системе империализма», которую поддерживают «богатые в богатых странах совместно с богатыми в бедных странах».

Фундаментализм и исламизм

Идеологическую базу современного политического ислама составляет фундаментализм. Его цель состоит в том, чтобы укрепить веру в фундаментальные источники ислама, привести нормы общественной и личной жизни каждого мусульманина в соответствие с религиозными заповедями, заставить верующих неукоснительно выполнять предписания Корана и шариата, утверждать основы исламской экономики, которая строится на принципах социальной спра-

ведливости. Как заявлял видный мусульманский теоретик Аболь Хасан Бани Садр, «мы будем производить в соответствии с нашими возможностями и потреблять в соответствии с добродетелями каждого». Падение веры и нравственное разложение общества трактуется как результат культурной и политико-экономической экспансии Запада (подобные настроения, кстати, распространены и в фундаменталистско-православной среде государств Центральной и Восточной Европы). Фундаменталисты выдвигают претензии и на универсальную значимость своей религии — вспомним знаменитое письмо Хомейни Михаилу Горбачеву, в котором об исламе говорится как о светлом будущем всего человечества.

Для крайних, экстремистских течений политического ислама, именуемых в литературе *исламизмом*, характерно агрессивное неприятие европейско-христианских духовных ценностей, повышенная политическая активность, готовность прибегнуть к насильственным методам, включая террористические.

Трансформация веры в идеологию, подчас радикальную, определяет политическую позицию исламистов, которые фактически смыкаются с экстремистскими политическими партиями, выступающими против принципов демократии, прав человека и свободы совести. Исламисты ратуют за сильную власть, за жесткий моральный и идеологический порядок. По своему духу это течение близко к старым радикальным утопическим идеям новейшего времени. Его можно рассматривать и как своего рода исламскую вариацию марксизма-ленинизма, а то и фашизма (исследователями давно подмечено сходство программных установок египетской Организации «Братьев-мусульман», возникшей в 30-е годы XX века, с фашистскими идеями).

Долгое время исламско-фундаменталистский проект оставался утопией, идеалом, к которому стремились отдельные политики и общественные движения. Ныне исламская оппозиция в фундаменталистском обличье существует во всех государствах, где есть приверженцы ислама. В ряде государств (Алжире, Египте, Израиле, Ливане) исламисты прибегают к насилию, пытаются заставить общество и власть принять их программу.

Исламские радикалы, идейные последователи имама Хомейни, выступают с пропагандой жесткого, замешанного на ненависти к Западу национализма, с популистскими, демагогическими и шовинистическими призывами. Лидер турецкой партии Рефах — Партии благоденствия (ныне — Партии добродетели) Неджметдин Эрбакан, шейх суфийского братства Накшбандийя и красноречивый политик, постоянно употребляющий в своих речах слова «благоденствие», «процветание», «счастье», связывает ислам с идеями социальной справедливости и общественного порядка, с отторжением чуждых, по его мнению, исламскому обществу западнохристианских ценностей.

Аналогичным образом действуют Братья-мусульмане в Египте, Фронт исламского спасения в Алжире, Хамас в Израиле, Партия Аллаха в Ливане, другие экстремистские организации в мусульманских странах. Все они ориентируются на антикапиталистически настроенную часть общества: на выбитых из развития модернизацией и индустриализацией маргиналов, но также и на «национальную» интеллигенцию, студенчество, представителей других общественных слоев, пострадавших от реформ, «новшеств» и преобразований.

Исламисты успешно освоили критическую риторику в адрес «империализма» и заявляют, что выступают в защиту трудящихся. Они действительно создают общественные и политические структуры (мечети, молельные дома, профсоюзы, больницы, банки, школы), действующие параллельно и в обход государства. Их лидеры чаще, чем официальные власти, апеллируют к простому человеку, выдвигая популистские, понятные «человеку с улицы» лозунги. Контролируемые исламистскими организациями структуры прикармливают обездоленных и безработных, дают возможность самовыражаться людям, исключенным из процесса общественного развития.

Все современные фундаменталисты утверждают, что возврат к эгалитаризму шариата и к воссозданию правил общественной жизни, обязательных для «ис-

тинных», «правоверных» мусульман, — это действенный способ борьбы с коррупцией, эксплуатацией, преступностью, которые возникают, по их мнению, из-за того, что в мире доминируют западная «материалистическая» система и либерализм (а десятилетиями раньше господствовали социализм и марксизм).

В ряде стран фундаменталистам удалось приблизиться к практическому воплощению своего идеала. В Египте, Йемене, Иордании они вошли в правительственную коалицию, а в Турции — возглавили на короткое время правительство. Есть несколько государств, где фундаменталистский проект был реализован. В первую очередь это произошло в Иране. Там после победы исламской революции и особенно в пору расцвета хомейнизма была сконструирована новая общественная система, базирующаяся на «исламском фундаменте», представляющая своеобразный синтез революционной и религиозной идеологий.

Другими странами, где был реализован фундаменталистский проект, можно считать Судан и талибский Афганистан. В этих государствах фундаментализм реально изменил ход общественных процессов. Внешне они выглядят как возвращение к истокам ислама, как архаизация общества — в наиболее утраченном виде это проявляется в разрушенном гражданской войной Афганистане, где талибам не пришлось прилагать особых усилий, чтобы заставить обнищавшее и пауперизированное население отказаться от «новшеств», то есть от тех достижений цивилизации, которых оно или и вовсе не имело, или давно лишилось.

Было бы ошибочным считать все население и все правящие круги в мусульманских странах единомышленниками исламистов или же фундаменталистов. В Египте, например, террористические акции исламистов, совершенные против иностранцев, вызвали недовольство и резкую критику: из-за угрозы террора снизилась посещаемость туристических объектов, что сразу же сказалось на доходах живущих за счет этого египтян. Другой пример — Алжир. Здесь развязанная Фронтом исламского спасения и другими экстремистскими организациями кампания террора против интеллигенции и журналистов так напугала средний класс, что он предпочел тяготы чрезвычайного положения неконтролируемым действиям отрядов воинствующего ислама.

В других государствах, где имеются влиятельные мусульманские общины, исподволь пробивает себе дорогу светская государственная модель. Здесь многие приходят к осознанию того, что только она и обеспечивает включение в процесс глобального развития, без которого в наши дни нереально построение процветающего общества. В ряде случаев (как это было в Алжире и Турции) военные попросту отстраняют фундаменталистов от власти, запрещают их легальную деятельность. Это имеет, правда, и обратную сторону. В Алжире после аннулирования итогов парламентских выборов 1991 года, лишившего исламистов возможности прийти к власти законным путем, развернулось масштабное террористическое движение. В Турции партия Рефах, стабильно собирающая на выборах не менее 20 процентов голосов, перешла после своего запрета в начале 1998 года на нелегальное положение, что усилило позиции сторонников экстремизма.

С окончанием «холодной войны» экстремистские течения в мусульманском мире из «государственных», находившихся под контролем одного или нескольких центров, превратились в «стихийные», полицентрические, гораздо менее управляемые. Это отчетливо видно на примере организаций религиозно-экстремистского толка в палестинском движении, которые, как представляется, неподконтрольны ни Организации Освобождения Палестины, ни ее лидеру и главе Палестинской автономии Ясиру Арафату. Потому общества и государства в развивающихся странах и за их пределами по-прежнему уязвимы перед выбросами насилия, прикрываемого религиозно-экстремистской риторикой.

Хотя к концу 90-х годов исламистская волна пошла на спад, ее новых приливов не удалось избежать в отдельных государствах: правящие элиты в них либо не смогли разрешить давнишнего политического противостояния,

как в Израиле, например, либо оказались не в состоянии нейтрализовать болезненные вызовы современности.

Постсоветский ислам

Советская власть нанесла значительный ущерб культуре народов, исповадовавших ислам: в рамках проводившейся в масштабах всей страны кампании по искоренению религии было закрыто и уничтожено множество мечетей, медресе, мусульманских библиотек и изданий, культурных центров. Был осуществлен жестокий террор против мусульманских священнослужителей и рядовых верующих, национальной интеллигенции и национальных кадров. В то же время советская власть в строгом смысле слова ни в советской Средней Азии, ни в Азербайджанской ССР не существовала: партийный функционер воспринимался здесь в первую очередь как опирающийся на родственный клан представитель власти и уж только потом как носитель коммунистической идеологии⁸. Да и сами религиозные гонения носили в этих мусульманских республиках, если так можно выразиться, более сдержанный характер по сравнению с религиозными преследованиями «собственно российских» мусульман — татар, башкир, которые не воспринимались коммунистическими идеологами как представители мира ислама.

В конце 80-х годов события на Ближнем и Среднем Востоке — исламская революция в Иране и война в Афганистане — в известной мере стимулировали подъем исламского политического движения в республиках советской Средней Азии. В связи с этим, как отмечает российский исследователь, произошло не только резкое повышение общественного внимания к исламу, но и утверждение негативного стереотипа, связанного с этой религией⁹.

В годы перестройки и после распада СССР исламская проблематика в России и государствах СНГ быстро перешла в разряд «горячих» тем. Во многом это было обусловлено переменами, начавшимися в постсоветском мусульманском пространстве: исповедующие ислам народы бывшего Советского Союза начинают преодолевать почти вековую искусственную изоляцию от исламского мира, втягиваться в орбиту экономического, политического и религиозного влияния государств Ближнего и Среднего Востока. При этом они приобщаются не только к высокой культуре ислама, но и к различным, в том числе и политизированным, течениям этой религии. В полный голос заявил о себе политический ислам, а война в Чечне, обострив этнические и религиозные противоречия на Кавказе, стимулировала рост религиозного экстремизма. Все это диктует необходимость пристальнее взглянуть на эволюцию собственно «российского» ислама, который становится все более значимым фактором общественной жизни нашей страны.

Северокавказское измерение «российского» ислама

Особую актуальность приобретают в связи с этим вопросы, связанные с определением позиции России в отношении мусульманского мира. «Евразийский» подход (его давним и последовательным пропагандистом является российский общественно-политический деятель, лидер «Исламского комитета» Гейдар Джемаль) подразумевает место России в рядах мусульманских, а не западных государств, что обусловлено общностью истории российских мусульман и славянства, мировоззренческим сходством ислама и православия. Данная позиция встречает сильные возражения тех, кто не видит принципиальной разницы между исламом и исламизмом и считает, что выбор в пользу антизападного альянса с мусульманским миром — это выбор реставрации тоталитар-

⁸ См. подробнее: Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М., 1995.

⁹ См.: Кудрявцев А. Исламофобия в постсоветской России. — «Ислам в СНГ». М., 1998, стр. 164.

ного режима в России. Как подчеркивает российский специалист по исламу Е. Трифонов, «сторонникам нишей милитаристской России следует уяснить, что она не будет ни лидером, ни „первой среди равных“ в мире исламских государств. Встав в их ряды, Россия останется чужой для них, сколько бы ни рассуждали о близости ислама и православия. „Союзники“ так же, как во времена Насера, Касема, Нимейри и Барре, будут требовать хлеба и оружия, военной, экономической, финансовой, дипломатической поддержки, причем бесплатно, используя в случае необходимости угрозы и шантаж»¹⁰.

Представляется все же, что в силу исторической и культурной традиции взаимосвязи с исламом, многонационального и многоконфессионального состава российского государства, наконец, в силу географического фактора Россия не может позволить себе абстрагироваться от протекающих в исламском мире процессов. Ведь ислам — это вторая после православия доминирующая в России конфессия, которая давно превратилась для мусульман в существенный фактор обретения национальной идентичности. Россия заинтересована в поддержании в мусульманских регионах политической стабильности, что невозможно без ровных отношений с мусульманским сообществом, в том числе и тем, где силен радикальный настрой.

В России сторонники политического ислама не сумели пока формализоваться в качестве влиятельных движений, партий, организаций, как это произошло в странах Третьего мира. К тому же если на мусульманском Востоке сторонники умеренных религиозно-фундаменталистских течений видят в исламе стержень, который позволяет сохранить исламскую цивилизацию в условиях доминирования Запада, то в России фундаментализм замутнен, захвачен идеологией шовинизма и псевдокоммунизма.

Сторонников политического ислама на Северном Кавказе называют ваххабитами — по аналогии с одноименным религиозно-политическим течением, получившим распространение в Аравии и на других территориях Арабского Востока в середине XVIII века и названным по имени своего основателя, богослова-правоведа Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба (арабы предпочитают употреблять другое наименование — *салафиты*). Приверженцы последнего требовали возврата к простоте первых веков ислама, полного отказа от «новшеств», не нашедших прецедентов в правоверных преданиях, не освященных согласованным решением богословов и потому противоречащих Сунне; исключения любого культа, включая и культ пророка, святых и могил. В обыденной жизни они запрещали алкогольные напитки, музыку, танцы, современную одежду. Действуя под лозунгом джихада и борьбы с многобожием (*ширк*), ваххабиты совершили нападение на центр шиитского паломничества Кербелу — в 1801 году, разрушили в 1803 году святыни Мекки, а в 1804-м — Медины. Ваххабизм, кроме того, сыграл важную историческую роль в деле объединения разрозненных арабских племен и противодействия османскому влиянию на Аравийском полуострове.

Хотя ваххабизм в прошлом и был признан государственной идеологией государства Саудитов, ошибочно было бы ассоциировать его с современной Саудовской Аравией. По свидетельству известного востоковеда И. Александрова, «в основополагающих документах королевства нигде не делаются ссылки на ваххабизм как на официальную религиозную доктрину», ваххабизм не упоминается в качестве идейно-политической основы ведения государственных дел в заявлениях короля и других высокопоставленных представителей саудовского истеблишмента, и вообще «о ваххабитском движении, как правило, говорится в историческом контексте или при рассмотрении сугубо религиозной проблематики»¹¹.

¹⁰ Трифонов Е. Россия всегда была частью Европы. Игры в евразийство противоестественны — «НГ-Сценарии», 1998, № 4.

¹¹ Александров И. А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М., 2000, стр. 184.

Появившиеся на Северном Кавказе на рубеже 80 — 90-х годов так называемые «ваххабиты», то есть пропагандисты «истинного, чистого ислама», хотя и близки по духу аравийским ваххабитам, однако скорее представляют собой местную разновидность фундаментализма. Они противостоят другим бытующим здесь формам мусульманской религии: шафиизму — одной из религиозно-правовых школ, к которой относит себя часть верующих мусульман; мюридизму — суфийскому (мистическому) течению в исламе; «народному исламу» — адаптированным к кавказским историческим реалиям мусульманским традициям и обычаям. Северокавказские сторонники «чистого ислама» выступили с призывами привести местный ислам в соответствие с нормативным пониманием этой религии. Так, они настаивают на отказе от поклонения святым местам (зияратам), от культа местных святых и шейхов, почитания стариков (поскольку это не соответствует принципу таухида — единобожия), от такого ритуального обряда тарикатов, как зикр, то есть мистическое радение, во время которых впадали в экстаз и сливались с Богом.

Предпосылки распространения «ваххабизма» на Северном Кавказе легко просматриваются в экономической и социальной сферах. Что касается «спонсорства» ближневосточных государств над «ваххабитскими» движениями Северного Кавказа, то в этом вопросе все еще очень трудно отделить мифы и пропаганду от истины. По некоторым данным, опеку над последними осуществляют исламские радикальные объединения Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Пакистана. Ситуацию на Северном Кавказе напрямую связывают и с не спадающим уже много лет напряжением в Афганистане, в частности, с обосновавшимся в этой стране «спонсором международного терроризма» Осамой бен Ладеном. Высказывается предположение, что с помощью северокавказских течений «агрессивного ислама» их ближневосточные покровители собираются провозгласить в Дагестане и Чечне нечто похожее на имамат, отделить обе северокавказские республики от России и создать коридор, который соединит Северный Кавказ с Каспием и Азербайджаном¹². С другой стороны, представители масхадовской администрации неоднократно обвиняли американские и израильские спецслужбы в намеренном провоцировании религиозного конфликта между различными течениями ислама на Северном Кавказе, поскольку это может облегчить ввод в регион войск ООН¹³.

Трудно сказать, основаны ли такого рода подозрения на фактах и реальных событиях или же они являются следствием пропагандистских мероприятий, а то и прямой дезинформации со стороны заинтересованных политических сил как на Северном Кавказе, так и в Москве. По-видимому, все же есть вероятность участия неправительственных организаций стран Ближнего и Среднего Востока не только в поддержке борьбы за чистоту исламского вероучения на Северном Кавказе, но и в поощрении, финансировании и вооружении исламских экстремистов. Однако на официальном правительственном уровне такого рода вовлеченность вряд ли существует, и исламские государства публично опровергают причастность к подобной деятельности: например, Королевство Саудовская Аравия выступило в сентябре 1999 года с заявлением, что само борется против терроризма и не вмешивается во внутренние дела других государств. В таком же духе высказались другие арабские страны¹⁴.

Следовательно, с одной стороны, появление «ваххабизма» на Северном Кавказе связано с тем, что ислам усиливает здесь роль компонента общественного сознания и образа жизни, все быстрее превращается в существенный фактор обретения национальной идентичности. И нарастающее влияние ис-

¹² Клочков А. Ваххабитский полумесяц. — «Коммерсантъ-власть», 1999, № 33, 24 августа, стр. 18 — 20; Челноков А. Ваххабиты в Тобольске. — «Совершенно секретно», 1999, № 10.

¹³ Акаев В. Х. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. М., 1999, стр. 14.

¹⁴ См.: Игнатенко А. Фантом, созданный ЦРУ-2. — «Независимая газета», 1999, 21 октября

ламских стран Ближнего и Среднего Востока и распространенных там направлений ортодоксального ислама в немалой степени способствует этому. Но с другой стороны, формирование этого религиозно-политического течения связано с внутренним фактором — социально-экономической нестабильностью, безработицей, обнищанием населения, незащищенностью личности и засилением клановой системы в мусульманских северокавказских автономиях.

Поскольку принципы этого религиозно-политического движения вступают в противоречие с прочно устоявшимися на Кавказе традициями быта, обычаев и культуры, образцами светского поведения и этикета, это нередко вызывает негативную реакцию со стороны рядовых верующих. Есть и другое объяснение враждебности к этому явлению. Местный религиозный и политический истеблишмент усматривает в реформистских призывах идеологов нового течения покушение на свою власть, а потому обвиняет сторонников «чистого ислама» в «подрыве устоев», экстремизме и других грехах. Тем более, что иногда к этому имеется основание: под религиозными знаменами на Северном Кавказе объединяются в настоящее время не только верующие, но и радикальные политики, и те, кто бросает вызов территориальной целостности России: речь идет о таких экстремистских организациях и движениях, как «Исламская нация», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «Кавказская конфедерация». Исходным материалом для лепки экстремизма становится в условиях экономического кризиса и политической нестабильности молодежь, а также представители этнических групп и кланов, отстраненных от власти.

Центральноазиатский исламорадикализм

В ряде государств региона не удается предотвратить спорадические вспышки насилия, решить проблемы, связанные с распространением исламорадикализма. К таковым относятся события в Таджикистане в период гражданской войны (февраль 1990 — 1997 годы).

В этой самой слаборазвитой республике бывшего Советского Союза имелась «благоприятная» социальная база для нестабильности: массовая безработица, малоземелье, низкий уровень жизни большинства населения. Однако конфликт в Таджикистане едва ли может быть сведен к формулам: «исламизм против светского государства», хотя некоторые лидеры Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) сделали ислам идейным и духовным знаменем своей борьбы в противовес официальной коммунистической идеологии, которую исповедовали их противники. Но и те и другие опирались на родственные им кланы и население «своих» регионов. Да и большинство жителей, осуждая религиозный радикализм, стремились к тому, чтобы их республика оставалась светским государством.

В Узбекистане к концу 90-х годов сформировалось сильное оппозиционное религиозное движение, обретшее к тому же и вооруженное крыло: оно планировало свержение светского режима и введение законов шариата. Главным объектом внимания исламистов была выбрана Ферганская долина, где в 1999 и 2000 годах произошли вооруженные столкновения, напрямую связанные и с внутритаджикской межклановой борьбой, и с войной в Афганистане. Ферганская долина стала средоточием активности мусульманских экстремистов не случайно: она имеет самую высокую плотность населения, самый высокий его прирост и самую высокую безработицу. Но конфликт там вызван не только задачами «освобождения территорий ислама от неверных». Талибы были заинтересованы в сохранении и расширении контроля над «северным маршрутом» транспортировки афганского героина в Россию и Западную Европу. После прихода к власти они увеличили производство наркотиков (Афганистан поставлял 70 процентов производимого в мире опиума-сырца, а в 1999 году был собран рекордно богатый урожай — в два раза больше обычного), и международная наркомафия значительно активизировалась в поисках новых маршрутов. На новом, «северном» маршруте, проходящем по Таджикистану,

Узбекистану, Киргизии и Казахстану, таджикские боевики и узбекские «исламисты» используются талибами для прокладывания и охраны «героиновых троп».

Есть и другие причины возникшей в Узбекистане конфликтной ситуации, связанные со спецификой экономического и политического развития страны. В начале 90-х годов узбекские власти поощряли развитие исламской культурной традиции: открывались новые мечети, в Намангане и Андижане фактически всем руководила религиозная община, мусульманская молодежь имела возможность получать религиозное образование в исламских центрах арабских стран, Пакистана, Ирана. Однако ислам в Узбекистане стал быстро политизироваться — но не столько под воздействием агитации мусульманских пропагандистов, сколько вследствие неспособности светской власти обеспечить сносное и безопасное проживание ее гражданам. Гражданская война в Таджикистане, попытка в Узбекистане сформировать религиозную оппозицию, студенческие выступления в январе 1992 года напугали власти, которые начали гонения активистов запрещенных партий и движений, отнесенных к разряду «религиозно-экстремистских», — Исламской партии возрождения, «Адолат» («Справедливость»), «Товба». Заодно репрессиям подверглись и вполне светские политические объединения — «Эрк», «Бирлык» и другие, лидеры и активисты которых попали в «черные списки», а затем очутились либо в тюрьмах, либо в эмиграции.

Но вместе с действительно имевшими место проявлениями экстремизма и фанатизма узбекские власти безжалостно подавили и своих потенциальных политических соперников, и ростки исламского возрожденческого движения, причем не только в своей стране, но и в соседнем Таджикистане. Таким образом, в Узбекистане, так же как это произошло ранее в Таджикистане, реализовался одинаковый сценарий: светские оппозиционные движения, стоявшие на умеренной политической платформе или же занимавшиеся культурно-просветительской деятельностью, были запрещены и разгромлены. Репрессии властей вынудили оставшихся на свободе (и в живых) оппозиционеров либо покинуть свои страны, либо уйти в подполье, либо примкнуть к антиправительственным силам. На поверхность вышли экстремистские организации (наподобие Исламского движения Узбекистана) — апологеты насилия, связанные с такими структурами, которые способны были оказать помощь в приобретении оружия, организации лагерей подготовки боевиков и проч.

Борьба узбекских властей с исламистами в итоге не привела к их уничтожению, но породила новые проблемы. К тому же существование талибского режима в непосредственной близости от границ этого центральноазиатского государства служит питательной почвой для местных исламистов, борьба с которыми имеет долгосрочные перспективы. Поэтому-то Узбекистан, а также и Таджикистан пытаются максимально использовать свое прямое участие в нынешней антитеррористической акции в Афганистане: они надеются с помощью американцев разгромить одним махом исламское оппозиционное движение и его зарубежных спонсоров. За это узбекскому и таджикскому режимам придется, возможно, расплачиваться внутривнутриполитическими осложнениями. Ведь в руках оппозиции, выступающей в этих странах под исламскими знаменами, окажется мощный козырь, тем более что и нерешенные социальные проблемы, материальные трудности, связанные с углубляющимся дисбалансом экономики, а также демографический рост и массовая безработица создают питательную базу экстремизма, пополняют ряды сочувствующих повстанцам. Осенью 1998 года в Наманганской области произошли волнения, напрямую не связанные с религиозным фактором: протест населения вызвало резкое падение жизненного уровня, и основные требования касались снижения цен и повышения заработной платы. Однако во главе социального движения выступили исламисты, что свидетельствовало о том, что их шансы стать выразителями протестных настроений в условиях отсутствия профсоюзного движения и светской оппозиции оказались весьма велики.

Подведем некоторые итоги. На постсоветском Юге роль ислама как внешней угрозы в пропагандистских целях иногда преувеличивается, но как внутренняя угроза для ряда правящих режимов, в первую очередь узбекского и таджикского, она легко может реализоваться.

Было бы наивно при этом уповать на то, что рыночная модернизация, если она и улучшит благосостояние населения, растворит националистические и религиозные крайности. Как показывает опыт развивающихся стран, реформирование общества по западным образцам не становится панацеей решения острых социальных проблем, порождаемых модернизацией. Это означает, что социальная площадка для формирования религиозно-экстремистских течений может расширяться. Поэтому-то, справедливо критикуя проявления религиозного экстремизма и прогнозируя рост подобных настроений, нельзя отрывать это явление от общеполитического контекста: оно является частным проявлением весьма тревожной тенденции — терпимого отношения общества, охваченного структурным кризисом, к экстремизму и национал-социалистическим идеям, граничащим с фашизмом или смыкающимся с ним.

В этой связи вызывает тревогу отождествление международного терроризма с угрозами, якобы исходящими от исламского мира. Это особенно опасно для СНГ, где имеются многочисленные зоны христианско-мусульманского пограничья с бок о бок живущими там мусульманскими и христианскими общинами. В России же исламофобия может еще больше усугубить и дестабилизировать ситуацию в дополнение к уже имеющимся источникам напряженности и раздражения — чеченской войне, «кавказцам», терактам. Не менее опасен и антиамериканизм, который может распространиться как ответная реакция на исламофобию по мере возможного расширения масштабов антитеррористической операции за счет включения в число наказуемых и обвиненных в спонсировании международного терроризма новых государств — мусульманских по преимуществу.

Мусульманский мир вновь, как и в начале 90-х годов, когда Ирак напал на Кувейт, оказался расколот. И он вновь стоит перед сложнейшим выбором: поддержка во имя пресловутой мусульманской солидарности таких деяний, как агрессия и терроризм, или выстраивание жизни в соответствии с общепринятыми международно-правовыми нормами и стандартами поведения.

И в России, и в других государствах СНГ, где имеются мусульманские общины, лицо «постсоветского ислама» определяют все же не религиозные экстремисты, а умеренные течения, терпимо относящиеся к политическим и социальным свободам, стимулирующие развитие культурной идентичности мусульман. Но это не означает, что политический ислам и исламизм не смогут рекрутировать в свои ряды новых сторонников. Однако их численность и влияние будут варьироваться в зависимости от того, смогут ли постсоветские общества преодолеть с наименьшими потерями трудности переходного периода, сохранив при этом культурно-цивилизационный стержень — традиции, позволяющие смягчать и делать менее болезненными все усложняющиеся вызовы постоянно меняющегося, но тревожного мира.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

КОНСТАНТИН ЛИВАНОВ

*

БЕЗ БОГА

Записки доктора

(1926 — 1929)

1927

15. II.

Пока мать лежала в больнице, восьмилетнюю дочь пытался изнасиловать мальчик 17 лет, сын соседа по квартире. «Спасибо, соседи отбили. Хотела было в суд, да сраму не оберешься — бросила!»

Школьная работница 52 лет пришла за советом, что ей делать: всю жизнь никем особенно не увлекалась, теперь полюбила одного человека, а он пожил с ней месяц и бросил. А она была так счастлива, что не одна скоротает свой век, а прислонившись к близкой душе. Самое страшное, что и поделиться своим горем ни с кем нельзя — не поймут, засмеют! А жить нечем.

Слепой инвалид 60 лет спрашивает совета: жениться ему на одной особе, которая говорит, что он очень ей нравится и она будет за ним ухаживать? «Конечно, я не знаю, какова она лицом, а так на ощупь как будто человек подходящий и интеллигентный, и по голосу слышно, что не врет... А все же сомнение берет — не подбирается ли она к моей пенсии?!»

21. II. «У меня муж хошь и молодой, а *старорежимской* — не развратник, не *нонешней* жизни».

25. II. «Что болит?» — «Да ничего не болит! Прослушай: может, чего и найдешь! Эка штука какая, если вам, докторам, укажешь, кое место болит: а вот ты найди такое место, где я и не чувствую, что болит, а оно и на самом деле болит, а я только его не чувствую!.. Я уж у многих докторов была: только тогда и говорят правду, когда им самим укажешь, где болит. А вот ты найди у меня такую болезнь, чтобы я и сама не знала! Этак-то, знавши-то, — кто хошь будет доктором, эдак-то и я сойду за доктора! Да сколько угодно! Уж теперь меня не проведешь, нет! Как только покажешь доктору больное место, так он сейчас тебе и найдет болезнь! А вот ты без моей указки найди: тогда я тебе в ножки поклонюсь, слава те, Господи, скажу — попала к настоящему доктору!»

2. III. «Муж, говорите, не пьет ли?» — «Да выпивает: где уж это нонче, штобы не пить! В деревне-то все пьют, от мала до велика, почитай, ни одного мужика трезвого нет — все пьют! Сам знаешь, время-то какое *нонешнее*, не *прежнее время-то!*»

Окончание. Начало см. «Новый мир», № 1 с. г.

Публикация, предисловие и примечания *О. Ю. ТИШИНОВОЙ* (г. Рыбинск).

«Вот что, мой батюшко, доктор ты мой любезный, разъясни ты мне, к чему это: как двенадцать пробьет ночью, так слышу вдруг пение, церковное пение? Таково-то хорошо станет... И зачну я молиться... За всех молюсь и за тебя, хороший человек, молюсь! Может, потому это Господь-батюшка устраивает, что никогда я грубого слова никому не сказала, чертом ни разу не обругалась... А молиться люблю, хорошо молиться ночью-то, никто тебя не потревожит, и *вся-то жизнь вспоминается*. Уж если не приду к тебе вскорости — значит, считай, что я уже на том свете. А помирать буду — попомни это! — при последнем вздохе молиться за тебя буду!»

«Нонче дети-то больно розвръщены, уж до того розвръщены, что и не выговоришь! Слава Богу, что я уж с лета ничего не вижу, ослепла... А теперь, грешница, молю Бога, чтобы оглохнуть мне, што ли, чтобы и не видеть и не слышать, што делается!»

7.III. «Замужем?» — «Да как вам сказать: ходит тут один... Определенной жизни нет — не как у людей!»

«Убалтория» (амбулатория).

«Ничего не пожалею, всего лишусь: овец продам, корову продам, только полечи ты меня, сделай милость! Ничего не пожалею... Теперь у меня куры заклались — яичек принесу: только будь отец родной, вылечи!»

Девушка 19 лет, беременность 6 месяцев. Просит дать ей чего-нибудь, чтобы выкинуть. «Не о выкидыше, — говорю, — думать надо, а об алиментах...» — «Ну да! Алименты!.. Алименты-то лежат при смерти, зашибло деревом в лесу! С какого лешего алименты-то теперь искать?!»

15.III. «Нонче неудивительно: каждый месяц женятся».

«Прежде у меня уж вот какой хороший карахтер был! За карахтер все и любили. Сколько лет в прислугах жила! А теперь от одного слова на стену лезу, никак не могу стерпеть... А все *они*, проклятые, испортили!»

«Никакого в жизни покою нету... Замужем жила только два месяца, а он возьми да и помри — уж такой лядащий, а туда же — жениться удумал! — потом корова заховыляла, потом локоть себе разбила, а теперь уж и сама не знаю, што со мной делается: неохота жить, да и все тут!»

18.III. «С ума сошла на старости лет: вздумала потанцевать на свадьбе! Вот теперь спина и болит... Да не обидно было бы, ежели бы свадьба-то была пу-тевая, а то нонешняя, говенная-то!..»

25.III. «Все молила Бога: вразуми ты его — пришел бы он ко мне. А вот ты и пришел! Не оставляй ты меня, кормилец ты мой: *доведи уж, ради Христа, до могилы!*»

«В голове-то как тройка едет — уж до чего звонит, до чего шумит! А моча-то до чего ядуча: как попадет на тело, так все и изъест! Не оттого ли, что принес мне, этта, муженек колбаски: ну и съела я два кружочка? А ведь теперь пост-то больно великий?!»

Беременная женщина, 8 месяцев, пришла с жалобой на боли в животе. На улице парень ударил ее носком сапога в живот.

30.III. «Уж больно вы лекарство-то хорошее дали: ребята прямо одолели, только и пристают: мамка, дай твоего лекарствица! Так все и выпили, сама только попробовала!»

«Ухо заложило, а боюсь к ушному-то ийти: уж больно он гордый!»

«Прости ты меня, сладкой ты мой, живитель ты наш!»

«Пришел мой муж в ГПУ и говорит: „Разрешите мне надеть шапку на т. Ленина, нехорошо — головка голая, на нее птицы садятся и гадят!” Посмеялись: „Надевай, если сумеешь!” Подошел он к памятнику да и давай ругаться: „Разрешили надеть шапку, а лестницы не дают!” Ну и забрали его в милицию».

7.IV. Старик и старушка. Пришли полечиться. Большое горе у них. Внучка — любимая, единственная — имела «почетника». Шли с беседы, завел ее «почетник» в сарай и там изнасиловал. Хотела удавиться. Вынули из петли. Подала было в суд, а потом взяла обратно свое заявление: «Все равно, — говорит, — мне нужно или замуж за него выходить, или петлю надевать: все равно я человек конченный!»

— И девка-то такая смиренница да скромница. А ему только этого и нужно было, ни за что бы она не пошла за него по-добровольному — не нравился он ей. Да и как нравиться: самый отъявленный хулиган во всей округе. Теперь записались: уж какая это будет жизнь — одному Богу известно!

19.IV. «Сколько берете за прием? Сколько могу?! Потому и спрашиваю, что не вышло бы какого недоразумения... Вот также недавно пришел к одному доктору и тоже спросил его, сколько стоит будет. А он говорит: „Раздевайся, там видно будет!” Послушал, рецепт написал. Вынул я рубль и спрашиваю: „Довольно будет?” — „Нет, — говорит, — давай два!” Што ты будешь делать: вынул всю мелочь из кармана и набрал 1 р. 70 к., не хватает трех гривенников. Рассердился он на меня, накричал и велел оставить пинжак: „Принеси, — говорит, — остальное, тогда и пинжак получишь!” Так без пинжака и ушел».

20.IV. «На какие средства живу? На свои труды „кровяные”!»

25.IV. «Дочь моя в совпартшколе. Уж и не молоденькая — за тридцать будет, а в Бога не верит. Велела снять все иконы. Уж сколько я расстраивалась из-за этого, сколько слез пролила! Ничего не поделаешь — уж видно, так Богу угодно! Убрала одну маленькую иконку в комод. Ночью выну ее оттуда, помолюсь, поплачу и опять уберу».

28.IV. «Уж такая моя жизнь прискорбная, такая горькая, что и не пересказать! Муж-пьяница, как получит жалованье, так все и пропьет. А деток четверо. Не то что одеть, не всякий день найдется, чем бы накормить их. О себе уж не думаю: почти что голая хожу. Вчера получил жалованье, пришел пьяный, ни копейки не принес домой.

До того обидно сделалось, не вытерпела: сейчас, говорю, пойду в уком (коммунар он у меня), пусть тебя, подлеца, вышибут из партии! „Только посмей, — говорит, — сейчас же уйду и брошу вас всех к чертовой матери!” А ведь и верно — бросит, не посмотрит и на детей. Уж такой народ стал *безжалостный!*»

2.V. «Занарок к тебе приехала, за сто верст, рожóный ты мой! У своих-то, у крвенских, почитай, всю избу пролечила, а все без толку! Сделай милость, рожóный ты мой, не оставь ты меня ради Христа! ради деток-то моих, рожóный мой! А я уж за тебя всю жизнь буду Бога молить, рожóный ты мой!»

4.V. «Всё жили с мужем честь честью, по-хорошему! А нонче, на Пасхе, напился он пьяный и давай меня ножом резать: немного не дорезал до смерти».

Разбитная, развязная девица, лет 20, комсомолка. Накрашенные губы и щеки, стриженная. Все время хихикает и играет глазами. Просит дать ей какого-нибудь лекарства, чтобы успокоить боли в животе и частые позывы на мочу. На мой совет сделать кой-какие анализы, чтобы точно определить болезнь и несколько дней полежать в постели, говорит: «Какие тут анализы — дело ясное: у меня триппер, и лежать мне некогда: мне сегодня надо ехать на вигоновую фабрику играть в спектакле! Вы дайте мне чего-нибудь на скорую руку: пустышки! поболит, да и отстанет! Я уж привыкла».

С тем же развязно-веселым видом поведала мне, что она на одном году сделала шесть аборт. Вид у меня, вероятно, был весьма смущенный и расстроенный после таких разговоров, потому что девица под конец весело расхохоталась. Целый день было у меня отвратительное настроение, точно прикоснулся я к чему-то скользкому, гадкому, тошнотному.

20. V. «Вы знаете моего мужа: из себя такой видный и красивый. Вот и поверила и вышла за него замуж. А теперь и узнала, что он обманщик: на мне на третьей женился. От первой жены у него шестеро деток оказалось, да от второй — трое, а теперь у меня от него 4-месячный ребенок. Экая я дурища: все жила честной вдовой, а теперь попала к зверю в образе человеческом. На что ему, окаянному, женщина, когда у него и так две жены настоящие, да еще и так, на стороне, сколько угодно! Известное дело — обобрал все мое имущество, а теперь и гонит!»

2. VI. «Хотела было отравиться, до того прискорбно было. Должно быть, только Господь не допустил до греха! Дочка записалась тут с одним. Все была девчоночка смиренная, славная — все смущалась... А тут вдруг приходит с ним и говорит: „Мама, мы записались!“ Пожила две недели, а теперь пришла домой, теперь и сама кается».

«Молодежь-то нонче — как посмотришь — ужас берет! Мальчишки 13 — 14 лет с ножами, с кинжалами, с револьверами, со всяким этим припасом. Поганые все, матерщинники. Нам, женщинам — и старым и молодым, — пройти нельзя! Как увидишь — так и стараешься обойти сторонкой!»

28. VI. «Как увижу воду, так сейчас же захочется помочиться. Просто беда — не то што к реке — к ведру с водой и то подойти боюсь!»

Июнь. Чудесный вечер. В моем саду тихо, как в церкви. На небе ни одной тучки. Сидя на скамье над обрывом, вижу только одну красноватую звездочку на южной стороне неба. А оно такое бледно-зеленовато-синее. Чудится море, и в нем «белеет парус одинокий». С одной стороны обрыва стена диких яблонь (это мои дети, вырастил я их из семечек, полученных из Енисейского края), им уже 15 лет, еще недавно они сверху донизу были усыпаны белыми цветами, а теперь оделись крохотными яблочками: что-то удивительно трогательное в том, что я дал им жизнь здесь, в далеком от их родины краю, и кажется мне, что в этот тихий вечер стоят они, задумавшись, и, может быть, между дитей и матерью идет сейчас таинственная связь... Что я для них и что они для меня — не знаю; не знаю, но сердцем чувствую и свою с ними кровную связь. Что-то такое же родное и близкое и с маленькими сосенками и елочками, что сгрудились за моей спиной, и древними соснами и елями по другую сторону скамьи. Тихо, тихо... Угомонился человек — самое беспокойное существо на земле. Отдыхает земля от грубых выкриков, брани, пьяных песен. Наступил час ее покоя... В самую позднюю сторону ночи встает на молитву вечный молчальник — зеленый мир. Совершается какое-то великое таинство: земля служит своему Богу, и небо склоняется над ней, и слушает, и благословляет...

В сумраке ночи грустно чувствовать себя одиноким, чужим в таинственном храме...

«Боюсь — умру, а дети-то не похоронят по-настоящему, по-христианскому, а поволокут на кладбище с музыкой, по-собачьи!»

27.IX. «Подумайте, как жить! Сын, 17 лет, задумал жениться. Семь человек в доме — одна хозяйка. Все плакалась, бывало, что дети маленькие... думала: хоть подросли бы поскорей, все полегче будет! А вышло вон что... Повалился парнишка ходить в летний театр. Смирный он у меня, как красная девица. Ну и влюбился в какую-то шлюху 24-х лет, актрису, по балаганам да по театрам разъезжает. Привел ее домой. Размалеванная вся да расфуфыренная. Парнишка-то у меня, как сливки, беленький да чистенький, а она этакая-то скверная, шкуреха — так шкуреха и есть! Я так вся и обмерла. Кричу батьке: „Гони ты ее, стерву!“ Теперь уехала куда-то. Смилоствился Господь-батюшка!»

В деревне Башарове (5 — 6 верст от города) живет гражданин Болонкин. Через канаву перекинут мосток к его дому. На мостике воздвигнуто сооружение вроде арки. Наверху надпись красной краской: «Хутор № 1 гражданина Дмитрия Николаевича Болонкина». В доме две чистеньких комнаты. В одной из них отгорожен угол досками; там стоит широченная кровать. На кровати больная старуха. Невероятное количество мух, шумят, как пчелы в улье. Темно, грязно, душно. Над входом в загородку надпись черной краской по голубому фону: «Уголок для отдохновения».

Сторожиха из сельской школы жалуется, что ей плохо живется: и жалованье маленькое, с ребятами сладу нет; раньше просто называли сторожихой, да зато жила себе помаленьку, а теперь называюсь *технической служащей*, а живу не лучше дворовой собаки».

«У вас детки-то, говорят, уж очень хороши: не нынешние! Экое счастье послал вам Господь-батюшка! А у нас в доме — суший ад: большак-то хмурый такой, все боком жалуется... а как напьется, драться лезет... И остальные все только ругаются: „Богомолка, шептуха“ (это за то, што Богу молюсь). Выйду на двор, за угол — там и помолюсь, чтобы не увидели да не засмеяли».

«Посмотри-ко ты, кормилец, што мне написали на лучах-то (рентген)... Ишь ты, дело какое — шесть болезней у меня! Так уж и чувствовала я, што дело неладно: ну-кося, шесть ведь болезни! Отдай мне обратно бумажку-то: пусть муж почитает, а то он мне не верит — говорит, что все выдумываю. Нет уж, голубчик, теперь поверишь: еще одну болезнь можно придумать, а уж шесть не выдумаешь!»

«Все на меня несчастья: прошлый год первая жена померла после родов (тройнями), вторая — в нынешнем году тоже после родов (двойнями). Теперь все бабы боятся за меня выходить, а чем я-то виноват?!»

Фамилия: Непомилуева.

«Уж я на службе-то и не доказываю, что вся, как есть, больная: ноги распухли, пальцы на руках не владеют, одышка, кашель; в глазах темнеет, ноги подкашиваются, а все стою... боюсь, как бы не уволили да не отправили в комиссию на инвалидность!» (Билетерша в пролеткульте.)

Ученица педтехникума, комсомолка 18 лет, говорит: «Вот вы меня выслушали — ничего такого особенного не нашли?» — «А что же вам, — говорю, — нужно за особенное?» — «Да вот, видите, какое дело, уж я вам откроюсь: один товарищ сделал мне *предложение*. Я ему отказала. Тогда он сказал: „Ну, все

равно я возьму тебя силой!» И взял. Вот теперь и не знаю: не случилось бы со мной чего-нибудь *особенного*?»

«Замужем?» — «Как сказать, увозом, насильно увезли меня в другую деревню. Нарочно так уж подстроили. Пожила с парнем только месяц и вижу: у него есть барышня обеспеченная... Я и говорю: что же это, Вася, как ты со мной нехорошо поступил! А он и говорит: не привязан к тебе — как хочу, так и устраиваю свою жизнь, а если тебе не нравится — уходи на все четыре стороны! Поплакала да и пошла в свою деревню. Хотела в суд подавать — уж и прошение написали мне. А потом люди стали говорить: лучше брось! одна только канитель выйдет. Так и бросила!»

«Чай пью, пишу всяку ем — и все не дюжаю!»

«Уж вы не обессудьте за крест-то на мне: мы деревенские, еще в крестах ходим — не как в городах».

«Пища у нас очень плоха — один только хлеб. Найдется когда луковка, так уж это большая радость... Посыпешь солью, и поешь, и Бога поблагодаришь!»

«Детки к баушкам расположены лучше, чем к маткам».

«Потрудитесь, товарищ Ливанов, осмотреть меня: страдаю головными болями и вообще желаю весь осмотреться». — «Но ведь вы ко мне на прием не записаны, без записи я не могу вас принять». — «Какие еще тут записи, я работать не могу, у меня голова болит, и весь я нездоров!» — «Понимаю, но нужно соблюдать заведенный порядок: нужно записаться в очередь к врачу — ко мне не попали, запишитесь к другому: он вас примет, может быть, и вне очереди». — «Прошу без наставлений — я сам знаю, к какому доктору идти, и требую, чтобы вы меня осмотрели!» — «Я уж вам сказал, что не могу вас принять и почему, уходите, не отнимайте время у записанных...» — «Так, так, пони-маю! Это тебе не нравится, что я назвал тебя *товарищем*... так и запомним: контр-ре-во-люция, значит!..» — «Вы что же, сюда пришли провокацией заниматься? Убирайтесь вон!!» — «Ах вот как, я, значит, провокатор, по-твоему, — ну хорошо же, я тебе припомню, милый друг! (Грозит пальцем.) Ты у меня всю жизнь будешь помнить, как я тебе отомщу».

Отец семейства жалуется на боли в области сердца. Боль чаще появляется после еды. Высказывает опасение, что в пищу ему домашние кладут что-нибудь для отравы. Подозревает в этом своих детей: «Не нравится им, что я наставляю их, как надо жить по-христиански».

«Нынче дочерей-то выдать замуж одно горе... Уж такая молодежь, такая молодежь — что хуже нельзя! Выдаем замуж, а сами знаем, что через неделю, много — две, домой явятся. Без благословения церкви — уж какой же это брак! Просватали, этта, дочку... Скромненько таково — чтобы не обиделся, — говорю жениху-то, что хорошо бы повенчаться в церкви, да и благословить желалось бы иконой Заступницы... а он только зубы оскалил да и говорит: „Благословить хочешь, так возьми лопату и помахай: все равно один толк — что лопата, что икона!“ Уж так теперь прискорбно, что и сказать нельзя. Не свадьба у нас, а похороны: детей своих, вымоленных у Бога, хороним!»

«Один сын расстрелян, другой пропал на фронте, третьего в остроге замучили... Учим, учим — только подняли всех: всех лишились!.. В городе жили — все обрали, в деревню переселились — и здесь кругом обобрали!»

«Так, вверху все как будто здорово, зато вся нижняя квартира никуда не годится. Абортами испортила».

1928

Пожилая девица. Воспитывала племянника: вырастила, женила. Когда женился, потребовал раздела. Отдала ему корову и избу. Самой ничего не осталось. «Вот и живу у него вроде как в прислугах, а теперь и вовсе гонит вон».

«Вы не пугайтесь, если к вам придет мой муж спрашивать о моем здоровье». — «?» — «А он, видите ли, служит в ГПУ».

«Вчерашний день вышло маленькое недоразумение: было собрание, никому не давали говорить. Не стерпел я — выступил. Только успел каких-нибудь пять слов сказать, как подскочит тут один да как даст мне по морде, да еще и еще — как есть, все лицо искровянил!»

«Муж мой — псаломщик. Детей пятеро. Налогом совсем задавили: 70 рублей сельхозналога, да за девочку в школу — 35 р., да самообложения — 15, да за то, что лишили голоса, — с мужа 6 р., да с меня — 6. Только один день просрочили с уплатой налога — явились с описью имущества: облазили все чердаки, перерыли все в чулане. Мы и деньги даем — получите! Нет, говорят, сначала опись сделаем... Потом деньги взяли, а за опись взяли отдельно 1 р., да пени за один день 53 к. за 33 р. налога. Да еще поиздевались: вы, говорят, как служители вредного культа никакой пощады от нас не ждите!»

«Уж все у меня худое стало — пора бы костям на место!»

«Одиннадцать лет была замужем. Теперь муж бросил: чего от нынешних мужьевьев ждать? Другую нашел. Вот теперь одна на белом свете и путаюсь!»

«Было, говорят, партийное заседание. Постановили: 28 и 29 год не работать никому. Все, что ни делается, — все к лучшему. Бывало, служил я у хозяйина. Чтобы людей набрать, ездил и в Питер, и в Москву, и в Смоленск, и в Петрозаводск, и в Вологду. Где наймешь одного, двух, а уж пять человек — так уж это милость Божья! Вот как весь народ занят был! А теперь от народа отбою нет — только возьми! Да взять-то некому и не для чего. Клубы развели, танцуют. А дуракам чего больше надо?! А командиры-то нынешние окапировали себя со всех сторон — худо ли, чего больше надо? А остальные-прочие: танцуй, выделывай ножками, пока пыль из себя, дурака, не вытрясешь!»

Один немецкий писатель в приветственном письме по поводу юбилея М. Горького назвал Ленина мозгом, а Горького — сердцем новой России.

«Учила сына 12 лет. Выучила — службу ему дали. Живем хорошо, дружно: я ему готовлю, и он со мной такой ласковый — все мама да мама... Вдруг женился. И сам знал, что берет больную (чахотка у нее). И чем понравилась? — никакой в ней приятности, вся-то издерганная, злая. И сразу переменялся ко мне. Хоть бы сказал почему? — так ничего не говорит, а только все молчит да хмурится. Вот все и плачу, и расстраиваюсь... А еще коммунистка: все ораторствует на всяких собраниях. Оба с сыном зарабатывают рублем полтора. Едят отдельно, а мне когда-когда сын потихоньку сунет гривенник на булку... И солить не надо, когда ешь, — ем и слезами поливаю»...

Девица 28 лет, полька. Работает машинисткой на спичечной фабрике. Выслана из Ленинграда на 3 года в Рыбинск. В Питере получала 70 р., здесь — 15. Живется трудно. В Питере — родители и родные. Уже приехавши в Рыбинск, узнала, что она выслана на основании предъявления к ней 122 статьи Уголовного кодекса. Поинтересовалась в кодексе, и оказалось, что ее выслали за преподавание Закона Божия детям. Между тем она говорит, что никогда

никаким детям Закона Божия не преподавала. Побежала к прокурору с жалобой. Прокурор сказал, что это не его дело».

25.V. Женщина 20 лет. Была замужем два года; на днях развелась. Муж стал все проигрывать в карты и в лото: проиграл машину, самовар, стал из сундуков тащить. Попробовала отнимать — изрезал ножом (на теле масса мелких порезов).

«Восемь лет здесь живем. Голод заставил выехать из Самарской губернии. Товарищи-то любезные все у нас ограбили, заставили с голоду помирать. Кто выехал из наших — остался жив, а кто остался — все, почитай, перемерли. Теперь и здесь голодаем, а дома ничего не осталось и ехать не к чему: ни дома, ни земли».

«Пойдут все по гостям да по кинам... „Баушка! Посмотри за ребятами да похрани квартиру”. А как заболела, этта, прошу сына: кормилец, пошли за „скорой помощью”... Куды тебе! Никто и не подумал, — так и провалялась, как кошка, без призору...»

Крестьянин 70 лет. Сорок лет жил с первой женой. «Сдуру вздумал жениться на второй. Такая жененка попалась, что просто беда! Три года прожили, потом сбежала; 14 месяцев не являлась, где пропадала — неизвестно. Явилась опять, обещала жить хорошо. Пожила еще три года и опять сбежала! Поболталась с месяц, а к празднику — здравствуйте! — и опять ко мне. В праздник ушла на беседу смотреть, всю ночь где-то шлялась. Пришла наутре; стал ей выговаривать, а она схватила полено да и давай меня дубасить по боку. Думал, что дух из меня вон. Сама изувечила, а потом побежала мужиков созывать. Приходят мужики и на меня: „Ты чево же, дедушка Иван, дерешься и обижаешь жену?” — „Как — дерешься?! Да она сама, люди добрые, меня поленом изувечила, я ее и пальцем не успел тронуть!” Подал в суд. Уж и не молоденькая, за пятьдесят, — не иначе, вселился в нее бес!»

«Вот только и думаю, что от ребят хвораю... Двое мальчишек-погодков: одному 7, другому — 6-й год. Одевай да раздевай; целый день гулять-то — выпачкаются: то в сапоги воды нальют, то раздерутся, то сопли утри, то поесть дай... Надоели, как собаки, — прости, Господи!»

Муж на глазах у детей наточил нож и спокойно подошел к жене со словами: «Ну, я сейчас тебя буду резать!» Детишки заревели: «Тятя, тятя! Не трогай маму, не убивай ее». Нож к груди приставил — упала я на пол без сознания... Ползком выбралась из избы — да к соседям... Положи ты меня в больницу или куда-нибудь... Уж больно дома-то мне покою нет: живи и жди, что либо убьет, либо зарежет!»

31.V. «Нужно бы замуж выходить, да боюсь: народ-то у нас в деревне больно плохой».

«Бил, бил меня муж и добил до конца, а теперь такую-то убогую и бросил».

Входит еврей средних лет, торговец. «Конец пришел, доктор, всем конец!» — «Почему конец?» — «Да как же! вконец разорили: все описали, в суд таскали, на полгода принудительные работы. Нет уж, конец мира приходит!» — «Позвольте, да вы ведь верующий человек, как же вам не стыдно так малодушествовать!» — «А, что там — верующий! всю веру растеряли. Десять лет государству помогали, ничего не жалели, а теперь, изволите ли видеть, за нашу помощь — полное разорение. Как бы у меня было что-нибудь, так я бы готов все отдать, последнюю рубашку снял бы — только бы не ходить опозо-

ренным, только бы на тебя на улице пальцем не указывали. Попрошу вас, доктор, направить меня на комиссию: у меня грыжа, меня и от военной службы освободили, может быть, и теперь меня освободят от работы, а уж вам я по совести говорю: всем конец, всему миру конец приходит!»

2. VI. Женщина, 20 лет, жалуется на упадок сил, общую слабость — вид изнуренный. Только что после аборта. Аборт сделала потому, что разводится с мужем. Говорит: «Откровенно говорю вам, что напрасно вышла я замуж, до замужества лучше жилось. И пожила-то только один год, не о такой жизни думала и не так ее представляла! Тело мое было нужно и больше ничего, а мне думалось о тихом, тихом покое, о чем-то чистом, красивом, детей я очень люблю — о ребенке думала. Одна грязь оказалась — чувствую себя опозоренной, заплеванной и не знаю, как теперь буду жить!»

«Вся, как есть, больная, расстроенная... Выдала свою дочку, да так неудачно, за ражженю. Развелся с первой женой из-за ребенка: мать хотела его крестить, а он не позволял (коммунист он). Все уговаривали с мужем — не выходить за него; так разве нынешние дети послушают: твердит одно, что он ей нравится и она привержена к партии. Ражжена и коммунист — бросил первую жену, ничего не стоит бросить и вторую! Сердце болит — вернется она домой!»

«Доктор сказал, что у меня воспаление сливочного нерва и воспаление седалишного шеста».

Мать привела девочку 6 лет. Воспаление легких. Отец пьет 7-й месяц. По ночам выгоняет жену на улицу. Девочка не хочет оставаться без матери и выбегает за ней на улицу. «Третьего дня ночь была холодная, мы с Сашенькой всю ночь просидели в холодных снях, всю ночь проплакали, а к утру всю ее огнем распалило».

8. VI. «Дайте мне записочку, чтобы не стоять в очередях. Из-за маленькой булочки стоишь целый день... Затолкают экую-то слабую-то да больную — сил никаких нет!»

На днях, будучи в деревне, услышал первый раз в своей жизни, как крестьянские девицы пели похабные песни.

«Плохо живем, уж так плохо, что глаза бы ни на что не глядели... Не поверите: далеко от нашей деревни до города, всего каких-нибудь 20 верст, а я до нынешней зимы с самой этой революции в городе не бывала. Да и не по что ездить, поглядеть-то не на что! Нынче в пост собралась. Иду по Крестовой и вижу: где памятник-то был царский, на том месте, где царь-то батюшка, красавец-то наш стоял, словно бы копна из теста надета. Вгляделась: лицо такое нехорошее и губу-то этак выпятил, длинное-то экое да противное... После экой-то красоты, што тут была, да экая-то скверность!.. Идет какой-то человек с книжкой под мышкой. Остановился и говорит: „Ты чего смотришь, тетка?“ А я и говорю: „Да кто же это?“ А он говорит: „Да разве не узнала? — ведь это царь!“ Батюшки-святые! Так это Ленин-то и есть, ну и харя! А он засмеялся да и говорит: „Только ты, тетка, больше уж никому так не говори, а то посадят!“»¹.

27. VI. «11-й год живем в этой маяте, чем дальше, тем все хуже и хуже... Довели *товарищи* — никому житья нет!»

¹ На постамент памятника Александру II работы скульптора А. Опекушина в 1924 году был поставлен бюст Ленина.

1.VII. «Девочку зовут Klarой: это по-новому, для мужа, а я ее потихоньку окрестила и назвала Ларисой — для мужа одно имя, а для меня — другое».

«Запуганы мы все в деревне страх как: как закричат под окном: „На собрание!“, так я вся и затрясусь, сяду на пол, закроюсь руками и сижу ни жива ни мертва!»

3.VII. «Я партийный человек, держусь того взгляда, что надо поддерживать и выдвигать молодых советских врачей... Так что вы, может быть, не поверите мне, если я скажу вам, что рассчитываю только на вас, о вас очень хорошее мнение существует со всех сторон! Как честный человек я вам откровенно заявляю, что верю только вам!»

«Прислали к нам двух докторов, двух жидочков. Ничего, как есть, не понимают. Этта, захворал мой отец — мочу захватило, а они бились-бились: никак мочу спустить не могут! Уж возили к фершалу за десять верст — он уж и помог, а то бы помирать надо!»

Приходит парень лет 19 — 20. Просит избавить его от «срамоты». На одной руке у него татуировкой написано похабное слово (х), на другой нарисован penis с принадлежностями. Рассказывает, что это устроили ему товарищи, когда он был пьян до бесчувствия.

15.VII. «Мужики пьянствуют, а бабы абортс делают — вот и вся наша те-перешняя распоганая жизнь!»

25.VII. «Ничего нам, родимый, не дают: ни беленькой мучки, ни каких-нибудь круп... Этта, дали на сенокос 5 фунтов пшена горького-прегорького: что хошь, то и делай, хошь ешь, хошь гляди на него!»

«Как жить-то, дорогой доктор?! Жакта нашла лишку в квартире, раньше платили 1 р. 35 к., а теперь наложили 5 р. в месяц. Хотела пустить кого-нибудь — не дают, говорят: будешь спекулировать квартирой! Пришлось выселяться, а двенадцать ведь лет жили в квартире-то. А я и пенсии-то получаю за ребят 9 рублей. Чем жить-то?! А этта, и пенсии-то не получила. Пришла получать, а кассир-то любезный с нашими-то сиротскими деньгами возьми да и сбежи! Так целый месяц и прожили без денег. Через месяц пошла получать, получила, а дорогой-то у меня все деньги-то и вытащили. И опять целый месяц без денег. Вот жизнь-то, не приведи никому, Господи!»

23.VII. *Мои слова дочери Гале перед венчанием.*

От своего имени, от имени твоей матери, от имени всех наших предков благословляю тебя, милое дитя мое, на почетную, красивую, честную жизнь женщины-матери. Мы тебя вынянчили, выпестовали и теперь вывели на широкую дорогу жизни... Но жизнь прожить — не поле перейти. Недаром жизнь называют еще морем житейским. Не все в море «струя светлей лазури», не все над ним «луч солнца золотой». Бывают и бури, и бурь этих больше, чем тишины и покоя. Тебе легче будет переплыть это море с новым товарищем и другом, если между вами будет всегда мир и согласие, «совет да любовь». Но и этого все-таки мало. В полной безопасности будешь только тогда, когдаохранишь в душе своей страх Божий и не угасишь в сердце своем пламень веры. Сохрани их. Вручаю дальнейшую судьбу твою Той, образом которой благословляю тебя, — благословеннейшей из жен, величайшей страдальце — Матери всех обездоленных, всех сирот — Матери Бога нашего!

27.VII. «Уж ты не молись Богу сам-то — я за тебя помолюсь!»

«Лучше бы в землю уйти — только детей жалко... Уж так тяжело, так тяжело нам, женщинам! Никакой помощи от мужей, а только одна порча. Пьяница на пьянице, хулиган на хулигане!»

28.VII. «Болит голова, все тело болит — муж отдул вчерашний день. Из-за того, что я не даю ему продавать картошку-скороспелку. Только дождалась свежей картошечки, а он хочет вырыть всю и продать, чтобы деньги пропить. 11-й год живем — как чуть-нибудь, так и бьет чем попало».

31.VII. Ученик 1-го курса сельскохозяйственного техникума за Волгой. Резкое исхудание, усталый, изнуренный вид. Жалуется на общий упадок сил. Работает как чернорабочий на покосе в совхозе техникума. За работу ничего не получают учащиеся — ни деньгами, ни пищей. Кормятся за свой счет. Из дома ничего не помогают. Живет на 5 рублей пенсии. Около полугода не видел горячей пищи и вообще не обедал. Питается всухомятку, кое-чем.

9.VIII. «Поехала бы в деревню — да никак нельзя. С нами живут две зловки да деверь. Ничего, как есть, не делают. Этта, уехала, а они и раздрались, насилиу разняли. Муж придет со службы, где бы пообедать спокойно, а они начнут ссориться да на меня жаловаться. Хлопнет дверью да и убежит не евши. А то, чтобы успокоить свое сердце, и их изругает, и меня. Я в слезы. Как я уеду — и при мне-то никакого сладу нет, а без меня все вверх дном пойдет. Нет, уж видно, как живем в аду, так и помирать надо в аду».

«Будешь ли спокойно жить, когда муж каждый день пьяный. Вчера говорит: рядись в няньки, не буду я тебя кормить! А куда я пойду — больная-то такая да и от детей».

В 8 часов вечера.

«Доктор дома?» — «Нет его». — «Где же он?!» — «Ушел к больным, вернется не скоро». — «Скажите ему, чтобы пришел на Волжскую набережную, № 7. У меня ребенок заболел, обязательно пришел бы!» — «Сходите к другому доктору!» — «А где я их на ночь глядя буду искать! Вот наказание...» Уходя, в воротах: «Зарылись, сволочи этикие!..»

Судили комсомольца-активиста за изнасилование.

Прокурор настаивал на обвинении. Подсудимый был приговорен на 4 года заключения.

Для меня этот процесс был любопытен, как иллюстрация к тому новому быту, о котором так много говорят и пишут. На сцену вытащен маленький кусочек, осколочек той жизни, которая где-то большими шагами идет мимо нас, о чем мы только смутно догадываемся, в тревоге думаем и поскорее отмахиваемся как от невозможного, невероятного.

Цветущий юноша, комсомолец, избач. Несомненно, в своей ячейке передовой общественный работник, «активист» — как их называют. Не секрет, что в среде этой молодежи усиленно изучают и интересуются вопросами пола. Собрании, конференции, доклады, дискуссии, «проработки» различных тем общественного и политического порядка — это все формальная, трескучая «для публики» сторона дела. Внутри, для себя, — пол, пол и пол. В самом опасном возрасте, когда пол и так прет со всех сторон, мучает тело, поднимает из темных душевных глубин донную грязь, — молодая душа человеческая оставлена на добычу животной стихии. «Без черемухи» тускнеет чистое зеркало души, покрывается тиной. Для этой молодежи в волшебную майскую ночь под серебряным блеском месяца не дремлет тихий пруд, не отражаются в нем кусты и деревья, не смотрится старый усадебный дом, не поет соловей, не открывается окно в доме и не смотрит из него прозрачно-белое девичье лицо с большими черными очами...

18. VIII. «Как себя хорошо чувствовала после вашего лечения! — прямо все обращали внимание. А теперь от расстройства все прахом пошло... Сын объявил, что женится... Куда ни шло, если бы невеста-то была какая-нибудь путешевая, а то — просто шляющаяся девка... В приюте ребенок, да еще два аборта сделала. И на что польстился — как есть, не понимаем! Отец цельную неделю плакал».

22. VIII. «Как можно хорошо жить, господин доктор?! В прошлое время у мне все было, что надо при моей болезни: и компот, и яблоки, и всякие фрукты. Все у мне было, что хочу, господин доктор. Раз господин доктор приказали: не есть того-другого, а есть только фрукты — пожалуйста, раз для здоровья нужно, пожалуйста. А теперь, господин доктор, разве я знаю, что такое компот, яблочки, виноград? Ничего я не знаю. В прежнее время я пила боржом, сентуки — чтобы не поднимался мой живот. А типерь — посмотрите, господин доктор, какой у мне живот! И что ж я поделаю, господин доктор, когда ничего нет и я не знаю, на что купить?! Я знаю, что мне нужны ванны, а скажите, господин доктор, — могу я делать ванны, когда у нас такая квартира, что, извините за выражение, только горшок ночной еще поставить можно — и то тесно! Ну скажите, господин доктор, по совести — можно так жить? Ну так я вам скажу — совсем, совсем невозможно так жить! Вот я как вам скажу, господин доктор, и вы уж поверьте мне — честной еврейской женщине, господин доктор!»

«Пришла домой — дочка говорит: „Папа гулял два дня, прогулял десять рублей!“ Как меня всю затрясет, как затрясет, зуб на зуб не попадает: у-у-у-у! Вот ведь какая нервная стала от нынешняго житья!»

«Уж не знаю: говорить ли?.. На старости-то лет такую болезнь получила, в таком-то месте, что сказать совестно. Не оттого ли, думаю, что, этга, за вениками ходила да на холодной земле и посидела — задницу-то, наверно, и настудила? Не иначе, как от этого. Больше ума не приложу — отчего могло эכותо приключиться. Недели уж четыре болит: думаю, как я пойду, да, батюшки, срам-то какой, да, батюшки, совестно-то как!»

24. VIII. «Он учится, и я учусь. Условились, что через год женимся. Теперь год прошел, и он требует, чтобы я сходила к доктору и представила ему бумагу о своей невинности. В противном случае он не считает возможным жениться на мне. Я согласилась. Он, конечно, вправе этого требовать. Но как-то неприятно и гадко, чувствую в этом что-то оскорбительное: я же ему доверяла, мне и в голову не приходило ставить ему какие-то условия. Сказала ему так, а он ответил: „Мало ли что с тобой могло случиться! Хочу быть твердо уверенным!“»

«Очень хорошо, честно вдовею: живу у отца с матерью».

«У нас в деревню доктор приезжал, еврей заграничный, и вот что мне сказал: „Если будешь есть плохую пищу — обязательно умрешь!“»

28. VIII. По мосткам с пристани городского перевоза идет женщина-крестьянка с мальчиком лет 13. У мостков причален плот. На дощечке надпись: «За полосканье белья две копейки с корзины». Женщина, обращаясь к мальчику, говорит: «Это за тряпки-то да за мешки-то наши... выполоскать-то их мы и без вашего плота сумеем! А вот хлебца-то дала бы советская власть крестьянам — это было бы лучше!»

Переpravляюсь на лодке через Волгу. Кроме меня и перевозчика в лодке — две женщины: пожилая и молодая. Нам пересекает дорогу лодка, у руля и на

вслах два совершенно голых молодца. Пожилая женщина плюнула и, обращаясь к молодой, говорит: «Было бы ружье, так бы и застрелила эту погань!»

«Как есть вся в синяках... Муж дрался и раньше помаленьку, а этга, как коршун напал».

«Страдание в глазах молодых людей является как бы законным достоянием пожилых. Оно-то и служит источником уважения к ним» (А. де Ренье, «Первая страсть»).

1. IX. «Бог совсем на нас, видно, обиделся. Весь хлеб в воде. Да и следует обидеться: сами себе-то надоели, не то что Ему-батюшке! Не только молодые — про них уж говорить не приходится, — а старики-то и те обасурманели!»

2. IX. «Семь лет живем здесь. В голодное время уехали из Новгородской губернии в Саратовскую. Оттуда уехали из-за голода, пока ехали полтора месяца, ели одну траву. Здесь тоже трудно живется. Отвели нам землю мужики. Обстроились — поставили избу, сарай, лошадь завели, двух коров. Мужики стали завидовать, что живем справно, и все страшат, что землю отымут. Налогами стали давить — хоть бросай все и опять уезжай куда ни на есть! Как не работаешь, жить нечем; работаешь, так зависть берет — зачем лучше нас живешь! Нечего сказать, дожили до порядка!»

3. IX. «Чувствую себя много лучше, слава тебе, Господи! Только простите, пожалуйста: может, неловко при вас Бога-то поминать? Не знаю, верите ли вы в Бога-то? Как-то все не осмеливалась спросить вас. Ходила, этга, к железнодорожному врачу и тоже по привычке нашей глупой сказала к чему-то: ну и слава Богу! А доктор-то словно обиделся и говорит: „А при чем тут Бог?“ Ничего ему не сказала, а только, каюсь, подумала: если бы ты в Бога-то веровал, тебе же лучше было бы: и человека бы больше пожалел — создание Божие, — и, жалеючи, лучше помог бы ему, надеясь не на себя только и на свое лекарство, а и на милость и помощь Божию».

5. IX. «Бессонница, сердце болит, нигде места себе не нахожу. По ночам кошмары. Обворовали меня дочиста. Сосед по квартире. И доказательства есть, а заявить боюсь: прирежет ночью ножом, а то и удушит: теперь это зачастую делается».

7. IX. «Пустила ночевать девицу, прохожую из города. А она ночью-то колунула меня и ударила. Метила, видно, в голову, а попала по плечу, переломила руку — две недели на перевязку хожу. Ограбить хотела, да, видно, Господь уберет!»

Мальчик 9 лет, сын священника. Резко выраженная неврастения. Причина: насмешки, травля, побои и озорство товарищей по школе. Учительница не только не останавливает детей, а еще сама рассказывает детям разные анекдоты про попов. Мальчик, приходя из школы, все плачет. Несколько дней тому назад учительница вместе с акушеркой написали донос на отца, будто он в проповеди нападал на комсомол. Отца арестовали и посадили в тюрьму.

10. IX. Старик-крестьянин 74-х лет. Жалуется на боль в груди: «От расстройства, батюшка доктор, сынка у меня 29 лет, этга, зарезали, на улице около своего дому; по злобе, свои, деревенские: зачем живем справно».

Старуха 60 лет (из Мологского уезда). Страдает одышкой, отеками живота и ног (порок сердца). Зять даром хлеба не дает. Приходится пестовать ребенка. Так как руки у старухи плохо действуют, она таскает ребенка восьми меся-

цев в зубах (завернет в одеяльце, зубами держит одеяло, и ребенок лежит на распухшем животе).

12. IX. «Нам, инвалидам, ничего ведь не дают. Дают только по фунту хлеба. Сухой-то хлеб жуешь, жуешь... Этта, собирались мы на собрание и написали письмо в Москву — ихнему-то царю, Рыкову. Написали: давай хлеба! Что-бы не было таких порядков: одним есть, а другим не есть!»

«Мне ничего не делают: я „их” ругаю, а они только слушают да помалкивают. Плуты, говорю, мошенники, озорники! долго, говорю, народ-то голодом будете морить?! А они говорят: „А Николай-то много тебе давал?!” — „При Николае-то, — говорю, — у всех свое было, голодных-то не было, а теперь вы всех нищими сделали, а накормить-то не можете! Ну не плуты ли вы, не разбойники ли с большой дороги?»

Женщина 22-х лет (с фарфоровой фабрики). Трое детей. Муж — пьяница. «Жизни не рада, дети не в обиходе, все из рук валится, а тут муж придет пьяный, еще хорошо бы дебоширил только, а то драться зачнет, мало что не убьет иной раз. Жизни не рада, ушла бы куда на край света, ничего не жалко. Как подумая, что всю жизнь так буду мучиться, — к петле тянет!»

«Муж у меня больно слаб, все-то озорует. Поозоровал на своем веку: немало живого чего осталось!»

13. IX. «Не жизнь, а жестянка — никак не могу устроиться!»

15. IX. Мальчик 4-х лет. Жар, боли в животе, понос. «Ты чего-нибудь наелся?» — «Ничего не наелся!» — «Яблоки ел?» — «Не ел». — «Грибы ел?» — «Ничего, говорю, не ел». — «Может, репу, горох ел?» — «Да ничего не ел — вино только пил!»

22. IX. Работница на спичечной фабрике. «В неделю раз едим суп. А на детей-то поглядели бы: прямо ветром качает! Раньше здоровье-то было получше — зарабатывали побольше, до 40 рублей в месяц, — ну и пища была лучше. А теперь сил нет — еле-еле до 28 рублей выгоняю. От такой жизни, как теперь, рехнуться недолго. Ребята есть просят, а ничего-то не стряпаю, и не топлено. А тут еще отдышаться не можешь с работы-то нашей: в роту-то словно все серой забито. Есть и муж — да толку-то в нем нет: зимогорит. Уж только и молю Бога, чтобы плюхнулся где пьяный да околел бы».

Сторожиха в школе. Муж умер месяца три тому назад от рака желудка. Шесть человек детей. Неожиданно уволила заведующая школой от должности «по нетрудоспособности». «Девка старая — коммунистка! — что ей думать: куда я денусь с ребятами! Кабы в Бога-то верила — не выгнала бы с детьми на улицу!»

2. X. «Я так о нашем народе понимаю: скажи ему, что, мол, декрет вышел: всем отправляться на Сенную площадь к 9 часам утра, а зачем — там скажут, — и сделайте милость, все пойдут. Придут на площадь, а там и объявят: вот, граждане, вышел декрет, чтобы вас сегодня всех перепороть. Становись в очередь, мужики здесь, бабы там, снимай штаны, поднимай юбки! И что вы скажете? — никто не уйдет, так всех по очереди и выпорют».

6. X. Мать привела дочку 12 лет, ученицу, заболевшую, по-видимому, гриппом: «Посмотри-ка, батюшка доктор, что с девчонкой-то сделали... в экую-то слякоть да грязь-то погнали в экскурсию. Вот уж ума-то у начальства ни эстолько вот нет! Да еще хоть смотреть-то бы было на что, а то на завод „Металлист”:

подумаешь! самый-то никудышный, говенный заводило, и смотреть-то там, как есть, нечего. А грязи-то по колено! Пришла домой-то, а в башмаках-то полно грязи, подол мокрехонек, а теперь вот лечите, пожалуйста».

«Писали, этта, самому царю-то ихнему, Рыкову-то: и насчет хлеба, и насчет утеснения всякого, и телеграмму посылали: никакого ответа! — потому и отвечать-то, как есть, нечего!»

9.X. «Муж-то мой был, прежний-то, — разве этому, прости, Господи, паршивцу чета. Ангел, можно сказать, небесный... Как посравнишь, так плюнуть и хочется на погань-то эту, мужевьев-то советских!»

«Развели с мужем-то, а квартиры-то отдельной не дали. Так в одной комнате и живем вот уже два месяца... Как ночь, так и пьянка... наведет приятелей да девиц... Куда деваться: так, почитай, каждую ночь и мерзну на дворе. И жаловаться некому, потому весь дом — пьяница на пьянице, и бабы, как есть, все табак нюхают...»

12.X. «Была я у вас весной: да как побывала у вас — словно от сна пробудилась...»

22.X. Девочка 10 лет. Тошная, бледная, под глазами темные полукружия. Живущий в одном доме парень 18 лет пытался ее изнасиловать несколько раз. Не удавалось: отбивали соседи. Наконец удалось...

Судебный эксперт установил факт растления. Парень сидит сейчас в тюрьме до суда. Теперь другая беда. Другой мальчишка из этого же дома, 15 лет, стал преследовать девочку. Теперь мать хлопочет перед комхозом, чтобы ей дали другую квартиру, так как она не знает, как уберечь дочку от насильников.

23.X. За последний месяц ежедневно обращаются ко мне больные с просьбами о рецептах на муку, манную крупу и рис: «Хлеб, что выдают, есть невозможно: кислый, клейкий, в рот не лезет, а как поешь — весь живот изрежет», «Молока покупать не на что, а чем без молока кормить ребят: никаких круп не дают», «Уж вы вместо лекарства-то напишите, сделайте милость, рецептик на мучку беленькую, а если можно, то и на манную крупу: все и болезни-то наши от голода, как бы ели хорошо, и к докторам бы не ходили, не беспокоили бы их», «Уж вы мне скажите, доктор, откровенно: стоит принимать лекарства, когда пищи нету?», «Все предусмотрено начальством нашим: как от болезней оберегаться, что полезно, что вредно, физкультура всякая на стенах развешана, до всего в уме дошли, дошли, что и Бога-то нету... уж так все распрекрасно, что и умирать не надо. А вот как есть-то нечего, кому скажешь без Бога-то: хлеб наш насущный даждь нам днесь? Не Михаилу ли Иванычу с Алексеем Иванычем²: попробуй сунься! Они тебе покажут, где хлебец растет, это они умеют...»

24.X. «Мой муж после обложения финотделом — два раза травился».

25.X. Мать семерых детей. Ночью живущий в доме квартирант насильно овладел ею. Хотела «руки на себя наложить». Теперь в ужасе от возможной беременности.

«Мужу 52 года, мне 50-й. Тридцать два года жили вместе. Теперь разошлись. Взял девчонку 18 лет: конечно, потому и пошла, что ей есть нечего, а муж-то мой хорошо зарабатывает».

² Михаил Иваныч — Калинин М. И. (1875 — 1946), председатель ЦИК СССР; Алексей Иваныч — Рыков А. И. (1881 — 1938), председатель СНК СССР.

27.X. *Разговор двух крестьянок.*

— Если хочешь знать, что за начальство у нас, сходи в финотдел. Там увидишь, когда спросишь, где самый главный, — вот ни за что не вздогадаешься, кого увидишь! Мишку Базанова увидишь!

— Какого Мишку, нашего сретенского?

— Его самого! Такого из себя разделявает — куды любому барину до него! А ведь сама знаешь: никудышный мужичонка!

«Ухо заложило. Сходила к ушному. Дунул в ухо-то, уж так хорошо дунул, что теперь и вовсе ничего не слышу!»

Милиционер 32 лет. Просит дать справку в том, что обращался за медицинской помощью: «Сегодня у нас песни учат петь, к празднику. Прошлый год учили, не могли выучить. Вывели на площадь да как запели, так никто и не знает ни одного слова! Теперь опять учат. С 18-го года все учат петь. До чего надоели. Только и песен: за власть да за власть! И конца не видно!»

«Доктор наш деревенский сказал мне: ничего не опасайся, я тебе сделаю аборт по-заграничному, а потом подвинчу тебе матку и сделаю опять как новенькую!»

3.XI. «Ходила, этта, в полуклинику: давали капли красные, потом порошок серые да микстуру зеленую. Что-что разного цвету — а толку никакого!»

«Детей у меня — до дуры» (много).

«Уж как жить-то трудно — а все оттого, что Бога-то нету!»

«Уж вы не обидьтесь, господин доктор, если я вам вот что скажу: не любят вас доктора и уж чего не говорят про вас... И лекарствами будто старыми лечит, а новых не признает, и на лучи не посылает, а если к нему идут, так это колдовство какое-то. И почему, мол, его любят как-то по-особенному, в отличку от всех — понять невозможно! Со всякими болезнями к нему идут, а настоящих специалистов обходят! Ему не надо, говорят, доверяться — он отсталых взглядов держится».

6.XI. Женщина около 50 лет. Собираясь уходить после осмотра и получения рецепта, в нерешительности остановилась у дверей, потом, быстро повернувшись, бросилась на кушетку и, закрывши лицо руками, начала плакать. Я молча сидел за столом, смотрел и ждал, что будет дальше. «Милый, дорогой доктор... простите... тяжело мне... стыдно как! Никому никогда не говорила... не могу больше. Сердце мне говорит, что вам одному нужно сказать, что вы один не станете презирать меня. Мне стыдно глядеть вам в лицо, пожалейте меня... скверную, грязную... Муж мой заставляет меня... о, Господи, не знаю, как и выговорить! Заставляет брать в рот свой член... И плачу, и молю всячески — ничего не слушает! Будешь отказываться: исщиплет всю. Кричать боюсь: перегородка тонкая — другие квартиранты там, услышат — стыдно. Если ты жена моя, говорит, и хочешь со мной жить, должна исполнять все мои желания. Не интересно, вишь, ему, надоело, как люди-то живут. Весь день потом полощу рот, тошнит, ничего есть не могу. Не глядела бы на свет Божий. Родители мои милые, матушка с бабушкой! Легче бы мне лечь к вам в сырую землю, чем терпеть такое над собой!»

Рано утром вызвали меня к больному профессору политинститута С. А. Алексееву-Аскольдову. Колоссальное желудочно-кишечное кровотечение — вероятно, на почве язвы желудка. Профессор сослан в Рыбинск на три года. Живет вдвоем с другим ссыльным. Комнатка маленькая, в частном доме,

плата 20 рублей в месяц. Профессор лежит на неудобных козлах, жесткий тюфяк, тощая подушка. Питание плохое, заработков никаких. Для ухода за больным приехала его дочь, девушка 18 — 19 лет. Третью комнату занимает стол с разными принадлежностями для производства кукол (заработок второго ссыльного студента-медика). В углу на полу тюфяк (вернее, мешок, набитый соломой). На нем спит дочь профессора. Все трое удивительно милые, кроткие люди. Настоящие христиане. Профессор — последователь Вл. Соловьева, тонкий знаток и ценитель Достоевского, Розанова, А. Белого. Красивое, одухотворенное лицо в рамке белых волос, что-то от Соловьева в нем. Невольно думается — есть какой-то глубокий провидческий смысл в том, что такие люди рассеиваются по лицу земли Русской.

11.XI. «Муж мой (чиновник почтовый 48 лет) в последнее время все нервничал. По службе все придирки. Пришел на днях домой, говорит: „Что-то лихорадит”. Положил голову ко мне на руки, вздохнул и помер. Успел только сказать, что экзаменовали его по политграмоте, что спрашивали, все ответил».

«Конечно, мужовья-то нонче не очень удашны, так что про семейное положение говорить не приходится».

15.XI. «Не спали целую ночь. Рядом у квартирантов кутеж был. Молодой барышне кавалер подсыпал чего-то в вино. Говорят, что-то такое, чтобы она сама ему на шею бросилась. Да, должно быть, переложил: она и отравилась. Вызывали „скорую помощь”. Доктор сказал, хорошо, что она не выпила всю рюмку, а то бы померла».

«Уж какое наше житье, у фабричных (станция Волга)... Муж живет с двумя: со мной и еще с одной. Только пьяный ко мне и приходит, так с пьяным только и приходится жить, другой жизни и не знавала».

25.XI. «Ну меня-то еще туда-сюда выслали, хоть не за что, ну да хоть действительно не люблю советскую власть. А вот мою знакомую сослали, так уж, простите, до того глупо, что и поверить трудно: кроме кошек и собак, как есть, ничем не интересуется. Как увидит на улице собачку или кошку бездомную, так и тащит домой. У нее было в доме не меньше 15 животных. Вот и здесь то же самое: только и знает одних собак да кошек».

7.XII. «Он к вам придет... Поговорите вы с ним, ради Христа. Сошелся с бабой, да хоть бы какая чистая была, а то вся-то грязная, путается со всеми, и мальчишка у нее совсем гнилой. И от нее-то ко мне лезет, не опасайся, говорит, я секрет знаю от всякой заразы... Ах, доктор, как тяжело жить!»

10.XII. «В деревне нынче плохо совсем жить. Беднота эта самая донимает. Ничего не делают. Только и занимаются тем, что нюхают, как кто живет, да что есть, да что делает, да много ли скотины на дворе... А потом и доносят, за это и деньги получают, и ссуды всякие, и хлебом кормят. Так, ничего не деля, и живут, да еще нас поднимают: мы-де начальство над вами».

13.XII. Девочка 8 лет просит прийти к больной матери. «А что у нее?» — «А у нее после аборта — все болит!»

14.XII. «Кулаком считают, потому что поросят держу».

16.XII. Школьный работник. Тяжелая неврастения. Кроме школьных занятий привлечен к работе по займу индустриализации, клубная работа, доклады в ВИКе, конференции. В последнее время выбрали в комиссию по отобранию

церкви под клуб. «Вот и живи так, чтобы и начальству угодить, и крестьяне были довольны!»

«Сами знаете, какое у нас — пожарников — жалованье? А деньги теребят почем зря. Ребята в школу ходят — купи сапоги, книги, тетрадки. А на службу придешь — то на клуб подпиши, то в МОПР дай, то на беспризорника, тут тебе индустриализация и еще — пес ее знает! — что, а жри уж, что останется!»

19.XII. Молодежь скоро опомнится. Как только семейством обзаведутся, пить-есть всем надо будет, обувка там, одевка, так и заревут, да еще и как! Вот тогда и поймут и вспомнят нас, стариков, что не зря мы говорили: «Нельзя так народу существовать!»

22.XII. «Расстроилась: муж в тюрьме служит — сказали, что, кто служил в тюрьме при старом режиме, всех к увольнению. А всей и службы-то его только год при старом режиме, но, между прочим, никаких слов не принимают и слушать не хотят!»

«Приехала на лучи, а лучей-то в ту пору не оказалось... говорят, что в отдыхе на сколько-то время».

«Про питание уж лучше не говорить, доктор! С мужем развелась уже шесть месяцев, работы никакой. От мужа ничего не хочу брать, даже не хочу спрашивать, где он. Гордость не позволяет! Лучше умру, но не буду ему обзаваться. Тяжело, доктор. Сегодня мороз 20 градусов, а у меня на ногах, как видите, летние ботинки, без галош. Хоть бы дома-то согреться около печечки — так топить-то нечем!»

«24 года жили с мужем — теперь приходится уходить... В месяц-то раз десять прогонял из дому. Сегодня ночью-то зябла-зябла в коридоре, в одном платишке, под утро уж в сон стало клонить, еще бы немножко — и замерзла бы: спасибо, соседка оттерла!»

1929

11.1. Фамилия: Забинтуева.

15.1. Старуха 76 лет. «Пока силы хватало — торговала семечками, тем и кормилась. А теперь силы-то нету, да и стужа, стужи-то не могу терпеть. А дочка-то без работы, ходит на биржу, а все без толку. Теперь, кормилец ты мой, приду домой-то, а за стол-то и боюсь садиться. Дочка-то сердится: „Невелика работа постоять на улице с корзинкой, а не хочешь — не буду тебя кормить!“ Вот уж три дня и не обедала и не ужинала. Ноженьки-то и рученьки-то не терпят холоду, не могу стоять на улице... плачу, плачу и ума не приложу, что делать буду!»

«Встала утром, взглянула в зеркало, так и ужаснулась: лицо-то нехорошее, нечистое, глаза-то какие-то неправильные, как будто искосились и застыли, как у покойника. Руки-ноги озябли вдруг, и сердце перестало биться. Закрылась с головой одеялом и думаю: сейчас смерть придет!»

16.1. Родители (из деревни около Шестихина) привезли ко мне для осмотра девочку 4-х лет. Жутко смотреть, до чего взволнованны и расстроены оба. Оказывается, что их сын 14 лет уже несколько месяцев насиловал четырехлетнюю сестренку. «Уйдем с женой работать, а мальчишку-то оставим нянчить девочку, а он вон чем занимался... Теперь вся деревня знает, проходу нам

нету, мальчишка скрылся из дому — вот уже два месяца его нету, видели раз на станции, и с тех пор ни слуху ни духу». Мать говорит, когда отец с девочкой вышли в приемную: «Что мне делать? Видеть после этого не могу свою дочку, колочу ее, пинаю ногами; понимаю, что она не виновата, а ничего с собой не могу поделывать, боюсь, что как-нибудь задушу ее».

«Сочли меня кулаком, а за што, и сами не понимают: хозяйство вел справно, всю жизнь работал, всем помогал, семью большую вырастил и всех в люди вывел... Только и думаю, что дьявол „их” сомущает, сами не знают, что нельзя пренебрегать теми, кем не надо бы пренебрегать... Думал-думал и написал Рыкову письмо страниц в двадцать. Не выбирайте, говорю, меня никуда, ни в какие Советы, никуда я и сам не пойду и не хочу, ни на какие собрания не хожу и не буду ходить, все буду дома сидеть и к себе никого не пушу. Научите только, что мне делать, чтобы хоть какую-нибудь пользу приносить людям. Не привык я без дела сидеть сызмалости. Знаю, что ничего мне не ответит, только душу отвести хотел».

21. I. «На собрании я только и сказал: „Не надо нам никакой классовой розни, хотим жить, как раньше жили, по-братски, по-Божьи”... За такие слова ячейка наша хотела меня арестовать, да собрание не допустило».

23. I. «Мне 41 год, мужу моему — 28. Я была раньше учительницей, теперь служу машинисткой в исполкоме. Муж коммунист: знаете, совсем не развитой, грубый. Живем вместе полгода. Чем дальше, тем я все больше убеждаюсь, что напрасно я вышла замуж, мы чужие друг другу. Нам не о чем поговорить, подумать вместе. Он знает одну постель и — стыдно говорить — мучит меня каждую ночь. Я чувствую себя разбитой, боли везде, голова кружится, руки дрожат, работать не могу. И сама я стала себе противной. Будущее... никакого у меня будущего нет! Конечно, нам нужно разойтись. Да я уже решила уйти, но знаю, что вся моя жизнь отравлена навсегда!»

26. I. «Бедняки совсем одолели. Власть-то и сама не рада: маху дали, с бедняком связались, оттолкнулись от середняка. Все беднота да беднота, а про нас, середняков, и забыли. Сами посудите, ну разве это не нахальство: если середняк, например, сдал в кооперацию 50 пудов молока — ему премия один пуд хлеба, а бедняк ежели сдал 20 пудов — ему премию в 12 пудов хлеба! Так это как, по-вашему: „Опираясь на бедноту, в союзе со средняком”?! Хорош союзец, только дурак этого не поймет! А то еще, скажем, лес на дрова отводят — бедноте в версте от деревни, а нам — в 15 верстах. Только развратили бедноту эту самую: если раньше хоть что-нибудь работали, теперь и вовсе ничего не делают — нам, дескать, и так все дадут, работать не хотят, хорошую землю, удобренную, и ту не берут, вовсе ничем не интересуются. Какой союз у нас может быть со шпаной этой? По-нашему, на бедноте власть себе ничего не выиграет, а шею обязательно сломат!»

29. I. В селе Огаркове умер скоропостижно священник Попов. В самое Крещение помер. Отслужил обедню, на реку сходил с водосвятием. Вернулся в церковь, народ весь отпустил. Вошел в алтарь, крест положил на престол, сел на стул, облокотился на подоконник и умер. Смирненник был, безответный, жил в бане, плохое было житье ему. За кротость его и послал ему Господь такую хорошую смерть.

Объявление: «Завтра отчетное собрание горсовета. Все должны явиться на собрание в порядке партдисциплины! Служащие поликлиники, подтянитесь! Дашь 100% явку на отчетное собрание горсовета!»



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА



RENDEZ-VOUS В КОНЦЕ МИЛЛЕНИУМА

Когда сюжет в мейнстриме пошел на убыль, продвинутые авторы постановили себе брать все, что плохо лежит. В первую очередь полем литературной игры стали детективы, во вторую — фантастика. Даже порнография увиделась вдруг как склад потенциальных «ворованных объектов» — хотя обворовывается тут не литература, а природа. При этом еще ничей взгляд, ищущий перспективного дискурса, не обратился к любовному роману. Жанр этот оказался настолько презренным в нашей словесности, что даже в коммерческом варианте не прижился на российской почве. Мечтательницы, любительницы грез поглощают переводные серии со страстными парочками на обложках — столь же разнообразными и вместе одинаковыми, какими бывают дамы и валеты на игральных картах. Еще ни одному писателю, претендующему на место в литературе, не ударило в голову сделать что-нибудь стильное из любовной глянцевої истории, чей художественный потенциал близок к нулю. настолько близок, что Елена Арсеньева, единственный успешный автор любовных костюмных романов на внутреннем российском рынке, выглядит на фоне Линдсей и Картланд чуть ли не Львом Толстым.

И все-таки — почему любовный роман не может стать донором для мейнстримовой прозы или выдающей себя за прозу новой беллетристики? Он что — намного тупее томов про Слепого и Бешеного? Разве любовь задевает менее существенные пласты человеческой природы, чем пресловутая кровь? Нет, конечно. Видимо, дело в том, что герои коммерческого любовного романа живут под специальным куполом, где состав атмосферы отличается от сегодняшнего земного. Одна-единственная молекула иронии, проникнув туда, способна убить всю цветущую под стеклом романную жизнь. Лилейная кожа героини почернеет и лопнет, потрескаются и отвалятся, как бетон от арматуры, мускулы героя, а беседка, где происходит объяснение, превратится в «Макдоналдс». Герои лавбургера по своей природе марсиане — гораздо в большей степени, чем сыщики, суперагенты и инопланетяне из научной фантастики. Их жизненный цикл построен по закону, иноприродному нашей реальности; типовой сюжет лавбургера, весь сориентированный на хеппи-энд, строго повторяем и напоминает этим метаморфозы насекомых.

Мне уже приходилось писать о том, что хеппи-энд — это не конец романа, а весь роман. Однако теперь мне представляется, что о том же самом написал намного раньше меня Н. Г. Чернышевский.

Сегодня, когда любовный сюжет, бывший некогда стволем мировой литературы, оказался на периферии, статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» вновь становится чтением и любопытным, и поучительным. Также и повесть И. С. Тургенева «Ася», послужившая поводом для статьи, может быть увидена новыми глазами.

Славникова Ольга Александровна — прозаик, эссеист, литературный критик; автор романов «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», «Один в зеркале», «Бессмертный»; координатор литературной премии «Дебют», постоянный автор «Нового мира».

«Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни, — пишет Чернышевский. — Вот, думал я, отдохнет и освежится душа». Не тут-то было! Главный герой, иронически именуемый в статье Ромео, устроил облом: вместо того чтобы с благодарностью принять чувство малознакомой экстравагантной девицы и немедленно решить сообразно этому чувству всю свою судьбу, он растерялся. И оттолкнул бедное дитя неосторожными упреками в поспешности. «От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характер главного лица не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести, то не мог поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам совершенно дрянным человеком». Так Чернышевский описал реакцию публики на отсутствие того, что мы сегодня называем хеппи-эндом.

И действительно, с точки зрения массового читателя (а он во все времена, похоже, одинаков), «Ася» разламывается пополам. В первой части перед нами потенциальный лавбургер. Что представляет собой главный герой? «Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений». Героиня, диковатая, но прелестная особа, с точки зрения хорошего общества, герою не пара: отец ее хоть и был помещик, но мать служила горничной в барском доме. Перед нами типичный для лавбургера расклад и типичный конфликт: те же самые завязки находим в каждом втором выпуске серии «Шарм». Современная версия любовной истории потребовала бы приключенческих наворотов, комплекта из большого и малого злодеев, один из которых воспылал бы к героине преступной страстью, еще кое-чего по мелочи — но закончиться роман должен был соединением «правильных» влюбленных. Описывая главного героя как «правильного», то есть закладывая в образ приманку для мечтательных фантазий, автор тем самым заключает с читателем негласный договор. По договору автор имеет право заставить героев страдать, но в конце обязан дать им счастье, а читателю доставить специфическое удовольствие, которое можно сравнить с действием слабого наркотика. Тургенев читателя обманул.

«Направление чисто поэтическое, идеальное» — это и есть тот самый розовый воздух под защитным куполом, которым дышат герои современного лавбургера. За век с лишним воздух этот, пожалуй, сгустился, засахарился и как-то осел: теперь слоя его едва хватает на полный человеческий рост. Но состав остался в целом тот же. Сегодня, когда и предмет, и способ поэтического высказывания уже не могут быть чем-то определенным и обязательным для литератора, но обнаруживаются субъективно и ситуативно, «поэтичность» всего изначально красивого — розы, фонтана, алых губок и румяных щечек — уже не может быть восстановлена. В этот «красивый» ряд встает и «идеальная» любовь.

На самом деле подлинная поэзия была. Простая реконструкция этого факта требует от сегодняшнего читателя гораздо более развитого воображения, чем понимание того, почему Б. Акунин переписывает Чехова. Видимо, утраченные поэтические смыслы и наркотическое воздействие лавбургера (которое могло обеспечиваться и анти-хеппи-эндом, то есть разбитыми сердцами) — на самом деле не одно и то же. Обобщенный читатель, которого цитирует Чернышевский, не только требует от повести «дозы», но и защищает, по сути, ту плодотворную дистанцию, что отделяет литературу от реальной действительности. Условность романтического лавбургера, пусть изношенная и опошленная уже на момент написания «Аси», обеспечивала литературность литературы. «Рассказы в деловом изобличительном роде», которым противопоставлял «Асю» автор статьи, эту условность активно изживали, заменяя ее «направлением», то есть идеологией. Что-то литература тем самым и наживала, разрабатывала как минимум новый инструментарий — но не это интересовало Чер-

нышевского. Далее в статье отношения тургеневских Ромео и Джульетты разбираются так, как если бы герои повести были совершенно реальные, а не описанные люди. Чернышевский доказывает на многих примерах, что «характер героя верен нашему обществу». Растренированность деятельных навыков у лучших представителей образованного класса сегодня малоинтересна (при том, что впоследствии это скомпенсировалось столь деятельными экспериментами, что мало не показало никому). Гораздо существеннее для нашей темы факт перелома: «идеальное» вдруг обернулось реальным. Повесть «Ася» действительно оказалась «испорчена»: писатель начал с текста, над которым можно было «влюбляться в обманы», а закончил грубой правдой жизни. Rendez-vous превратилось в экзамен, который Ромео с треском провалил.

Есть, однако, в повести «Ася» волнующая тайна. В финале герой, пожилой уже человек, сожалеет об утраченном счастье: «Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже глеет в могиле...» Этот финал, совершенно объяснимый именно той литературностью, которую Тургенев опроверг, как будто возвращает читателя в атмосферу лавбургера. Однако почему же герой думает об Асе как о мертвой? Ведь не было, кажется, никаких настоящих причин, чтобы полагать ее век столь коротким. Ася не была больна, ее «горячки» надо понимать скорее как метафору волнения и дань принятой манере поведения и письма. Возможно, у героя была потребность в метафизической границе, отделяющей его от Аси вернее, чем житейские обстоятельства? Потребность возвести свою частную утрату в бытийную степень? Смерть Аси, помысленная героем, сегодня весит больше, чем вся остальная повесть. И одновременно она же наталкивает на идею, почему в современной прозе любовный сюжет совсем не тот, что был у классиков.

Любовные сюжеты в жизни и литературе взаимодействуют теснее, чем другие типы сюжетов: книжка для влюбленных — и учебник, и провокатор. Подлинное чувство, как ни странно, «поддельно»: любят не человека, но образ, созданный по законам, близким к законам письма. Какова же структура этого образа? Соотнося вымысел любовный с вымыслом литературным, можно сделать вывод, что в любви образ другого (пока он действительно *другой*) принадлежит к низовому на сегодня романному жанру. Косвенным подтверждением этого неочевидного факта служит известное обстоятельство, что почти невозможно влюбиться в человека, которого знаешь давно и в чьей психологии успел разобраться: образ его не преодолевает порога обыденности, то есть не выдерживает реализма. Та концентрация на предмете, что заставляет влюбленного совершать очень много нелогичных действий, на самом деле имеет источником простейшую метафору. Если эту метафору расписать на бумаге, человек с развитым вкусом скривится. И все-таки именно она, заезженная и банальная, таинственно расцветает в нашем подсознании, когда несколько романтических ракурсов или пара хорошо артикулированных фраз вдруг одевают человека во все прекрасное — из ткани лавбургера. Любовный роман имеет непреходящую власть над человеческими душами. Да не бросит никто камней в читательниц розовых книжек: они на самом деле люди очень здоровые, *природные*. Кстати, очень может быть, что они не чуждаются и элитарной литературы — просто не читают ее в метро.

В пределах лавбургера есть два основных типа конфликта. Первый: чувство не обоюдно. Второй: чувство обоюдно, но некие обстоятельства мешают Ему и Ей соединиться. Конфликт между love-образом и реальным человеком, возникший, как представляется, в эпоху тургеневской «Аси», означал решительный выход за пределы того пространства, где читатель, пребывающий в предлюбовном волнении, легко отождествлял себя с героем или героиней.

Вл. Новиков в книге «Роман с языком» (о которой ниже) назвал Эдуарда Асадова «гением коммуникации». Эта особая коммуникативность, о которой мы можем говорить и применительно к прозе, навсегда утрачена мейнстримом — но сама по себе она неуничтожима. Какой бы ни стала литература в будущем — лавбургер бессмертен. И, кстати, ошибается тот, кто думает, будто коммерческий любовный роман — исключительно дамское чтение. Книготорговцам известно, что большой процент читателей розовых серий составляют мужчины. Одна категория — это молодые люди, не имеющие повседневного опыта общения с женщинами (например, курсанты, солдаты срочной службы). Эти читатели ищут в лавбургере руководства, как нужно обращаться с прекрасным полом. Вторая категория — это господа за сорок с неудачами в личной жизни, пытающиеся теперь проанализировать ошибки и понять в конце концов, чего эти женщины от них хотят. Парадокс заключается в том, что книги, максимально далекие от жизни, рассматриваются как учебники жизни. Видимо, здесь нужно говорить не о внешней, но о внутренней истине: есть в человеческой душе потайной уголок, который именно в лавбургере отражается адекватно. Однако отрефлексировать это обстоятельство современной прозе пока не удалось.

Утратив «гений коммуникативности», современная любовная история утратила и остросюжетность. Связано это с изменением, повседневно для нас незаметным, «само-собой-разумеющимся» — и не литературным, а житейским (что еще раз доказывает — «литература» и «жизнь» связаны через любовные сюжеты тесно и даже интимно). В «Асе» герой был поставлен перед необходимостью очень быстро принять радикальное решение (в неспособности сделать это и упрекал тургеневского Ромео жестокий Чернышевский). Герою не оставалось времени разобраться в собственных чувствах: он должен был либо отказаться от Аси, либо навек связать с нею свою судьбу. Но что такое это «навек»? Три, максимум четыре десятилетия, из которых половина пришлась бы на возраст почтенный, никаким любовным бурям не подверженный. Сегодня мы просто живем дольше. Соответственно можем выбирать не раз и навсегда. Длительность жизни качественно изменяет сам распорядок жизни, ставит под вопрос многие из «естественных» ее установлений. Как знать, не приведут ли успехи медицины к отмиранию самого института брака? Возможно, что чем дольше будет жить человек, тем более временным будет казаться ему все, что он испытывает, включая собственное его пребывание на земле.

Не забегая далеко вперед, согласимся, что сегодня любовный сюжет растянут более, чем полтора века назад. Существенна уже не только коллизия «любит — не любит», проживаемая до первой свадьбы, но и все дальнейшие события, не имеющие четкой кульминации. Соответственно любовные сюжеты в прозе стали более разнообразными, но и более пологими. Им уже не хватает энергии, чтобы держать на себе полный вес романа. Да и экзамены для героев стали разнообразнее: больше «предметов» в программе. Видимо, мысль о смерти Аси, овладевшая героем тургеневской повести, была мыслью композиционной. Сокращая век героини по отношению к возможному, герой добивается такой интенсивности чувства, при которой уже почти возвращает себе утрату, заменяя девушку ее идеальным образом. Если бы Ася вдруг повстречалась ему располневшей матроной, это было бы событие того же качества, как и сцена объяснения, «испортившая» вещь. Современный же любовный сюжет не может обойтись без «порчи»: в нем нет ничего окончательного.

Наряду с коммуникативностью и остросюжетностью любовная история утратила также четкую субъектно-объектную ориентацию. Совершенно понятно, что под «русским человеком» в заголовке статьи Чернышевского подразумевалась никак не Ася. Перепрыгивая через все успехи эмансипации и, не к ночи будь помянут, феминизма, сразу перейдем к тому, что сегодня и женщины пишут прозу. Перемена эта того же качества, как если бы Луна, имеющая, с нашей точки зрения, обратную сторону, стала бы вдруг вращаться вокруг собственной оси. Что касается лавбургера, то в этом джазе только девушки

(в действительности есть и мужчины, пишущие под женскими псевдонимами, то есть поступающие точно как герои помянутого фильма). При том, что изначально лавбургер был создан мужскими перьями, мы можем говорить о перемене мест слагаемых — но сумма, то есть главные качества жанра, остается прежней. А в мейнстриме произошли события более радикальные: зазвучала иная точка зрения, всплыла иная психология. Даже в маргинальной прозе, предпочитающей держаться от мейнстрима на порядочном (порой спасительном для себя) расстоянии, образовалась женская «маргинальность в квадрате». Не самая, надо сказать, выигрышная позиция. Для нашей темы, однако, существенно то, что женская проза, завоевывая место под литературным солнцем, более страстно, чем мужская, выясняет отношения полов — и соответственно активней прописывает любовный сюжет. Превращая его порой в антилюбовный.

Попытка классифицировать или хотя бы каталогизировать любовный сюжет в современной прозе показывает, что для этого имеется не так много материала. Самым естественным было бы обратиться к «житейской» дамской беллетристике, представленной такими именами, как Виктория Токарева и Галина Щербакова. Однако эта литература, имеющая своего традиционного читателя, стабилизировалась на периферии процесса, где почти ничего уже не происходит. В общем виде любовный конфликт «житейской» беллетристики выглядит так: героиня вырабатывает в душе идеальный образ партнера, себя и мира — и тем самым становится достойна этого идеала, который не может быть предоставлен ей несовершенной действительностью. Содержащийся в этой литературе скрытый упрек всему на свете и дает очевидный повод некоторым критикам называть такую прозу «бабством». Тот самый случай, когда не вполне справедливое определение оказывается точным. Во всяком случае, в этой области не просматривается проблем, о которых было бы интересно говорить.

Невольно следуя образцам ток-шоу «Я сама» (где гендер, там сегодня в первую очередь телевизор), предоставим слово мужской стороне. Для прозы, сделанной сильной рукой сильного пола, характерны любовные линии, прорисовывающие на самом деле совсем другое. У Андрея Волоса в «Недвижимости» главный герой, занятый кустарным видом ризлторского бизнеса, представляет собой отчасти зеркало, вносимое в разные квартиры и отражающее застывших обитателей. Такое панорамное зрение закрепляет за героем статус работающей камеры, что хорошо для иронического письма, но недостаточно для романа. Так появляется история умирающего родственника, которая с основной линией текста взаимодействует слабо. Формальной скрепой служит наличие у родственника спорной дачки — тоже «недвижимости». Однако для того, чтобы добиться цельности текста, пришлось клацнуть степлером еще в одном углу: среди жаждущих что-то сделать со своей жилплощадью появляется девушка Ксения, к которой у героя возникает смутный мужской интерес. При этом роль *rendez-vous* играют не реальные встречи героя с героиней, а ее самоубийство, впоследствии не подтвердившееся. В этот самый острый момент героя разворачивает к самому себе: «Мне подумалось: ну теперь-то я могу что-нибудь почувствовать? Ну хоть что-нибудь? Или вот это жжение в груди — это и есть чувство? Ощущение, что меня сначала заморозили, а потом облили кипятком, — это и есть чувство? Не много, если вдуматься». Такое символическое обнажение перед самим собой, мысленное срывание с себя одежды и кожи и есть кульминация любовного сюжета. Этот малый сквозной прокол, парный большому (родственник умирает по-настоящему), служит для того, чтобы прикрепить героя к его собственной жизни, отличной от жизни в продаваемых квартирах. Но применительно к «Недвижимости» мы можем говорить не о любовном сюжете, а о прочерченном его отсутствии.

У Дмитрия Липскерова в романе «Родичи» много эротики. При этом любовная линия отличается от традиционной примерно так, как в теннисе рабо-

та у стенки отличается от игры на корте. Главный герой «Родичей» — своеобразный «идиот». В его человеческом составе процент божественного существенно выше, чем у среднестатистического гражданина. Герой страдает амнезией, потому что не в состоянии помнить плохое — то есть не помнит из собственного прошлого почти ничего. Но есть и «сухой остаток». Людям искренним, не вполне испорченным «идиот» являет то, что они хотят увидеть в лучших мечтах. Так, патологоанатом Ахметзянов всю жизнь мечтает быть балетмейстером: для него главный герой становится гениальным танцовщиком. Женщины, способные испытывать любовь, находят в «идиоте» идеального партнера. Но все-таки это стенка, опять-таки зеркало, в котором персонажи книги видят лучшую часть самих себя. По ходу романа создается ощущение, что крепость «стенки» занимает автора больше, чем смена отражений: философская задача преобладает над психологической. То, что для традиционного любовного сюжета является условной целью, здесь становится условным средством; условный противник в лице литературного критика не может не отметить усеменение любовного сюжета в целях именно этого романа. Видимо, роман, подходящий под определение «современный», вообще эгоист: ему нет и не может быть дела до всего остального литпроцесса, он тянет сюжеты на себя и рвет их сообразно своим потребностям на причудливые куски. Понятно, что старому поношенному любовному сюжету здесь не поздоровится.

Имеется, однако, в современной литературе известная проза, которая так и называется: «Удавшийся рассказ о любви». Проставляя над вещью почти авторецензионный заголовок, Владимир Маканин, должно быть, имел в виду ту найденную им «коробочку» жизненных обстоятельств, что оказалась в пору любовной истории. Не случайно — именно «рассказ», то есть ряд событий, а не способ их описания в тексте (сам текст по жанру, безусловно, повесть). Еще одна игровая сторона заглавия: саму любовь удавшейся никак не назовешь.

Он — в советские времена «молодой» писатель, почти диссидент, ныне — ведущий авторской программы на ТВ. Она соответственно цензор и содержательница борделя. Она выступает как представитель реальной жизни, он этой жизни противостоит. Она всегда умела приспособиться и выжить, он вечно попадал в ситуации, взывающие к активному состраданию. Возможно, автора вдохновила на создание текста дерзкая идея вылепить из цензора положительного героя — что для шестидесятнической ментальности действительно пахнет молнией и грозovým озоном. Любовное чувство здесь играет роль переключателя, меняющего мстительный «минус» на более человеческий «плюс». Лариса любит Тартасова и, стало быть, права. К тому же она всю жизнь подставляет плечо: то помогает Тартасову протаскивать через цензурные рогатки живые страницы прозы, то пытается его трудоустроить, то принимает его, неудачника, в своем по-домашнему милом бордельчике, чтобы неудачник немного утешился. Тартасов же всю жизнь заботится о себе и в результате — Бог не фразер — теряет и волю, и талант.

Если отвлечься от шестидесятнического контекста, то повесть Маканина тяготеет не к любовному, а к назидательному жанру. Любовное чувство Ее к Нему как источник правоты и оправданности жизни — это банально даже при небанальном маканинском письме. Глубины имеются на периферии текста, выписываются автором просто от языка, но основа повести слишком головная. Кстати, «рассказ» имеет дефект: никто из знающих положение дел в массовых медиа не поверит, будто известная телеперсона, каковой является Тартасов, в материальном смысле неуспешна. Казалось бы: писатель следует не букве, но духу действительности, посему имеет право делать фактические ошибки. Но «любовная история» и «жизнь» связаны, как мы помним, интимно: проза заражается от «рассказа» недостоверностью. И хотя любовный сюжет не разорван здесь на фрагменты, но «удачно» вписан в остальной событийный ряд (как одна геометрическая фигура бывает вписана в другую) — небольшая

частность, подобно пятну на двух сложенных листах бумаги, проникает из «жизни» в текст и «портит» вещь, как не смогла бы испортить повесть иного сюжета и иного плана.

Возможно, прозаики сегодня мало обращаются к любовному сюжету именно потому, что такой сюжет крайне уязвим. И выше, и ниже речь у нас идет о «порче». Одна из очевидных опасностей — впадение в банальность, чего и мастер уровня Маканина не смог избежать. Один из способов уйти от банального есть полная откатка из текста того наркотика, на который подседают любительницы лавбургеров. Никаких красивых людей и вещей не должно оставаться в принципе. Действие происходит в трущобах, на задворках; качества главного героя таковы, что ни одной читательнице не ударит в голову влюбиться в него хотя бы на пару часов, а героиня изображается слегка юродивой и от природы несчастной. Типичный образец такой истории — последняя повесть Романа Сенчина «Один плюс один» (маканинское эхо трудно не услышать). Два провинциала в Петербурге, крайне бедные не только деньгами, но и духом, присмотрели друг друга в заштатной кафешке. Она работает здесь официанткой, он, дворник на близлежащем рынке, заходит сюда пообедать. Ни в ней, ни в нем нет ни искорки Божьей: они совершенно сливаются с тем тускло-грязным фоном, который автору было почему-то не скучно описывать. Собственно, и тянет героев друг к другу только потому, что среди мерзостей жизни хочется чего-то хорошего или хотя бы нормального. Конфликт хорошего с лучшим выразился у героини в том, что она польстилась на приглашение солидного клиента поразвлечься и ушла из-под носа героя в праздник большого города. Понятно, что счастье ей не привалит, мечты провинциальной дурочки не сбудутся. Казалось бы, что можно возразить против «правды жизни», изображенной вполне профессионально? Только то, что эта правда лишена особой подсветки, превращающей и грязь в золото искусства. У Романа Сенчина получился антилавбургер, но намного ли он выше розового романа? Такое ощущение, что крайности сходятся.

Гораздо более живое явление — «Роман на два голоса» Ольги Постниковой. Здесь мы видим ту же вписанность любовной истории в социальный сюжет, ту же откатку кайфа и снижение love-образа до образа «маленького человека». Повествование идет не на два голоса, но скорее вполголоса — что позволяет автору избежать пошлости там, где более темпераментный литератор до нее бы непременно договорился. Такое ощущение, что текст постоянно балансирует на грани превращения живописных лохмотьев в бальное платье, а тыквы в карету — только в данном случае такое превращение было бы катастрофой (а не наоборот, как в известной сказке). Потому что бальное платье кукольно, золотая фура на колесах безобразна и помпезна; но сама возможность — легкое свечение текстового воздуха — создает особое литературное состояние, которое не дается Роману Сенчину.

Текст Ольги Постниковой принципиально камерный. И Он, и Она — социальные аутсайдеры. Действие романа идет при глубоком «совке», и Он — сотрудник режимного предприятия, не вписывающийся в рабочий быт заболоченной конторы, — разумеется, попадает на зубок недремлющим органам. Но конфликт заключается не в сопротивлении героев режиму, напряжение создается не за счет противостояния двоих любящих механизму подавления. Движение сюжета — это уход героев из внешнего мира во внутренний, из бедности в еще большую бедность. Они устраивают семейное гнездо в полузаброшенном доме, где постепенно всего становится меньше: денег, дров, «покупных» вещей. Но, несмотря на таяние их островка (агрессивная среда разрушает быстрее, чем они создают), этим двоим всегда остается что-то, чем они могут питаться физически и духовно: яблоки, стихи, ремесло. Кажется, что влюбленные могут уместиться буквально на микроне пространства; несмотря на бедствия, что обрушиваются на них в финале, герой и героиня про-

изводят впечатление неуничтожимости. В этом, наверное, и заключается удача автора: в игре масштабов. За счет такой игры «маленькие люди» больше окружающего мира. Любовный сюжет герметичен: читатель наблюдает героев, будто кукол в игрушечном домике или редких зверей в вольере зоопарка. Тонкости их любовных отношений (его самим собой не признанное чувство, построенное как отрицание отрицания, ее зверушечьи нежности, основанные на тяге к животному теплу) прописаны акварелью. Возможно, акварель и есть единственная техника, позволяющая обнаружить любовный сюжет вдали от лавбургера.

Боязнь «порчи» литературы посредством любовного сюжета есть и боязнь прямого высказывания. Преодолеть препятствие можно. Чтобы написать хороший роман с любовным сюжетом, надо не бояться написать плохой роман.

В прозе конца девяностых существует явление: «три романа на двоих». Именно так назывался творческий вечер Ольги Новиковой и Владимира Новикова, состоявшийся прошлой осенью в Клубе писателей. Пример этой литературной семьи еще раз подтверждает тезис об особой связи любовного сюжета с реальной действительностью. Видимо, в семье вырабатывается тепло, не позволяющее авторам надеть литературные маски искушенных циников. Книги двух совершенно самостоятельных прозаиков имеют ощутимое общее качество, которое я бы определила как мягкость и естественность письма. Примечательно, что оба автора, люди «по жизни» глубоко литературные и по-видимому всякого, сохраняют доверие к тексту и к слову. Небоязнь позволяет прямо говорить о чувствах там, где было бы логичней и «художественней» мыслить около.

«Мужской роман» и «Женский роман» Ольги Новиковой можно прочесть как романы производственные, говоря современным языком — технотриллеры. Первый текст предьявляет нам закулисные стороны театральной жизни, соединенной через ряд персонажей с областью гуманитарной науки. Вторая вещь рассказывает о работе крупного советского издательства: контраст между солидностью учреждения и пикантностью ряда служебных сюжетов создает картину шизофрении, в которой людям нормальным по определению плохо. Для тех, кто в курсе, оба текста насыщены узнаваемыми персонажами и структурами. Но этот отсыл к реальности, в котором по свежим следам усматривался даже скандальный элемент, я бы назвала побочным эффектом романов: уже сейчас, через несколько лет после первой публикации, это побочное практически выветрилось, а осталось основное.

Нетрудно заметить, что главные героини «Мужского романа» и «Женского романа» типологически сходны. В обоих любовных сюжетах они представляют сторону страдательную. Сторона победительная представлена мужчинами творческими, знаменитыми, успешными. Казалось бы, обе истории про то, как Золушке, при всем ее скромном обаянии, не удастся стать принцессой. На самом деле удастся. Суть не в том, что в финале обе героини обнаруживают мужскую руку, на которую могут опереться, а в том, что автор обнаруживает, где они талантливы. Казалось бы, на фоне таких значимых дарований, как поэтический и культурологический, скромный дар самоотдачи (которым обе героини обладают словно бы не по воле автора, а из собственной природы) выглядит чем-то частным и служебным. Но именно за счет любовного сюжета эти таланты в каком-то высшем плане оказываются равны.

В чем тут разница с повестью Владимира Маканина? Почему у признанного мастера структура цепенеет, а у писательницы, не обладающей ни таким опытом, ни таким масштабом мышления, то же самое — дышит?

Видимо, любовный сюжет — вещь настолько деликатная, что для движения его важны многие внешние обстоятельства. Например — как его изначально развернуть. У Маканина основная работающая камера, естественно, Тартасов. Тот, кто не любит. У Новиковой, несмотря на то, что в тексте при-

сутствуют ракурсы всех главных героев, «работает» героиня. Это ее история. В правильно ориентированной прозе возникают и ценные подробности. Таковы отношения Авы, героини «Мужского романа», с телефонным аппаратом, по которому ей может позвонить, но не звонит любимый мужчина. Телефон становится словно бы живым существом: одновременно тюремщиком и домашним животным, которого нельзя оставить без присмотра.

Ценность любовного чувства в романтической литературе и в ее измельчавшем наследнике, каковым сегодня является лавбургер, заключается в уникальности переживания, в его, если угодно, «сверхчеловечности» — что само по себе поднимает ценность героя и возвышает его над «толпой». В книгах Ольги Новиковой и Вл. Новикова главные герои подчеркнута нормальны. Апология нормы вообще видится мне новой тенденцией в современной литературе, ощутимо противостоящей экстремалам вроде Лимонова и тех, кто спешит за ним (и по историческим часам уже опаздывает). Пример, не относящийся к теме данных размышлений, но тем более убедительный: книга Анатолия Наймана «Сэр», где «русский оксфорд», философ и историк культуры Исая Берлин подается как идеал нормального человека. У Берлина могла бы быть иная судьба, не эмигрируй его семья из Петрограда в Лондон. Вероятно, это другое (присутствующее в романе Наймана как обозначенная возможность) оказалось бы более драматичным, нежели реально прожитая благополучная жизнь. Вероятно, для романа получился бы более выигрышный материал. Но — это уже цитата из Вл. Новикова — «ХОРОШО ЖИТЬ ХОРОШО». И не только в том отношении, что так выходит счастливей для самого человека. Так выходит глубже по жизненной его философии, в конечном итоге полезней для культуры.

Герой «Романа с языком» сообщает читателю, что женщин любит больше, чем мужчин. Из этого заявления (еще не читая романа) можно сделать вывод, будто перед нами тип сексуального гангстера, находящего вкус в пополнении донжуанского списка. Ничуть не бывало. Герой «Романа с языком» на самом деле однолюб. Ирония его судьбы заключается в том, что брака у него получается три. Его женщины покидают его по разным причинам, но все три живут в нем, образуя странный конгломерат, какой у донжуанов невозможен в принципе. При этом герой, как уже было сказано, не играл и исключительных страстей, но человек нормальный, сознающий и даже подчеркивающий свою обыкновенность. Он, филологический мужчина без жесткой биографии, даже трогателен в своей *невинности*, он совсем не искушен избыточным опытом. Но ровно поэтому он способен жениться на девушке из дома свиданий, рыжей и выше себя ростом, — то есть совершить по всем меркам экстравагантный поступок, воспринимая событие как абсолютно естественное.

В «Романе с языком», как и в романах Ольги Новиковой, интересны частности любовного сюжета. Сам сюжет, вообще говоря, не обрел убедительного финала: герой попросту растворился в жизни, как это и бывает почти всегда в сегодняшней прозе. Однако если в реальности можно говорить о любви старыми словами, не доказывая, но только свидетельствуя о ее присутствии, то литература требует выразительных обновлений, неожиданных опосредований. Таким опосредованием в книге Вл. Новикова стала работа героя над диссертацией — в одной комнате со спящей женой, которую он иногда будил, чтобы задать ей какой-нибудь филологический вопрос. «Впрочем, иногда будить ее не нужно было: достаточно было взглянуть на линии, особенно на переход от подмышки к груди, чтобы сообразить, как устроено все правильное и щедрое в этом мире, и язык в том числе. В известной мере Тильда была моей натурщицей — не то чтобы я претендовал на высоты каких-нибудь Пикассо или Дали, — ведь и заурядные рисовальщики работают с натурой».

Романы Новиковых — вещи характерно пологие, подробно-психологичные, вообще характерные, как мне кажется, для состояния любовного сюжета в современной прозе. В этой связи не совсем случайно то, что Ольга Новикова называет своих героинь «тургеневскими девушками». Это не только порт-

ретная характеристика и индикатор отношения к героиням внешнего «нетургеневского» окружения (в сплетении разнонаправленных честолюбий и нетрадиционных сексуальных амбиций не так-то просто доказать самой себе собственное право на нормальность). Это почти рефлекторный жест — поиск опоры в той литературной традиции, где любовный сюжет был легитимен. И уже не очень важно, что тургеневская Ася скорее неврастеничка, мало похожая на прозрачный и цельный образ, сотворенный не автором, но временем. «Тургеневские девушки» есть *идеал нормы* — что само по себе парадоксально и достижимо не в самой литературе, но в коллективном представлении о ней.

Говоря о rendez-vous в конце миллениума, нельзя не сказать о текстах новых авторов, которых принято относить к «поколению П». Во-первых, потому, что любовные переживания — самый сильный и едва ли не единственный *подлинный* опыт, который молодой человек может перенести из «жизни» в «литературу». Прочее чаще всего относится к опыту эстетическому (музыка, книги, кино) и опыту, полученному путем эксперимента (примером служит известный тур Сергея Сакина и Павла Тетерского в Лондон, по материалам которого был написан роман «Больше Бэна», — но чаще эксперимент сводится к приему алкоголя и наркотиков). Во-вторых, означенное поколение, уже подпираемое новой, еще более юной волной литераторов и уже не скрепленное, как прежде, авторитетом Виктора Пелевина, вот-вот распадется на отдельные писателей, каждый из которых отвечает сам за себя. Поэтому самое время понять, есть ли у «поколения П» собственно поколенческие достижения и не является ли привнесенная ими новизна таким же мифом, как и многое другое в литературе.

Одна из заметных представительниц генерации, Анастасия Гостева, в своем первом романе «Приют просветленных» не только прописала любовный сюжет, но и обратилась к старому доброму эпистолярному жанру. Фишка в том, что герой и героиня обмениваются посланиями по электронной почте. Свобода производства компьютерного текста имеет обратной стороной необязательность высказывания. Соответственно переписка героев болеет теми же болезнями, что и вся литература в Интернете: она не стремится к совершенству формы и не «держит экзамена» на отметку по гамбургскому счету. Собственно, те же самые проблемы у всего романа (эпистолярная часть чередуется с повествовательной, тоже весьма замусоренной).

Сама динамика отношений между Кирой и Горским вполне укладывается в традиционные повествовательные руслы и даже напоминает онегинский сюжет. Сперва она тянется к нему, а он отталкивает ее из боязни утратить свободу. Потом он понимает, что без нее не может, а она уже повзрослела, освободилась от его влияния и нашла себе американского бой-френда. Но впечатление такое, будто никакие love-образы не участвуют в этих отношениях, воображение героев не работает. Место чувств занимают *потребности* — и что такое эта идущая «от живота» потребность-в-другом? Кажется, что «поколение П», отторгая взрослый мейнстрим с той же категоричностью, с какой последний отвергает лавбургер, пытается и чувствовать на собственный манер. В действительности это поиск оригинальных опосредований, в каковом поиске вместе с водой выплескивается ребенок. Желая непременно быть новыми, литераторы «поколения П» видят вокруг себя много места, занятого старым, и вместо свободы чувствуют тесноту. Ощущение тесноты и есть главное, что я нахожу в романе Гостевой — несмотря на его многословность.

Самое интересное, что Гостева написала — сама, вероятно, того не ожидая — социальный роман. В нем показан образ жизни и стиль мышления той «золотой молодежи», что для всей генерации служит ориентиром. Героя и героиню разъединяет не только колебательный сюжет «любит — не любит», но и трещина внутри тусовки, отделившая «новых» от «самых новых». «Ах, ну, естественно, сидя дома по уши в долгах, хорошо рассуждать про этнические ре-

сурсы. Только ты мне сначала верни пятьсот долларов, которые взял три года назад», — отрезвляет Кира интеллектуала Горского, не заметившего, что погода на дворе в очередной раз переменялась. «Видишь ли, Горский, есть дух времени, и он сейчас таков, что правильно быть богатым, умным, здоровым, красивым и счастливым, а не бедным, глупым, несчастным, уродливым и больным». В романе декларируется понятие любви как дара и испытания, но вопрос о том, что «правильно», оказывается важнее. Густая каша из мировых религий, философских систем, модных открытий и наркотических практик топит в себе то внятное и ценное, что отношения героя и героини привносят в литературу.

Гораздо больше мне нравится первый роман петербуржца Ильи Стогоффа «Мачо не плачут» (вторая его книга, «Революция сейчас!», написана явно из побуждений внелитературных). Здесь показана «история молодого человека» в новом времени и в новом месте: «Если вы заметили, слово „любовь“ в этой книге я не употребил ни разу, хотя если и была в жизни молодого человека любовь, то ее история перед вами. Но простите, разве ЭТО похоже на любовь? Может быть, ему нужно было учиться любви, как в школе он учился математике, в которой до сих пор ничего не понимает?» Драма героя в том, что вся его жизнь проходит в сослагательном наклонении. Мир его, состоящий из «правильных» компонентов — музыки, алкоголя, легких наркотиков, необременительной в рабочем плане журналистики, — недостоверен и недостаточен. Герой видит себя на руинах и не понимает, что именно разрушено. И сам он, и окружающие его персонажи разучились делать какие-то обыкновенные вещи и теперь нуждаются в научении, в начальной школе жизни. Произошел общекультурный слом, и такой феномен, как любовь — тоже часть и плод культуры, — стал неопознаваем, неформулируем в тех культурных кодах, которые предлагает молодому человеку выпавшая ему современность. Нестыковка между личным переживанием и тем языком, каким говорит с героем его поколенческая, единственно возможная для него реальность, — вот источник трагизма этого несовершенного, больного, но несомненно живого текста.

Сложно сегодня делать прогнозы на первое десятилетие XXI века — но очень может быть, что оно уйдет на выработку такого кода и такой эстетики, которые сумеют реабилитировать базовые ценности, в том числе любовное переживание и любовный сюжет. Роман «Мачо не плачут» всего лишь констатирует утрату. Герой и героиня словно исполняют странный танец отречения — парой, но по отдельности, то и дело теряя друг друга в дурном алкогольном тумане. Но как факт литературы эта книга уже не друга, а друга деградации. Видимо, модным авторам середины девяностых было легче: ломать — не строить. «Поколению П», нравится им это или не нравится, придется начинать какое ни на есть строительство. Им предстоит «игра на повышение». И для них любовный сюжет может стать едва ли не самым трудным квалификационным тестом.

Не всякая литература есть абсолютная нетленка. Многие тексты подобны камешкам на дне ручья: в воде они ярки и приманчивы, но стоит их вынуть и дать обсохнуть — превращаются в белесые грубые голыши. Любовный сюжет — особенно нежная начинка: без омывающей влаги тут же заветривается и засахаривается. Так происходит даже с классической тургеневской «Асей». Нетрудно догадаться, что ручей — это поток времени. Свойства темпорального потока настолько загадочны, что можно себе позволить некоторые антинаучные фантазии. Что, если прошлые человеческие поколения, с которыми нынешние генерации в «режиме реального времени» встретиться не могут, отличаются от нас, сегодняшних, больше, чем мы думаем? Предположим, некое устройство переносит нашего современника на полтора столетия назад. Не обнаружится ли между ним и «тургеневскими девушками» полная несовместимость, вплоть до биологической? Не окажется ли он на Земле совершенным марсианином? Принимая эту глупость за рабочую гипотезу, мы можем объяс-

нить возникновение защитного купола с особым составом атмосферы, где обитают выродившиеся сюжеты про великую любовь.

Rendez-vous в конце миллениума есть встреча героя не с любимым или любимой, а с самим собой. Причем не факт, что свидание состоится: «я» героя может заплутать, не явиться, надраться, просто все проигнорировать. Другой человек есть всего лишь повод для коллизии, не слишком обязательный, не слишком сам по себе интересный. Короче говоря, кризис сюжета налицо. Культурные сдвиги, по всей видимости, разрушают не только любовные темы в литературе, но и — обратным ходом — сами чувства, какие реальные люди переживают в реальной действительности. «Секс да секс кругом...» — констатирует Владимир Новиков в упомянутом выше романе. Все обнаруживает склонность к упрощению: «поколение П», оказавшееся в развалинах, не сразу сообразило, что обломки хоть и причудливы, хоть и создают иллюзию некой новой сложности, но целое здание, пусть бы и сарай, есть более высокая форма организации материи. В этой ситуации презренный лавбургер служит не только товаром на рынке, но и страховкой от последнего распада.

Имеем ли сегодня повод для оптимизма? Пожалуй, да. Он заключается в том, что жизнь консервативней и инертней искусства. Интерес читателя и издателя к литературе non-fiction симптоматичен. Имеется и любовная документалистика. Журнал «Континент» опубликовал воспоминания Татьяны Полетаевой о ее муже, поэте Александре Сопровском. Воспоминания включают и письма поэта, которые можно цитировать безо всяких комментариев: «Я никого лучше тебя не знаю. Есть люди очень хорошие, очень умные есть, есть очень мне близкие, но ты просто-напросто очень многие вещи делаешь так хорошо, как никто другой. <...> я в тебя и в твою любовь верил, как в звезды, — что бы ни случилось, они всегда над головой, лишь бы была ясная погода».

МАРИЯ РЕМИЗОВА



К ВОПРОСУ О КЛАССОВОМ АНТАГОНИЗМЕ

Кто не знает Александра Агеева? Его трудно не знать. Он боец. Следовательно, *критикует* и *бьет*. Добро должно быть с кулаками... В интернетовском «Русском Журнале» под аппетитной рубрикой «Практическая гастроэнтерология чтения» (<http://www.rus.ru/authors/aageev.html>) Александр Агеев лупит Романа Сенчина.

«На дни мирового кризиса, — начинает Агеев, — у меня выпало самое раздражающее чтение, которое я только могу себе представить <...> повесть Романа Сенчина „Минус“¹ <...>. Минус на „Минус“ никакого плюса не образовали, а вызвали некое, что ли, нравственно-литературное отравление...»

Я уже давным-давно поняла, что мои представления о жизни глубоко устарели и не надо даже надеяться на оправдание самых, казалось бы, напрашивающихся ожиданий — и все же после такого зачина ну просто на автомате должен следовать хоть минималистский, хоть самый лаконичный разбор.

«„Минус“ — это усеченный Минусинск, где мается от недостатка „бабок“, „хавчика“ и „бухалова“ некто Роман Сенчин, монтировщик местного театра. Некоторое время бригада монтировщиков раздумывает, как бы им половчее ограбить кассира того же театра, — дело-то житейское...» С такой вот потрясающей лапидарностью критик изложил сюжет «Минуса». Беда лишь в том, что «ограбление» кассирши — не просто одна из многих подробностей, но и чистая *виртуальность*, *болтовня*, одна из множества фантазий, наполняющих текст, сама по себе мало что значащая, обретающая смысл лишь в контексте, который Агеев как раз и опускает. Не по лени, конечно. Просто контекст разрушил бы версию, выбранную критиком для нынешнего излияния желчи.

Агееву страшно не понравилось, что Ирина Роднянская («авторитетнейшая» — язвит он) позволила себе заметить «неожиданное пространство», открывающееся под «верхним слоем» сенчинского текста (речь в статье Роднянской «Гамбургский ежик в тумане» («Новый мир», 2001, № 3) идет об «Афинских ночах», но высказывание правомерно и в отношении «Минуса»). Поскольку Агеев избавил себя от сколько-нибудь внятного разбора текста и сразу перешел к инвективам, нам *придется* сделать лирическое отступление и самим представить текст так, как он видится нашему скромному взору.

Главный герой-рассказчик действительно Роман Сенчин. И он действительно работает в бригаде монтировщиков в провинциальном театрике. Живет в общежитии. Действительно пьет. Пьют и другие персонажи, и косяки в тексте тоже фигурируют. И вообще представлена довольно мрачная и, по видимости, глухо безнадежная картина задыхающейся в самой себе жизни.

И язык «Минуса» (как, впрочем, и всех других известных мне сенчинских текстов) умышленно снижен, груб, неизящен, изобилует сленгом...

Но это не исчерпывает содержания текста.

¹ «Знамя», 2001, № 8.

Все без исключения персонажи существуют как бы в двух параллельных реальностях: обыденной, засасывающей, непреодолимо застывшей — и маняще-фантастической, обещающей какие-то перемены, надежды, — и, конечно, недостижимой как мираж. Метафора задана самим бытием театра, реализована на протяжении текста буквально десятки раз — родители героя тешат себя надеждами на невиданный урожай благодаря изобретению фантастически усовершенствованных грядок, сам герой то пытается разглядеть в неизвестной девушке какую-то невероятную красоту, то рвется в другой город... Один персонаж стремится в Ирландию на помощь бойцам ИРА, другой мечтает бросить пить и заняться настоящей живописью... Ограбление кассирши стоит в общем ряду этих заведомо неосуществимых проектов — монтировщики мечтают не о том, как хапнут деньги, а о том, как начнут новую жизнь.

Да, они слабы и безвольны. Да, их мечты во многом убоги, как убого их существование. Но в них живет высказанная только рассказчиком тоска по иному бытию, принципы которого им никогда не сформулировать и, может быть, никогда и не понять. И этот мучительный зазор между человеком и бытием, заставляющий его метаться как зверя в клетке и выть на луну, прописан в «Минусе» с такой обезоруживающей откровенностью, с такой *болью*, что нужно иметь уж очень специфический слух, чтобы этого не заметить.

Зато заметить совсем другое.

«Этаких „маленьких людей“, этой вредной мелкой сволочи, я повидал — „изнутри“, „извне“ (Агеев любит цепляться к *чужой* стилистике, вот и мы его спросим: „извне“ — это как? И что следует тогда понимать под „изнутри“? — *М. Р.*) и как угодно еще — в своей жизни столько, что давно понял: давнее словосочетание „люди подлого звания“ не было барским глумлением над „простым людом“, а являлось просто очень точным социологическим определением. Это даже, может быть, антропологический тип такой, который даже в самые благоприятные для него времена — при советской власти — не сумел шагнуть выше по лестнице эволюции, зато невероятно размножился».

Сразу же поздравим Агеева с выстраданным открытием — в словах «люди подлого звания» в самом деле нет и намек на барскую песь. Точнее, не было, куда оно входило в речевой обиход *дворянства*. «Подлое сословие» — это всего-навсего сословие, *подлежащее* податям, собственно и обеспечивающее своим трудом благосостояние сословий благородных. А вот уничижительный оттенок оно приобрело уже в устах тех, кто всеми силами пытался от него дистанцироваться, в устах всякого рода российских *парвеню*, чувствительно зажимавших нос при любом соприкосновении с взрастившей их средой. В русской литературе это явление зафиксировано преимущественно в образах лакеев. «Может ли русский мужик против образованного чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. <...> Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит» — так изволил выражаться Павлуша Смердяков, в агеевской статье не раз помянутый. Ему вторит другой лакей, Яша: «Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно». Есть и стихами:

Не вашей подлой хворостью,
 Не хрипотой, не грыжею —
 Болезнью благородною <...>
 Я болен, мужичье! <...>
 С французским лучшим трюфелем
 Тарелки я лизал,
 Напитки иностранные
 Из рюмок допивал...

Сколько времени прошло, какие масштабные исторические сдвиги повидало отечество, а стиль и лексика ни на йоту не изменились! Мы позволяем себе так бесцеремонно обращаться с г-ном Агеевым, поскольку сам он *никог-*

да не церемонится с теми, кто ему почему-либо на данный момент неугоден. Зайдет ли речь о «редакционных дамах», слепо отстаивающих право Сенчина на публикацию в журнале, где Агеев некогда верно служил, так они получают эпитет «немолодые», словно неведомо ему, что приличные люди себе такого не позволяют. Видимо, сам Агеев все ощущает себя *девушкой, Минервой*, хотя в другой, более ранней, статье опрометчиво признался, что уже в 1970 году у него «лично, например, первая любовь в разгаре». А уж, не приведи Бог, придет на ум кто-то *по-настоящему* ненавистный. «Словом, представьте себе Смердякова, который вдруг почувствовал в себе литературный дар и решил, что такому добру грех пропадать: ненавистью к человекам и ко всему „слишком сложному“ можно выгодно торговать. Благо у русской интеллигенции, которая ничему не научилась, вечно живой рефлекс на „талантливого человека из низов“ — Олег Павлов им когда-то успешно воспользовался, теперь вот Роман Сенчин пользуется».

При чем тут Павлов? А Павлов Агеева вообще раздражает. В статье «Самородок, или Один день Олега Олеговича» («Знамя», 1999, № 5) он его уж нес, что называется, по кочкам: «Только из одной павловской кашки вылезешь, как тут же в другую угодишь». Пользуясь счастливо найденным прямо тут же у г-на Агеева выражением — «комментарии излишни».

Но вернемся к Сенчину. «Сенчин пишет, если хотите, „чернуху второго поколения“ <...> Автор внутри этой жизни, он говорит на одном (мусорном, тошнотворно-физиологическом) языке с персонажами, все его претензии к этой жизни — мало! Мало „хавчика“, мало „бухалова“, мало „бабок“...» Странно. Ниже Агеев уверяет, будто он «достаточно грамотный критик» и ни в коем случае не перепутает, «что говорит автор, что — герой-повествователь, а что — персонаж». Блицхарактеристика «Минуса» заставляет усомниться в точности самоопределения. Агеев так отождествляет автора с персонажем, и это еще полбеды.

Все, оказывается, куда серьезнее. Оказывается, еще в «Знамени» Агеев начал борьбу с... страшно вымолвить, ну, одним словом... нет, трепешем. Пусть скажет сам. «...я — абсолютный позитивист, релятивист и вообще циник — на редакционном собрании выступал на ту же тему (о прозе Сенчина. — *М. Р.*) в совершенно мне несвойственной стилистике: что-то о том, что вот через такие рассказы и приходит в мир Дьявол (фигура князя тьмы так поражает воображение г-на Агеева, что он пишет его с прописной буквы. — *М. Р.*), а отдел прозы становится его пособником. <...> от рассказа Сенчина отчетливо шибало серой, там воистину чуял я присутствие врага рода человеческого».

Что тут сказать? Можно, конечно, мысленно вообразить себе ситуацию, в которой *и райски двери открыты увидеть можно*. Но такие дешевые приемчики оставим на долю Агеева. Вообразим другое. Допустим, этот «абсолютный позитивист, релятивист и вообще циник» внезапно воцерковился. Дело, вне всяких сомнений, хорошее. Допустим, что в этом новом состоянии душа просит чего-то вроде «Добротолубия» и в крайнем случае «Столпа и утверждения Истины». Кто мешает? Однако может ведь он при том «не любя», но «вполне спокойно и холодно» читать Сорокина, «сознавая: это игра такая». А Сенчина не может (потому что не игра?). Не может про «жизнь современных „маленьких людей“, чьи интересы зациклены на „хавчике“, „бухалове“ и „бабках“ для добычи первого и второго». Где «венец мечтаний» — «хороший косяк, да не для „расширения сознания“ и прочих медитативных целей, а для более качественного забытия». То есть для «расширения» все-таки, так и быть, можно? Ну и для этих, медитативных? Чтобы то есть по-благородному, *по-господски*?

В а р я. Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним.
Я ш а. Выводят только из терпения.

(Чехов, «Вишневый сад»).

Р Е Щ Е Н З И И. О Б З О Р Ы

АВТОБИОГРАФИЯ ВРЕМЕНИ

Николай Одоев. Повторенное эхо. Рассказы. [Составление и редакция В. С. Германа]. М., [Некоммерческая издательская группа Эвелины Ракитской], 2001, 200 стр.

Передо мной — разве не очевидно? — проза. Но мне хочется все же сказать — попытка прозы. Звучит даже претензией на определение, во всяком случае, потребует пояснений. «Повторенное эхо» — сборник рассказов практически никому не известного автора Николая Одоева (Николая Георгиевича Никишина), два его рассказа были опубликованы в 1993 году, спустя девять лет после смерти, в журнале «Новый мир». Как упоминает один из публикаторов — остались незамеченными.

И вот — опубликовано почти все написанное. Усилиями друзей с любовью оформлено в хорошо изданную книгу. Но уже на первых страницах, где автора и его творения пытаются представить публикаторы, читатель оповещается о том, что ему предстоит познакомиться с продолжателем традиций А. Платонова, Ю. Казакова, В. Шукшина, В. Максимова, более того — разглядеть классика русской литературы XX века. И даже предуведомляют, что, возможно, будущему критику предстоит еще «осветить тему Одоев и Пушкин». Дружеское желание ввести писателя в литературный истеблишмент? Но ведь вопрос совсем не в иерархиях, да и какой смысл имеют они для литературы... Мне кажется, что это желание «застолбить место» Николая Одоева в «литературе», эта попытка предопределить наше восприятие на самом деле лишь ограничивает возможности опознания того, с чем мы имеем дело. «Попытка прозы» — для меня это, повторю, предварительное имя того, что я прочитала.

Думая, как представить этого безусловно своеобразного автора, я поняла, что, может быть, надо сначала попытаться ответить себе на очень простой, предельно наивный вопрос: о чем все это? Потому что автор не дает особых поводов зацепиться за сюжет, увидеть, например, какую-то яркую сцену и, запомнив ее, возвращаться к ней, особо не побуждает размышлять над «замыслом» того или иного рассказа. Как если бы он хотел не столько сказать что-то определенное, сколько пытался облечь движением письма какие-то свои жизненные состояния, выразить атмосферу своей (нашей) жизни. И удалось: кажется, что тебя вновь и вновь заставляют эмоциональной памятью возвращаться в то, что ты так хорошо знаешь. Всем своим опытом советской унылости жизни. Именно эту унылость, ее, и только ее, неизменно передают все рассказы Одоева. Не иначе как поэтому они удручающе монотонны.

Наугад. Два совсем коротеньких рассказа: «15-й вагон поезда Москва — Тбилиси» и «Не в тон». Не понять, прием ли тут осознанный или вполне спонтанное проявление духа самого этого письма, — и в том и в другом рассказе трехчастный такт, отбиваемый повтором фраз. «Так весь вечер и просидел — молча, ожидая кого-то, глядя куда-то на косяк...»; «15-й вагон поезда Москва — Тбилиси так мотало из стороны в сторону, что было страшно». А в заторах этих отбивов — какая-то натужная попытка сказать, выразить непоправимую разьединенность с человеком — тем ли, другим, — в котором однажды показалось — свое, родное, чему можно доверять, что осветит мир новизной и надеждой... Еще и еще раз неудача найти в этом мире свое — осмысленное, отвечающее твоей надежде быть чем-то, состояться... Да... Дело в том, что пересказывать рассказы Одоева — почему-то невозможно. И цитаты не очень получается выбрать в подтверждение того основного, что выражают, как мне кажется, эти рассказы. Это «нечто» — как-то по ту сторону выбираемых и сопрягаемых автором слов. След, который остается от этих рассказов, какой-то странный, несловесный, должно быть — эмоциональный.

Авторы небольших предисловий к этой книге, объясняя прозу Николая Одоева, говорят о «натужно хрипящем из здешнего родимого подполья» голосе, о прав-

де и откровении и о том, что пишет он «тьму сознания, опустошенного нищетой и униженностью, когда нет прав ни на что», о выражении им муки этой задавленности... Вот это мне кажется довольно точным.

Рассказ «Пыльные стекла». Такт первый, на полстраницы: в двух словах заранее рассказана вся случайная жизнь героев. Марьяна Роша, жизнь, подвешенная между волей и тюрьмой, воровская малина, проституция и барышничество, пьянство, естественно; и все это — обыденно и неизбежно. Других горизонтов просто нет, «Пыльные стекла»... И ясно все — уже с самого первого полстраничного абзаца. Далее — повтор, повтор, повтор. Куда бы ни переходил взгляд рассказчика, он как будто хочет сообщить нам все то же, все то же самое. Плотная тавтология смысла. Передается — невозможность вырваться в другую жизнь, в другое смысловое пространство.

И в какой рассказ ни заглянешь — попадаешь в то же заколдованное место... Вот, на мой взгляд, один из лучших рассказов — «Возвращение. (Двор на Садовой)». Послевоенная коммунальная Москва. Солнце, заливающее двор старого дома из множества квартир-клетушек-временок. В подбор, через запятую выписано огромное множество деталей этой жизни. Вспоминается почему-то плотный фон, который выстроил Герман в своем «Хрусталеv, машину!». И там и здесь как будто сам фон продуцирует повествование. Плотно прилегают друг к другу три фрагмента (вряд ли можно назвать их сюжетами) рассказа. Солнце — двор — тополь; дядя Коля и его трестовский трофейный «мерседес»; вернувшийся с войны Георгий Матвеевич. И в унисон, через эти фрагменты: как будто воспрянувшее чувство жизни, промельк неопределенных надежд и — по нисходящей — приходящее понимание, что возвратится все в ту же колею...

«Дневной содом проезжей части Садовой улицы сквозь глубокий и низкий колодец сводчатых тесных ворот пробирался на залитый солнцем двор дома и там ненавязчиво аккомпанировал той неспешной и выздоравливающей, отходившей от военных потрясений жизни, какую вели здесь обитатели этой древней, барской еще, цитадели...»

«За простенькими занавесочками дешевого ситчика привычно дышала опять же понятная всем жизнь, и повсеместно царила всемогущая и однообразная забота о завтрашнем дне, очередной и нелегкой работе, о несомненной победе нашей над врагом, о чистой любви, детях, хлебе и святой вере в происходящее, неизбежность которого определялась неизбежностью собственного существования, собственной судьбы своей и того неминуемого времени, в котором и первый неразумный крик инстинкта, и судорога смертного осмысленного хрипа отпускала судьбой на всех поровну, без предубеждения или пристрастия к кому-либо.»

«А жизнь так крепко держит в своих руках, и радости ее побольше горя тянут (она категорична: живой — живи!). И уже не только мысли, горькие и насущные, основой ложатся в рассуждениях Георгия Матвеевича, а и горькая расслабляющая настойка старой бабки Кати, и магазинная от друга с того двора, и задыхающийся хрип пластинки патефонной, и сизый чад от папирос, и шарканье сбитых подошв по неопрятному и взрытому нуждой паркету пола, и мельканье полуголых шелушащихся икр... Лягуха-муха жизнь! Брала она свое, требовала свое ото всех без разбору, несмотря ни на что, не отпускала она от себя никого.»

Вновь — погружение в размеренно-привычно-тусклое, но ведь необходимое существование.

Настойчиво кажется, что в рассказах этих как будто чего-то недостает. Как будто усилие — не состоялось. Нет энергии письма, какая-то анемичность выразительной воли. Ни страстей, ни удивлений, ни смеха, ни иронии, даже, пожалуй, ни четких зримых контуров сцен и вещей, ни, например, запахов. Какая-то скороговорка мыслей, чувств, впечатлений. Без выстраивания пространства рассказа, без продуманно-выверенной стратегии письма.

Вот такая странная проза. Да, в начале я говорила о попытке прозы. И сейчас это можно уже попробовать прояснить. Мне кажется, что опыт прозы Николая Одоева принадлежит не столько «художественной литературе», сколько своеобразным образом, более «первично», что ли, «документирует» эпоху. Его рассказы не столько произведения, скорее — именно документ, по которому великолепно счи-

тывается само состояние времени семидесятых — восьмидесятых. Мы сами — и именно сами мы — гаранты возможности «считывания» этого специфического опыта. Опыта «стабильного», усредненного и бесперспективного существования. Опыт этот, с такой достоверностью всплывающий в нас (остановимся — сразу вспомним), и не требует многословия, он лежит в нас мутным нерастворимым осадком. Недаром в некоторых приметах и нашего сегодняшнего дня мы вдруг безошибочно узнаем тоску привычно-советских форм жизни. Николай Одоев удерживает и продуцирует эту — эхом отзывающуюся в нас — культурную память. Передает ее самим строем, самой стилистической шершавостью, самой какой-то литературной недооформленностью этого письма. Попытка прозы — как попытка жизни.

Елена ОЗНОБКИНА.



НОВЫЙ РУССКИЙ ИДИОТ

Федор Михайлов. Идиот. Роман. М., «Захаров», 2001, 429 стр.

«В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона».

«Холодным ноябрьским утром измученные ночным перелетом пассажиры рейса SU 316 Нью-Йорк — Москва напрасно пытались разглядеть в серой дымке за иллюминаторами приближающуюся землю».

Итак, к двум российским городам, двум столицам, приближаются два средства пассажирского транспорта. Однако, несмотря на аналогичные погодные условия, а также на полное тождество времени года и суток, оба эти действия происходят в абсолютно разных временах.

Дело, разумеется, не в том, что речь идет о поезде образца 1860-х годов, а самолет сделан в наши дни. Первый фрагмент — это начало романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», действие которого, будучи обозначено достаточно конкретно, существует уже как бы вне времени и пространства. Происходящее в романе, в силу своей метафизической мощи, имеет отношение ко всему человечеству, вне зависимости от того, где, когда и кто берет в руки эту книгу. Роман Достоевского «Идиот» — своего рода незамкнутая система, восприятие которой может быть настолько же различно, насколько отличается уровень запросов у того или иного его читателя. Ищет ли ответа на трансцендентные вопросы, пытается ли разобраться в психологических тонкостях героев романа, жаждет ли занимательного сюжета — любое из намерений в связи с «Идиотом» вполне достижимо. Все это достаточно очевидно — однако в данном случае повторение аксиом имеет смысл.

Что же касается второго отрывка, это начало совсем другого романа, который волею судеб поименован абсолютно так же. К тому, что это за воля, мы еще вернемся. В данном случае мы имеем дело с попыткой пересказать Достоевского «своими словами», перевести его на «новый русский» язык.

Автор делает это почти буквально, со школярской резвостью переименовывая князя Мышкина в Александра Сергеевича Гагарина, дальнего родственника космонавта, Рогожина — в Макара Барыгина, Епанчиных — почему-то в Панчиных (незаконные дети, что ли?), а Настасью Филипповну — в Надежду Кирилловну, красавицу и фотомодель.

Само же содержание этого произведения напоминает одно весьма занудное развлечение, распространенное в пионерских лагерях застойного времени, когда вожатые сажали детишек в круг и заставляли придумывать «старую сказку на новый лад». Переделывать в современном варианте какую-нибудь «Красную Шапочку» или «Репку». Иногда получалось даже забавно.

Для того чтобы представить, как это все выглядит у Федора Михайлова на материале Федора Достоевского, фантазии много не потребуется. Пятидесятидоллар-

ровые купюры, джинсовые куртки, мобильные телефоны и прочие прибабасы. Ей-богу, скучно перечислять.

Что же получилось в результате этого эксперимента? Получилась очень плохая литература. Герои переместились отнюдь не в «наши дни», а в некое мертвое поле, пространство компьютерной игры, фигуранты которой — просто куклы, сделанные неумелой рукой. Они все существуют в каком-то вакуумном времени, в лакуне, внеположной любому представлению о литературе, какой бы она ни была.

Впрочем, вряд ли задача римейкера, скрывшегося под бесхитростным псевдонимом, была столь бессмысленной и простодушно-пионерской — попросту перенести действие великого романа на сто тридцать три года вперед. Странно было бы предполагать, что сочинитель озабочен тем, как донести до современного, не больно-то, по его представлениям, продвинутого читателя чрезмерно сложный и насыщенный вроде бы неактуальным сегодня пафосом текст «Идиота». Для такого случая существуют дайджесты основных произведений классики, издаваемые для слабообразованных старшеклассников средних школ, которым хочешь не хочешь, а сочинения-то писать придется. Кстати, проект коммерчески вполне успешный... Цель же Федора Михайлова была, думается, в другом.

Цель была — в очередной раз показать, на какие именно радикальные новшества способен участник современной литературной ситуации. То есть, другими словами, «если автор умер, то все дозволено». Однако в данном случае мертвым оказался не столько автор, сколько текст.

«Идиот» Федора Михайлова — конечно, отнюдь не первое творение подобного толка. Читателю хорошо знакомы другие современные вариации произведений русской классики — Чехова, Толстого, Тургенева etc. Однако в отличие, скажем, от Бориса Акунина, не впавшего в рабскую зависимость от чеховского текста, но создавшего на его основе собственный абсурдный миф — новую, постпостмодернистскую «Чайку», Ф. Михайлов не проявляет никакого креативного дерзновения. Он лишь механически переносит современный сленг и современные реалии в пространство романа Достоевского, отнюдь не создавая при этом новой реальности, но лишь искажая и деформируя прежнюю.

Людвиг Витгенштейн в своих «Философских исследованиях» приводит знаменитое сравнение языка с городом, где соседствуют здания разных эпох. Нам важна не столько эта аналогия, сколько вывод ученого: «Представить себе какой-нибудь язык — значит представить некоторую форму жизни». Здесь же, несмотря на все старания «переводчика», отсутствует какая бы то ни было форма жизни. Механическая языковая трансполяция оказывается совершенно непродуктивной.

Забавно, что Федор Михайлов пытается полемизировать с Достоевским, резко колеблет его треножник. Чего стоит один только анонс на переплете: «Того, кто пытался великодушием победить коварство, — ожидает безумие. Того, кто пытался выбрать между жалостью и страстью, — ожидает смерть. Помните — красота не спасет никого!»

Как мне кажется, основной задачей сочинителя было сотворить из «Идиота» произведение, принадлежащее массовой литературе. Однако это совсем не такое простое дело, как представляется на первый взгляд.

У массовой культуры — свои абсолютно незыблемые законы. Эти законы на самом деле гораздо более устойчивые, нежели в культуре элитарной, которая существенным образом ориентирована на новизну и художественное открытие. Массовая культура осваивает лишь те из былых открытий, которые с течением времени воспринимаются массовым сознанием как клише, как некая маркировка, уже привычная и легко опознаваемая.

С Достоевским же этот номер не проходит. Вероятно, потому, что из всех русских классиков именно этот писатель был наиболее близок к тем свежим разломам в культурном сознании, которые принес с собой XX век. Да, собственно, и теперь он остается вполне актуальным. Важно и то обстоятельство, что Достоевский, как никто другой из писателей XIX века, был чуток и восприимчив к первым ласточкам массовой культуры — а именно к газетному репортажу и «низкому» жанру детектива. Они были для него одним из источников вдохновения. И невозможно заново опустить его героев с метафизических небес в породившее их лоно.

...У Владимира Сорокина есть пьеса под названием «Dostoevsky-trip». Ее герои «сидят» на таблетках, каждая из которых переносит человека в пространство произведений того или иного автора. После этого путешествия, как после любых наркотиков, происходит ломка — разной степени тяжести. Персонажи «Dostoevsky-trip» попадают непосредственно к героям «Идиота». Доза оказывается смертельной.

Светлана ИВАНОВА.



В САМОМ ЦЕНТРЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Владимир Корнилов. *Перемены. Стихи и короткая поэма. 1999 — 2000.* М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2001, 112 стр.

Труднообъяснимо, но факт: Владимир Корнилов, обязанный возвращением в белодневную литературу новому «широкому» времени, занял по отношению к шагнувшему «за предел» *расширению* позицию чуть ли не самого левого крайнего! И безнравственная вседозволенность «дней свободы», и те перемены в составе и качестве общероссийской действительности (как они высвечены и отрефлектированы в новом его сборнике) столь недоброкачественны, что ничего, кроме глухого отчаяния, у автора не вызывают:

Считали: все дело в строе,
И переменили строй,
И стали беднее вдвое
И злее, само собой.

И дело тут не в словах как таковых (резко критических слов, а также жестов в нынешней словесности предостаточно), а в том, *что* — за словом: в эмоциональном его обеспечении, в доподлинности переживания или, если использовать корниловскую же метафору, в удельном весе «вещества гармонии». Как, каким образом, с помощью каких рецепторов мы измеряем тяжесть или легковесие этого вещества и соответственно отзываемся или не отзываемся — не знаю. Но здесь-то отзываемся! И вот что интересно: пока стих Корнилова корчится и корячится, не умея «страхнуть» угнетающую его «муку», ему не опасны ни банальности, ни общие места. Они лишь подсобляют хорошо, то есть внятно и при этом по-своему, говорить о предметах, общих всем. Закавыченное выражение — не страхнуть муки («но не страхну я муку эту») — есенинское; ассоциация вроде бы далековатая, поскольку ни сродства меж ними, ни сходства в выделке и в соображении понятий нет и в помине, и тем не менее, читая «Перемены», я вспоминала именно Есенина, точнее, те его стихи, где вопиет и кровоточит боль постреволюционной перестройки быта, психики, национального менталитета:

О солнце, солнце,
Золотое, опущенное в мир ведро,
Зачерпни мою душу!
Вынь из кладезя мук
Страны моей!

Вынуть душу из кладезя мук, на которые обрек соломенную Русь «злой Октябрь», Есенину, как известно, не удалось, Корнилову иногда удастся... Напряжение, с каким автору катастрофических «Перемен» даются мгновения «скорбного бесчувствия», ощущаешь почти физически, однако каждый раз в стадии искусственного обезболивания его догоняет другая беда! Освободив себя от «каторги чувств», самая отважная мысль — а Корнилов, напоминая, никогда не стеснялся мыслить в стихе и стихом — миг утрачивает свою победительную суггестивность, то есть ту самую особенность, производящую сильное впечатление, которая, начиная, наверное, с «Шофера» (в знаменитых «Тарусских страницах»), от-лич-ала его поэзию (в прозе он все-таки шагал, что называется, в строю, а в поэзии, всегда и

неизменно, едино-лич-но). Возьмем, к примеру, антибалладу об узнике Святой Елены («Буллат и злато»), где автор «Перемен», врез с русской поэтической традицией, ошарашивает нас безапелляционным: «Был большая падла маленький капрал». Согласимся: сказано хлестко, однако ничто, кроме даты (год 2000-й), даже не намекает, с какой это стати Владимир Корнилов ввязывается в бессмысленный спор с Михаилом Лермонтовым, зачем стаскивает с пьедестала героя «Воздушного корабля» и «Последнего новоселья» и почему именно «маленький капрал» ответствен за весь род людской.

Наводил орудья,
Насылал картечь,
Гибли кони-люди,
Их-то что беречь?

Если было надо,
Все сжигал подряд...

Можно, наверное, допустить, что речь идет не столько о Наполеоне, сколько вообще о «глядящих в Наполеоны»... Но мне, увы, процитированные строки показались не столько горестным откликом на очередной рецидив вечной (кавказской) войны, сколько произвольным изложением некоторых мест из книги Якова Гордина «Кавказ: земля и кровь» вроде следующих: «Потреблю вас с лица земли, и не увидите вы своих селений... Пройду с пламенем... попалю все, что не займу войсками... Вас сожгу. Из детей ваших и жен утробы выну...» (из посланий александровского орла, командующего Кавказским отдельным корпусом князя Цицианова к взбунтовавшимся горцам). Но это уже размышление по поводу, и недостаточности авторского текста оно не восполняет...

К счастью, искусственно обезболенных и уже по одному по этому выпадающих из психологического контекста или, наоборот, насильно вставленных в него произведений вроде «Булата и злата», «Острова» или сентенции по случаю находки считавшейся утерянной партитуры Вивальди¹ в рецензируемом сборнике совсем немного, раз-два и обчелся. На них, проглядывая наискосок, переводишь дух — перед тем, как остаться с глазу на глаз с унижительными для самолюбия россиян переменами:

Сгнили начисто крепи-сваи,
И в преддверии похорон
Побирается на развале
Это лучшее из времен.

Костерю его что есть мочи,
Но начхать ему на печать:
Говори и пиши, что хочешь, —
Слушать некому и читать.

И, грозя несусветным игом,
По столицам и по углам
Глушит нас уголовным рыком
Не грядущий, а сущий хам.

Понастырней он и пошире
Всех рабов да и всех господ.
Восхвалив его, заслужили
И приход его, и приплод.

¹ Я имею в виду вот какой момент из стихотворения «Находка». Сообщив читателю эту мировую «весть», Корнилов жестко подтягивает ее к вроде бы эффектному умозаключению: «Триста лет в аккурат / Принцип непререкаем: / Рукописи не горят — / Если их не сжигает». Раскавыченная цитата из Булгакова не только не превращает музыкальную полусенсацию в «артефакт», но еще и уводит читательское сопереживание совсем не в тот закоулок, поскольку туринская находка («В паутине, в пыли, в кьянти и стеарине») говорит совсем о другом — о том, как беззащитны, уязвимы, тленны «рукописи» и как равнодушна к их судьбе «река времен в своем теченье...»

Еще бесперспективнее выглядит постсоветская новь в короткой поэме «Дно», где дно — не знак придонной глубины-тайны, а всего лишь задворки мировой цивилизации, куда ходом вещей сбрасываются забракованные прогрессом тупиковые варианты Великого Эксперимента. Причем, по Корнилову, не в том даже злосчастье, что народ «доведен до дна», откуда никому, кроме «штукованных ребят», *на своей тягловой силе* не подняться. Это, так сказать, вершки, корень же нашей, одной на всех, казалось бы, непоправимой беды в ином — в том, что оказавшаяся на дне Россия вовсе не воспринимает выпадение из Большой Истории как национальную трагедию. Наоборот!

Праздники, да субботы,
Да воскресные дни,
И навалом свободы,
И с лихвой болтовни.

И такая отрада —
Попросту благодать! —
Оттого, что не надо
Никого догонять.

«Похоронный» пафос, с каким при первом чтении «Перемен» соглашаешься почти без сопротивления, по размышлении зрелом мог бы, наверное, вызвать пусть и осторожное, но все-таки несогласие со столь жестким диагнозом, если бы... Если бы перемены в сюжете собственной судьбы автора, во всяком случае те, что зафиксированы в рецензируемом сборнике, не оказывались в итоге покорными «общему закону».

Лев Аннинский (в биографическом словаре «Русские писатели XX века») довольно точно описал, хотя и не объяснил, парадокс Владимира Корнилова:

«Тяжелый, усталый стих Корнилова, непрерывно пропускающий сквозь себя и „прозу“, и „быт“, и „подробности“, смыкается вокруг невидимой точки в самом центре существования. Есть что-то, относительно чего все остальное — не важно. Это невозможно внятно очертить словами. Это существует в несоизмеримости со всем остальным. При таком „западании“ внутрь себя — поразительна живая чуткость поэта к внешним впечатлениям, неутолимое любопытство к фактам, неутомимому труду каждодневного бытия, ложащегося в тяжелый стих».

Так вот: в «Переменах» Корнилов наконец-то сделал видимым (очевидным!) это что-то, «относительно чего все остальное не важно»:

Дом:

Для других — неприметный,
В целом свете — один...

Женщина (как и созданный ею дом, единственная):

Сорок лет я, плебей,
От тебя без ума.

Дело, в которое можно «прятаться», «как в бомбоубежище».

Земля (не земля-родина, а земля — свое место) — и тоже в целом свете одна, оттого-то и жалко ее, жалость, как оказалось, держит и трогает сердце *нежней и суеверней*, чем любовь, даже *странная*:

И жалко было страну Россию,
Где вихри воют в пустых лесах,
Где в поле стонут кусты нагие
И тучи носятся в небесах.

И как только Корнилов решился рассекретить местоположение центра своего единоличного существования, стало ясно, что эта «точка» почти идеально совпадает с тем центром, к которому бессознательно, ведомая мощным инстинктом самосохранения, стягивает покалеченные и надорванные силы жизнь, именно *жизнь*.

существование, а не народ или страна, — потому как то, что происходит сегодня в бывшем СССР, угрожает небытием не только новой российской государственности, а вообще жизни. Больше того, после «Перемен» можно, кажется, предположить, что и раньше, до всего, в корниловском случае ярко выраженного «западания в себя» не было, а был вековой российский разлад между умом, падким на «торжественную дичь», натурой, обожающей «роковые минуты», и тайной любовью к своим пенатам, охраняющим домашний очаг... Не утверждаю, что Владимир Корнилов вполне отдает себе в этом отчет, однако объективно его лирический герой если чем и успокоен в хаосе неустойчивости, так это тем, что и ему, «заодно с другими» населенцами постимперской территории, смертельно устававшими от двухвекковой гонки, наконец-то не стыдно не рваться вперед («чтоб брюки трещали в шаг») и что хотя бы на восьмом десятке можно признаться:

Бестолковы великие дни,
И бесплодны, и сплошь безнадежны:
Выбирать заставляют они
Из того, что принять невозможно.
Я устал от минут роковых
И от прочей торжественной дичи.
Мертвым — почести, но для живых
В незаметном сокрыто величие.

Согласитесь, столь чистосердечное признание сдвигает авторские инвективы переменам несколько в сторону от того, что открыто и в лоб декларируется в первом стихотворении, давшем имя сборнику. И, видимо, совсем не случайно, что книга, открывающаяся «Переменами», завершается замечательной «Погодой», где вместо дерзкой страсти отрицания и брезгливого откола от нехорошего времени нам предлагается мужество принять все, что есть, и как линию личного поведения, и как ответ на новый русский вопрос — *быть или не быть*:

То колкий дождь,
То мокрый снег —
Весь день, всю ночь,
Весь год, весь век —

Ни мрак, ни свет,
А полумрак
С тьмой разных бед
И передряг.

А все равно,
Откинув спесь,
Все, что дано,
Приму, как есть, —

Весь год, весь век,
Весь день, всю ночь,
Весь мокрый снег,
Весь колкий дождь.

Алла МАРЧЕНКО.

✱

КАК НЕ ВПАСТЬ В ОТЧАЯНИЕ

Ирина Машинская. Простые времена. [Тенафлай], «Hermitage Publishers», 2000, 83 стр.
Ирина Машинская. Стихотворения. М., Издание Е. Пахомовой [ЛИА Р. Элинина], 2001, 104 стр.

Ирина Машинская начала регулярно публиковаться уже за рубежом вскоре после отъезда в Америку в 1991 году (на родине до этого увидела свет лишь дебютная, оставшаяся единственной «серьезной» подборка в альманахе «Истоки» в 1984-м) и была сразу замечена и достаточно высоко оценена эмигрантской крити-

кой. С тех пор за океаном вышли три ее книги, и только почти десять лет спустя, начиная с появившейся в конце 2000 года последней из них — «Простые времена», она была более-менее внятно помянута и у нас. И вот в Москве выходят ее «Стихотворения» — итоговое избранное за двадцать пять лет работы. Таким образом, в отличие от большинства заметных поэтов нынешнего русского зарубежья, уезжавших уже со сложившейся литературной репутацией, она из тех немногих, чей голос доходит до нас не обратной, но первой волной с того берега. В этом определенная сложность положения Машинской, поскольку то, сказавшееся в ее стихах, что очень важно для покинувших родину, вовсе не обязательно должно стать таковым по сю сторону океана, тут априори неизбежны определенный скептицизм и извечный вопрос о творческой состоятельности эмиграции.

Поэтому приведу полностью стихотворение, вызвавшее, пожалуй, наибольшее число откликов и ставшее визитной карточкой поэта:

Не сумев на чужом — не умею сказать на родном.
Эти брызги в окно, эта музыка вся об одном.
Я ныряю, хоть знаю, что там ничего не растет —
разве дождь просочится да поезд внезапный пройдет.

Разве дождик пройдет по карнизам, как в фильме немой.
по музейному миру, где вещи лежат — по одной.
Только это — да насыпь с травой горячей, густой
мы на дно унесем: нам знаком ее цвет городской.

Потому что, сказать не сумев, мы уже не сумеем молчать.
Солнце речи родимой зайдет — мы подкидыша станем качать.

(1992)

Парадоксальные стихи о том, что о чем-то, требующем непременно высказывания, автор сказать «не сумеет», но, как обнаруживаешь по прочтении, весьма впечатляюще говорит. Где не хватает слов, приходит на выручку ритм: то, что неподвластно обычной речи, передается рвущейся и возобновляющейся, тягучей, слегка ностальгической интонацией, накладывающейся на мерный полнозвучный анапест. В афористически отточенном финальном двустии вместе со сменой-расширением метра происходит неожиданное изменение темы, точнее, перенесение акцента. Невозможность полноценного высказывания «на родном» из сиюминутной констатации после нескольких попыток-воспоминаний внезапно осознается и формулируется как тотальная и неустранимая в принципе неизбежность, поскольку «солнце речи родимой зайдет».

Казалось бы, чисто эмигрантские темы-мотивы. Что все это может сказать нам, оставшимся со всеми здешними проблемами и никуда уезжать не собирающимся? А то же, что дает любая настоящая поэзия, волшебным образом превращающая частное во всеобщее. Представим, что цитированные строки написаны не «за бугром», а здесь и сейчас. Разве что-то сильно изменится? Разве кризис современной «большой» литературы, ее нечитабельная аморфность — это не «здешнее» переживание-впечатление? Разве не «подкидыш» наш «великий и могучий», без которого «как не впасть в отчаяние» среди засилья всякой розово-черно-желтой мертвечины? Разве не «подкидыш» во времена коммерческо-потребительской («оранальной» — по обидному, но точному пелевинскому выражению) жизненной установки и сам поэт со своими попытками что-то такое высказать на языке куда-то канувшей вечности? Или, как говорит Машинская: «Что в рифму гудеть нам, когда не слышать отголоска? / Ума ни обмылка не сыщешь, / ни мысли обноска?»

Не менее парадоксальна, чем «на визитке», и вся поэтика Машинской. Сгустки оксюморонных качеств и смыслов гармонично объединяются единством поэтического дыхания и мышления; видимое стремление к простоте и полноте высказывания сочетается со скрытой сложностью и недоговоренностью, почти зашифрованностью, а непринужденная и импровизационная интонация делает почти незаметной техническую изощренность и ориентацию на строгую форму. Но, пожалуй, именно благодаря эмиграции, где языковая изоляция сугуба (по слову нашего поэта, «полуденный мир поражает подобьем устройства. / Переехав, ты толь-

ко удвоишь размеры изгойства»), где не поблагодумствуешь в бытовой языковой стихии, тамошней Машинской *есть о чем сказать*, в отличие от многих здешних поэтов. У ее речи есть реальный повод, у ее глагола есть живой побудительный мотив, придающий стихам качества убедительности и подлинности. Но это — более порыв, чем конкретный предмет, более — жест, направление взгляда, подвижная развивающаяся тема, чем очевидный застывший смысл. Вот сказано, казалось бы, просто и даже с пафосом: «Свободы статуя, моя, / моя свобода!», но это — едва ли не об обратном, о том, что и в стране, поставившей свободу статую, та остается для ее паломницы целью едва ли достижимой: «Опять к тебе я не дойду, / видать, по водам...» И далее в захлебе метафор и гипербол: «Я шлю тебе свои суда, / даров подводы, / качающиеся стада / моей свободы» — здесь сразу все вместе: и признание в любви, и горькая самонасмешка разочарования, и какая-то надежда в одеждах отчаяния. Что характерно: пафос лирического высказывания сконцентрирован не столько на «свободе» или ее недостижимости и не на присутствии вместо нее гигантского муляжа, — предметом поэтической рефлексии, причем очевидного отталкивания и преодоления, является сама эта сложившаяся в современной культуре ситуация тотальной подмены ценностей. И это — существенный критерий. Машинская, очевидно, относится к новому, послепостмодернистскому поколению поэтов, которое я назвал бы «новым барокко» из-за характерного сочетания сложной, порой причудливой поэтики и духовной вертикали, сменяющих псевдоренессансную по интеллектуальному размаху, но духовно плоскостную вседозволенность постмодернистских предшественников.

Так же весьма показательна обнаруживаемая в стихах Машинской неважность внешнего биографического контекста. Особенность положения поэта в современном мире (как с недавних пор стало понятно и у нас) еще и в том, что поэзия если не окончательно, то достаточно надолго стала частным делом лиц, ее производящих. В этом смысле любой, пишущий сейчас стихи, уже тем самым находится во «внутренней эмиграции», но не столько в духовной (ибо — плюрализм и политкорректность) или политической (ибо никто тебя и слушать не станет, не то что оспаривать), а едва ли не бытовой. Поэзия, как убеждает нас равнодушное большинство, — просто другая, маргинальная, форма жизненного поведения и досуга, причем обычно никак не связанная со способом добывания хлеба насущного. Теперь биография поэта — это не столько факты внешней жизни, сколько тот факт, что он вообще *пишет*. Вот и у Машинской, если приглядеться, время и место подавляющего большинства стихов — это либо вечера и ночи, либо выходные и каникулы, либо всякие перезды: «Не хочу ни фана вашего, ни шалостей, / дайте мне, пожалуйста, / просто доползти до воскресенья, / уж коли будет мне такое везенье». Стихи начинаются после и вне работы, наедине с собой и с языком поэзии — русским языком. Они сами и есть внутренняя биография, воплощенная то в увезенной с собой открытой «перестроечной» гражданственности звучания («Пришли простые времена, / а мы еще витиеваты. / Раскрой глаза, идет война, / растерянно идут солдаты»), то в мучительных вопросах истории («Ночевала тучка золотая / на груди у Гитлера младенца. / Кружева слегка приподымались / все еще далекой занавески»), то в пронзительных признаниях («С чужими, неродными, / в невидимом строю, / я даже не хористом — / хористкою стою. / Как пузырьки в игристом — / поют, и я пою») — и все это, увы, личное дело пишущего, хотя бы потому, что «никакого — хоть зрачок разорви — / до самого горизонта визави. / Только море — с ним теперь говори».

И все же при обзоре творчества Машинской невозможно не отметить черты, напрямую связанные с эмигрантским опытом и несводимые к общим закономерностям современной литературной и общекультурной ситуации. Ведь особенность современной эмиграции отнюдь не только в этой пресловутой частности поэзии, которая, как утверждают критики, якобы хорошо заметна в Нью-Йорке, и это же — тот урок и то новое, чему еще предстоит поучиться «провинциальной» Москве (я имею в виду опубликованную в журнале «Арион» беседу Л. Панн и С. Волкова о «гудзонской ноте» в русской поэзии со знакомой цитатой в заголовке «Мы подкидыша станем качать»). С падением занавеса и открытием границ русская эмиграция утратила главное свое достояние — венец изгнания. Новый эмигрант уже не может увезти родной язык-означающее вместе с родиной-означаемым в за-

ветном сундучке, как личный и неподвластный времени эдем. Поэтому, наверное, не случайно многие писатели вернулись. Поэтому-то четвертую волну не следует путать с третьей, как, например, произошло с составителями прошлогоднего словаря писателей русского зарубежья, занесших сюда Машинскую (что, впрочем, извинительно: видно, очень хотелось включить в книгу). Теперь, кроме каких-то отдельных и часто весьма сомнительных случаев (когда, к примеру, современные тусовочные имиджмейкеры рядятся в изгнанников и страдальцев за мифические сексуальные свободы — вот уж что действительно частное дело!), какими бы ни были причины отъезда, это личный выбор уезжающего, а не указание Особого отдела. Последствия такой перемены разнообразны и в некотором смысле катастрофичны. Не буду вдаваться в подробности, а рассмотрю два варианта.

С одной стороны, разумеется, можно вообразить идиллическое светлое будущее мировой интеграции и глобализации, когда новый калифорнийский гражданин русского происхождения работает интернет-переводчиком в китайском отделе марокканской мандариновой компании и пишет стихи о горячо любимом и незабвенном снеге на изучаемом по ночам эскимосском как наиболее лексически богатым и приспособленным для обозначения бесчисленных оттенков сего неисчерпаемого предмета... Но это скорее подошло бы для сочинителей фэнтези.

В реальной же перспективе имеет место сознательный выбор иной языковой реальности, где родная речь, лишенная естественных и более прочных, чем это иногда представляется, связей, неизбежно «постмодернизуется», превращается в пресловутый симулякр, имитацию того, о чем и как должно было бы быть сказано на самом деле. Название одного из циклов — «Песни унылой родины». Но это *как бы* песни, *как бы* голоса с родины, которые можно легко заставить замолчать: «Слышишь: тихо. / Вот это лихо! / Это кто-то / закрыл ворота. / Кто там, впрочем, / скрипит к ночи? / Нота бене: / к едрене фене» («Вести с покинутой родины»).

Неизбежное следствие — постепенное забвение и умирание языка («солнце речи родимой зайдет...»), в чем в последнее время легко убедиться по книгам некоторых новых эмигрантов, представляющих зачастую экзотические коллекции того, «как это нельзя сказать по-русски». Однако счастливым для нас образом Машинской удается избежать такой перспективы языкового умирания. Точнее сказать, сама ее поэзия — это бегство родного языка-подкидыша от наступающей смерти. Отсюда упругое напряжение этих стихов, их колючесть, неровность и динамика, причем, может быть, не только ритмическая, но и сюжетная, ибо всевозможные поездки — здесь одна из центральных тематических линий: «Вот опять закат оранжев, на стене квадрат пылится. / Уезжаю, уезжаю, стану уличной певицей, / отращу вот грудь и голос, стану уличной певицей». Отсюда — их убеждающая подлинностью эмоциональность. В стихотворении «Автобус Ньюарк — Нью-Джерси» есть строчка: «Я еду, почти приемлю». В этом «почти» — и жесткая необходимость приятия: куда ж деваться, «ты-то знала, ты-то знала, как швырять свою свободу» («Блюз»), и запрет на жалобу (нигде у Машинской не найти ностальгического нытья, скорее ёрническую самонасмешку: «Наш мотивчик мелковат, подловат. / За живое ну кого он возьмет?» («Отрывок из письма с берега»), и, через запрет, — отчаяние и его стоическое преодоление. Но это малое «почти» — от, так сказать, лирического субъекта, а вот большое подразумеваемое «не приемлю», как море омывающее это «почти», — от самого языка, которому не то что для выражения отчаяния и протеста, но и для приемлемого описания обстановки в этом, по всей видимости, самом обыкновенном и вполне заурядном автобусе нет ни слова, ни предмета, ни адресата — все чужое, отчего будничная поездка предстает как суровая дантова пытка. (Подчеркну, речь не об И. Машинской — человеке, принявшем и любящем, судя по ее высказываниям, новую родину, но о самом звучании ее стихов, о том, что в них сказывается.) Или вот из движения по другому кругу того же безъязыкого ада:

Примеряйся хоть сколько к чужому вприглядку, вприкуску —
не ухватишь всего на ужимку, утряску, утруску:
то луга, то стога, то снопы кувырком, как попало,
и лесок на стекле, и закатом горит одеяло.

Поэзия Машинской сложна, потому что честна, за привычным, обыденным, даже банальным она видит зияющие провалы и не отводит взгляда. Она не модна, потому что идет не в ногу (наметившийся интерес к ее стихам скорее из-за того, что в ногу вдруг стала попадать эпоха). Она принципиально пишет только тогда, когда слова являются в силу крайней необходимости (например, поговорить с самой собой по-русски), причем многое самой себе понятное остается между строк, отчего стихи получаются емки и герметичны и прочтению с наскоку да по диагонали не поддаются.

И все же, хоть я и сделал акцент на сложной семантике, главное в стихах Машинской, как и у всякого хорошего поэта, — лирическая, музыкальная составляющая, уравнивающая противоположности и на интуитивном уровне все или почти все проясняющая. Чуть ли не в каждом стихотворении — столь хорошо слышимый и часто отмечаемый джазовый исток — дудочка свободы семидесятых, ушедшая-таки многих своих детей на другую сторону океана. И вот она, как и везде и во все времена, безысходная — взад-вперед — свобода поэтического одиночества:

сегодня ночью проложу
по нашей улице следы
куда хочу туда хожу
такие ровные ряды

вы говорите много тут
живет а я не вижу вот
мои следы туда идут
а вот идут наоборот
.....
и до меня тут никого
со мною тоже ни следа
и я назад по целине
где кончились мои туда

И тем не менее, и тем самым счастлива Машинская, обретшая свою тему и свое слово — свои следы на снегу — в такие непростые «простые времена».

Дмитрий ПОЛИЩУК.

*

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ В ДИАЛОГЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ

А. Л. Зорина. *Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века.* М., «Новое литературное обозрение», 2001, 416 стр.

Прежде чем рассказывать о том, чем так интересна книга А. Л. Зорина, надо пояснить, о чем она. Казалось бы, русскому читателю объяснять здесь нечего, потому что нехитрые этюды о том, как те или иные литературные тексты отражали ту или иную идеологию (дворянскую, мелкобуржуазную, марксистскую), — это любимый сюжет советского литературоведения, царивший на всем пространстве от академии до средней школы. На этой примитивной схеме покоился, как казалось, проект соцреализма, и созданное им представление о «партийной» литературе беззастенчиво экстраполировалось на иные периоды литературной истории. Не менее знакомо нынешнему гуманитарно ориентированному читателю и то направление неангажированного литературоведения, которое противостояло этому идеологизированному примитиву. Имею в виду те разнообразные опыты изучения художественного текста как предмета в себе, начало которым положил формальный метод; впоследствии советская гуманитарная мысль (прежде всего структуралистская) постоянно возвращалась к этой парадигме, стараясь дистанцироваться от идеологического диктата.

В этом поляризованном поле невозможно представить себе ту проблематику, которая занимает Зорина, потому что на этом поле вся разметка устроена заведомо обманным образом. Литературный текст не замкнут в себе, он живет в опреде-

ленной социальной и культурной среде, и между ним и этой средой происходит постоянный обмен смыслами. Исследование, игнорирующее эту диалогичность, обречено на содержательную ущербность. Вместе с тем отражение идеологических установок (или «социальный заказ», как писал по-советски сознательный Тынянов) — это понятие, присущее несоразмерно убогому описанию диалогического процесса культуры.

Понятно, что Зорин работает в ином дискурсивном пространстве и ставит иные задачи. Это пространство и эти задачи он описывает в вводной главе, озаглавленной «Литература и идеология». Своим вожатым Зорин избирает Клиффорда Гирца, чьи работы вывели западные историко-культурные штудии, связанные с идеологией, за пределы тех примитивных противоречий, которые в целом напоминали тенета советской гуманитарной науки. Гирц в знаменитой статье «Идеология как культурная система» показал, что идеологическое творчество пользуется тем же метафорическим языком, что и творчество литературное. Идеология похожа на поэму (пусть скверную), а не на научный трактат, и именно в силу этого она дает обществу возможность ориентироваться в нестабильных социальных ситуациях. Метафора разворачивается в сюжет, превращая в доступные слова иррациональную ткань социального катаклизма.

Идеология и литература взаимодействуют не как содержание и форма, а как две разновидности символических систем; идеология в той же мере порождает литературу, что и литература — идеологию, и самый процесс порождения в обоих случаях идет за счет одних и тех же механизмов дискурсивной экспансии. Три десятилетия, прошедшие со времени появления работ Гирца, сделали этот подход общим достоянием, соединив его со всем тем, что принесли в историко-культурные исследования французский постструктурализм и новый историцизм, и растворив метафоричность идеологии в общем словесном характере культурных практик. Как справедливо отмечает Зорин, русская гуманитарная мысль не осталась вовсе в стороне от этого развития, и работы Ю. М. Лотмана, посвященные роли литературы в формировании моделей поведения, могут с определенной натяжкой рассматриваться как принадлежащие тому же направлению мысли (хотя появились они, видимо, независимо от опытов Гирца или Мишеля Фуко).

В истории русской культуры этот подход оказался особенно плодотворным при анализе формирования сталинского проекта. Я имею в виду прежде всего блестящие работы Бориса Гройса, показавшего, как утопическая эстетика русского авангарда создает дискурсивные категории, апроприированные затем риторикой сталинизма. Этот же подход определил новый интерес к соцреализму как феномену диалога между большевистской властью и литературной практикой. Конечно, появившиеся в последние десятилетия исследования этого рода обращаются преимущественно к новому и новейшему периоду русской литературы. В вводной главе Зорин имплицитно признает лидирующее значение этой области. Образцом применяемой им техники служит весьма остроумная деконструкция русских идеологических парадигм последнего десятилетия — от путча 1991 года до празднования 850-летия Москвы. Несомненная заслуга Зорина состоит в том, что очерченный выше круг вопросов он обращает к периоду конца XVIII — начала XIX века, заполняя тем самым существенную лауну в историко-литературных и историко-культурных исследованиях этой эпохи. Реконструкция риторических стратегий и основных метафор имперского прошлого выполнена Зориным столь же остроумно, блестяще и осязаемо, как если бы речь шла о вчерашнем дне.

Что же касается самой технологии исследования, то здесь, пожалуй, вызывает сомнение удерживаемое автором противопоставление идеологии и литературы. Для Зорина они скорее существуют обособленно, чем как части единого дискурса. В его книге история получает независимую, чуть ли не «объективную» реальность, идеология оказывается интеллектуальной частью этой реальности, а литература размещается где-то сбоку, как дворовая пристройка, в которой варят и жарят метафорические блюда идеологических проектов. Это преклонение перед тканью истории, приобретающей таинственную субъектность, указывает на недопереработанную гегелевскую подопку предлагаемого подхода (в конце концов, и зоринское

понятие «идеологии» обретает опознаваемые очертания в «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса).

Между тем та история, с которой столь увлеченно работает Зорин и которую он столь увлекательно излагает, — это множество текстов, упорядоченность которых ничем принципиально не отличается от иных образцов сюжетообразования. История как она дана нам — это большая книжка (с картинками) или много больших и маленьких книжек, и наши занятия историей — это такое же «reading for a plot» (чтение ради сюжета. — *Ред.*), как если бы речь шла о романе Стендаля. Греческий проект Екатерины представляет собой такой же текст, как трагедия Вольтера или ода Василия Петрова. Екатерина и Потемкин сочиняли его, работая в том же интертекстуальном пространстве, что и современные им литераторы: они читали разнообразные истории и создавали свой текст в рамках известных им жанровых типов. История как она нами прочитывается происходит в пространстве символических форм, складывающихся в нарративную последовательность, которая романтирована на тех же основаниях, что и нарратив трагедии, романа, повести или романтической поэмы¹. Единственное существенное отличие состоит в том, что «литературные» (или живописные, или музыкальные) тексты производятся с более откровенно заявленной эстетической интенцией, чем тексты истории (хотя, пожалуй, можно было бы говорить о романтической эстетике Наполеона или о сентименталистском спиритуализме Александра I). Впрочем, эстетические моменты Зорин в своей книге благоразумно не затрагивает. В этой перспективе стоило бы воздержаться от таких речевых стереотипов, как, скажем, слова о том, что оды Петрова отражают идеи Потемкина или, напротив, формируют его политику. Все эти тексты существуют в едином, хотя и хаотическом дискурсивном пространстве, которое можно попеременно именовать русской историей, или русской культурой, или русской литературой соответствующего периода.

Впрочем, довольно о методологии, хотя, как мы увидим ниже, она отчасти влияет на конфигурацию отобранных для рассмотрения фактов и способов их упорядочения. Как и у всякого хорошего историка, азарт у Зорина прежде всего фактологический, а лишь затем концептуальный. Читатель обнаружит в книге множество незнакомых ему обстоятельств, а факты, ему известные, окажутся связанными в цепочки, о существовании которых он едва ли подозревал.

Книга состоит из десяти глав. Они являют собой ряд очерков, связанных между собою общностью подхода и проблематики и лишь отчасти преемственностью рассматриваемых в них этапов культурно-политической эволюции. Во всяком случае, «Кормя двуглавого орла...» отнюдь не содержит полного описания диеты этого существа за последнюю треть XVIII и первую треть XIX века — имею в виду не только описание динамики общественной мысли за этот период, но и более узкую область истории государственной идеологии. Некоторое стремление к полноте охвата в книге имеется, не случайно автор оговаривает, что он сознательно опускает «недолгое царствование Павла I»², однако несколько важнейших моментов в развитии «правительственной мысли» обойдены вниманием без всякого пояснения.

Первая глава посвящена «греческому проекту» Екатерины II и соответствующей тематике в русской оде первых двух десятилетий Екатерининского царствования. Автор прослеживает развитие политических идей Екатерины и Потемкина, связанных с «восстановлением» греческого царства (в частности, влияние на

¹ Я, понятно, не говорю здесь об экономической или аграрной истории, обладающих, видимо, каким-то иным устройством (если угодно, представляющих собой текст иного типа). Речь идет о политической и интеллектуальной истории, но именно ими и занимается Зорин.

² Причины этого опущения не слишком убедительны. Согласно Зорину, «император менял свои ориентиры настолько стремительно, что никакого продуктивного диалога с общественным мнением и художественной практикой попросту не могло возникнуть. Тем самым не появлялось и устойчивых моделей, значимых для последующих эпох». Оба тезиса спорны. Например, столь характерное для Павла мистериальное понимание царства создало значимую модель, нашло выражение в художественной практике (и в церемонии коронации, и, скажем, в посвященной ей оде Петрова) и было предметом диалога с обществом, о плодотворности которого лучше не думать.

Екатерину Вольтера, ненавидевшего Турцию как анклав ориентализма в Европе и надеявшегося, что философ на троне восстановит просвещенное единство европейской культуры). Параллельно с этим идеологическим развитием анализируются те риторические стратегии, которые вырабатывала русская торжественная ода, усваивая России греческое наследие. Зорин убедительно показывает, как первоначальная апроприация, основывавшаяся на единстве веры (тема, определявшая пафос од М. Хераскова, С. Домашнева и В. Петрова в начале войны с Портой в 1768 году), сплетается затем с иной, обращающейся к античному материалу. Особенно ярко это проявляется в одическом творчестве Петрова — его Зорин разбирает с подчеркнутой тщательностью и глубиной. Развивая высказанные в книге мысли, я бы полагал, что античная мотивика «греческого проекта» призвана присвоить России не только античность как таковую, но и самую колыбель просвещения: благодаря ей Россия предстает не только как часть Европы (постоянное стремление Екатерины), но и как мать (или на крайний случай — тетка) всей европейской цивилизации.

Анализ оды Петрова «На заключение с Оттоманскою Портою мира» 1775 года, занимающий вторую главу, принадлежит к безусловным удачам. Концептуальной рамкой для этого анализа служит противопоставление доктрины европейского равновесия сил и планов построения европейской конфедерации, восходящих к Сьюлли и трансформировавшихся у аббата Сен-Пьера и Руссо. Петров был несомненно знаком с этими идеями. По верной мысли Зорина, система баланса сил была неприемлема для Петрова не столько в силу моральных соображений, как для Руссо, сколько в силу того, что на ней основывалась антирусская политика ряда европейских держав (в первую очередь Франции), видевших в России угрозу политической стабильности. Существенно, что агенты антирусской политики изображаются у Петрова как тайные враги, повинные одновременно в магии, авантюризме, шарлатанстве, жажде наживы и секретном прозелитизме. Благодаря Петрову в русской политической мифологии появляется зловещая фигура масона, строящего козни против Российской державы. Эта тема была в дальнейшем подхвачена самой Екатериной в ее антимасонских комедиях, она была актуальна для ее восприятия Французской революции, и с ней связано частичное изменение внутренней политики в последние годы славного царствования. Вместе с тем появление фигуры тайного врага отечества создавало почву для развивающегося представления о теле нации, необходимом компоненте национальной идеологии, приходящей на смену просвещенческой парадигме.

Третья глава «Эдем в Тавриде. „Крымский миф“ в русской культуре 1780 — 1790-х годов» возвращается к темам первой главы. Предлагаемая здесь интерпретация крымского мифа и его поэтических манифестаций оригинальна, нова и увлекательна. Крым становится той землей обетованной, на которой Екатерина и Потемкин создают и русскую Элладу (собственную античность), и скифское прошлое, и русское ориенталистическое пространство, противопоставленное по своим райским атрибутам балтийским завоеваниям Петра. Замечу только, что райская мотивика, которую Зорин считает «непременным атрибутом имперских утопий», слишком многофункциональна для столь однозначной связи; в частности, называть свои резиденции раем могли владельцы, не имевшие никаких имперских амбиций³.

Четвертая глава «Эдем в Таврическом саду. Последний проект Потемкина» производит, на мой взгляд, несколько невнятное впечатление. Автор довольно подробно пишет о разнообразных и нередко противоречивых планах князя Таврического в последние два года его жизни. «Восточная система» Потемкина, отчасти осуществившись, перестала быть актуальной, и теряющий влияние вельможа искал нового проекта; он должен был, с одной стороны, решать новые политические задачи, встававшие перед Российской империей, а с другой — придавать этому решению форму глобального замысла, создававшего пространство, необходимое для

³ Говоря о роли райской темы в русской культуре XVIII века, стоило бы вспомнить книгу Стивена Бера: Stephen L. Baehr. *The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia. Utopian Patterns in Early Secular Russian Literature and Culture*. Stanford, Stanford Univ. Press, 1991.

собственных амбиций светлейшего. Этот замысел, согласно которому «основой грядущего единства народов» Российской империи должно было стать «славянское братство», Зорин называет «западной системой».

Грандиозный потемкинский праздник 1791 года, подробно разбираемый в монографии, несомненно был связан с данными поисками. Украинская тема (важнейшая для «славянофильского» проекта Потемкина) в этом имперском апофеозе присутствовала зримо и выраженно. До какой степени она была частью более обширного панславянского проекта, остается неясным. Зорин полагает, что Державин, описавший по заказу Потемкина это торжество, не обладал ни кругозором политического мыслителя, ни интимным знакомством с динамикой потемкинских планов и просто не уловил той скрытой программы, которая присутствовала в сценарии праздника. Петров, напротив, этот сценарий эксплицировал, и именно в качестве такой экспликации рассматриваются в книге его оды «На взятие Очакова» и «На присоединение польских областей к России»; в них панславянская парадигма присутствует достаточно отчетливо.

Я не нашел в исследовании убедительных доказательств того, что петровская концептуализация прямо воплощала замыслы Потемкина. Даже соглашаясь с той сравнительной оценкой, которую автор дает Державину и Петрову как политическим мыслителям, я не могу не отметить, что сценарий потемкинского праздника создавал (похоже, вполне осознанно) возможности для разных интерпретаций. Державин мог быть не столь чувствителен к потемкинским прожекторам, как Петров, но он, видимо, был вполне в курсе того, как они воспринимались Екатериной, для которой панславянская парадигма, во всяком случае в части, касающейся России и Польши, осталась совершенно чужда.

Не это, однако, самое существенное. Хотя автор уделяет много внимания интерпретации державинского описания праздника в сопоставлении с другими отчетами об этом событии, четкой реконструкции утверждаемой Державиным идеологической системы так и не дается (и это заставляет читателя недоумевать, зачем разбирать многочисленные детали, так и не вписавшиеся в общую картину). Для од Петрова такая реконструкция осуществлена, но общий дискурсивный контекст петровского «славянофильства» остается неясным. И вовсе неясной остается дальнейшая судьба тех идей, которые предположительно впервые показали на свет в анализируемых одах «карманного стихотворца». Заканчивая главу разбором стихов 1793 года, автор переносится затем сразу к событиям 1806 — 1807 годов, опуская и Павловское царствование, и «дней Александровых прекрасное начало». Между тем консервативная оппозиция начинает выстраивать свою идеологию именно в этот выпавший из рассмотрения период.

Следующие пять глав составляют, по существу, вторую часть книги, не связанную непосредственно с очерками первой части. В пятой главе «Народная война. События Смутного времени в русской литературе 1806 — 1807 годов» рассматривается начальный этап формирования национального мифа. Анализируются основные его составляющие: сплочение нации для спасения Отечества, ее приверженность монархической легитимности (избрание Михаила Романова), жертвенность вождей (Пожарского, Минина, Гермогена), объединение сословий, враждебность европейской цивилизации, форпостом которой оказываются злонамеренные поляки. Национальный миф создается в существенной мере в оппозиции к политике, проводившейся Александром. Центром оппозиции оказывается А. С. Шишков, встречающий поддержку при дворе Марии Федоровны и находящий единомышленников в Державине, Ширинском-Шихматове и других.

Описанный этап формирования национальной идеологии был связан с ожиданием великого столкновения между сохранившей веру и добродетель Россией — и Францией, в своей нравственной деградации подчинившейся апокалиптическому зверю Наполеону. События, однако, развивались другим путем. Тильзитский мир и возвышение М. М. Сперанского положили предел надеждам консервативной партии; ее идеологи вынуждены были оставаться в оппозиции, дожидаясь своего часа.

Этот момент, впрочем, пришел сравнительно скоро, так что метафорический запас, накопленный в этот период, был использован в полной мере. Прежде, однако, он обогатился еще одним элементом, уже известным из предшествующего из-

ложения. Шестая глава монографии посвящена опале Сперанского, и центральным концептом для нее служит мифология измены, тот нарратив всемирного антирусского и антиправославного заговора, который сообщает национальной консолидации необходимую точку отталкивания. Точка отталкивания является в фигуре предателя-врага как чужеродного члена, проникшего в народное тело. Именно в этой роли оказывается, как блестяще демонстрирует Зорин, опальный государственный секретарь. Мстительный интриган-предатель становится в это же время и популярным литературным персонажем (в драмах Л. Н. Неваховича и А. А. Шаховского), так что националистическая парадигма приобретает законченные очертания и в политической практике, и в литературном дискурсе.

Ее развертывание в годы Отечественной войны 1812 года рассматривается в седьмой главе. Речь в ней идет об интерпретациях целей и задач этой войны, предложенных А. С. Шишковым и митрополитом Филаретом (Дроздовым). Шишков, назначенный на должность государственного секретаря на смену Сперанскому, наполнял манифесты, писавшиеся им для императора, той самой риторической национального мифа, которая была отработана в 1806 — 1807 годах; именно ее и востребует Александр, назначая Шишкова государственным секретарем (о позиции митрополита Филарета скажу немного позже).

Один принципиальный вопрос представляется мне оставшимся без ясного ответа. Еще в пятой главе Зорин говорит о проблеме «воздействия на политические идеи старших архаистов философии Руссо». Автор указывает, что анализ этой проблемы наталкивается на трудности, обусловленные полной чуждостью или даже враждебностью большинства идей Руссо для русских консерваторов (Шишкова, Ростопчина и других). Тем не менее идеи национального характера и нации как организма, столь важные для русской консервативной мысли, несомненно восходят к Руссо. Это противоречие появляется в книге, как я думаю, из-за парадоксального отсутствия в ней едва ли не самой важной для истории русского консерватизма фигуры — имею в виду Н. М. Карамзина («Записка о древней и новой России» упоминается лишь в связи с опалой Сперанского, но этим дело и ограничивается).

Конечно, литературная и журналистская деятельность Карамзина попадает в тот временной зазор, который отделяет первую часть книги от второй, так что формально это умолчание оправданно. Однако содержательно оно возвращает нас к вопросу о том, насколько правомерен сам допущенный автором хронологический перескок. В самом деле, если для Шишкова Руссо был чужим, то для Карамзина он был бесспорно своим. Руссоистское учение о национальном суверенитете Карамзин трансформирует как раз в тот период, который пропущен в книге. В конце концов он приходит к тезису о необходимом соответствии власти народному духу (как версии национального суверенитета), а духу русского народа приписывает безусловную преданность царю и православной вере. Так же как и Шишков, Карамзин видит одно из вершинных проявлений этого духа в избрании на царство Михаила Романова. Одновременно с Шишковым он вносит коррективы в апологетическое отношение к преобразованиям Петра Великого, бывшее до этого времени краеугольным камнем имперской идеологии. В развернутой форме эти идеи Карамзина были высказаны в «Записке о древней и новой России», но частично они обнаруживаются и в «Марфе-посаднице», и в поздних статьях в «Вестнике Европы», противопоставляющих патриотизм космополитству. Эта монархическая версия руссоистского национализма была частью того же патриотического дискурса, формированием которого столь ревностно занимались и Шишков, и Ростопчин⁴.

⁴ Например, в статье 1803 года Карамзин писал, что Петр был «Руской в душе и Патриот», и противопоставлял его «Англоманам» или «Галломанам», которые «желают называться Космополитами». Петр заложил основы русского патриотизма, и поэтому патриотические россияне, в отличие от «космополитов», сохраняют ему верность. «Мы обыкновенные люди, не можем с ними [космополитами] парить умом выше *низкаго* Патриотизма; мы стоим на земле, и на земле Руской; смотрим на свет не в очки Систематиков, а своими природными глазами» («Вестник Европы», 1803, июнь, стр. 167 — курсив Карамзина). Таким образом, элементы патриотического дискурса, столь чуждого Карамзину начала 1790-х годов, появляются у него едва ли не раньше, чем у Шишкова.

Я бы вообще заметил, что взаимоотталкивание Шишкова и Карамзина для этого периода не стоит преувеличивать. Схема Тынянова, книгу которого я — в отличие от Зорина — никак не назвал бы классической, нуждается здесь в пересмотре. Более пристального внимания заслуживает и идейное пространство Ростопчина. Его творчество носит отчетливо стернианский характер (имею в виду и раннее «Путешествие в Пруссию», и в особенности повесть «Ох, французы!»), и эта сентименталистская направленность не могла не располагать его к усвоению и переработке руссоистского дискурса.

Зорин вполне обоснованно противопоставляет шишковский изоляционизм универсализму «Рассуждения о нравственных причинах...» Филарета Дроздова, в 1813 году бывшего еще архимандритом и ректором Санкт-Петербургской Духовной академии. Сам замысел сопоставить и противопоставить этих двух авторов свидетельствует, на мой взгляд, о чутком понимании исторического процесса (я бы указал и на элемент сентименталистской карамзинистской фразеологии в «Рассуждении» Филарета). Как известно, Александр не испытывал симпатии ни к Шишкову, ни к Ростопчину, и, когда с концом «народной» войны надобность в них миновала, он удалил их с влиятельных постов. Александр был устремлен в Европу, идеологи «народной» войны мечтали от Европы отгородиться. Зорин справедливо связывает европейские замыслы Александра с его религиозно-мистическими устремлениями. На мой взгляд, сама фактура этих замыслов была, однако же, просвещенческой, только теперь место просвещенного Разума заняло просвещение истинной веры; утопизм и экспансионизм этого нового религиозного дискурса в точности соответствовали параметрам отброшенного Просвещения.

Можно полагать, что сам Александр и люди, близкие ему в его религиозных исканиях, также рассчитывали на определенную консолидацию общества на основе «истинного христианства» (хотя, конечно, вопрос об общественной поддержке не был для них первостепенным). Во всяком случае, новый дискурс содержал элементы, которые могли быть привлекательны для разных секторов общества. Он сохранял сделавшуюся привычной для элиты европейскую ориентацию, поскольку то христианство, энтузиастом которого был Александр, могло рассматриваться как надконфессиональное и потому европейское. Вместе с тем он содержал существенные элементы просвещенческой парадигмы, предполагая воспитание (и образование) общества. Одновременно христианские моменты присутствовали в нем самым наглядным образом, и для общества (в том числе и элитарного), остававшегося в подавляющем большинстве православным, это восстановление религиозных ценностей могло быть осуществлением заветной мечты. Для определенной части дворянской элиты надконфессиональный спиритуализм этого дискурса выглядел как желанное избавление от «варварства» или «провинциализма» традиционного православия. Однако для образованного духовенства, воспитанного в духе митрополита Платона Левшина, тот же самый дискурс мог видеться не как отход от православия, а как разрыв с «вольтерьянским» безбожием Екатерининского царствования. Именно так, похоже, воспринимал в 1813 году александровский мистицизм Филарет Дроздов: император становился благочестив, пусть и не совсем по-православному, и это создавало перспективы для развития православной образованности (Филарет активно участвовал в работе Библейского общества) и вместе с тем для повышения не по-европейски приниженного социального статуса духовенства⁵.

⁵ Совершенно безразлично в этом плане, можно или нельзя характеризовать религиозную политику Александра как «протестантский проект», как это делает А. Эткинд, или как «мессиянски-эсхатологический синтез», как предпочитает думать Зорин. Проект безусловно не был «протестантским» в том смысле, что ни Александр, ни, скажем, А. Н. Голицын не собирались покинуть православие. В то же время в начале XIX века православная образованность находилась под столь сильным западным влиянием (имею в виду и латинский язык обучения, и учебные программы духовных семинарий, и содержание богословских курсов), что эсхатологическая мистика царя могла представляться в общих чертах укладывающейся в рамки модернизируемого православия. Вплоть до 1824 года, то есть до торжества архимандрита Фотия и митрополита Серафима, отдельные протесты (например, Иннокентия Смирнова) дела не меняли.

«Идеологии» Александра в период после 1812 года посвящены восьмая и девятая главы монографии. Как и в предшествующих разделах, речь в них идет одновременно о политике и о литературе, однако взаимопроникновение этих двух сфер, достаточно убедительно продемонстрированное для периода до Отечественной войны 1812 года, в этих главах получает несколько формальную трактовку. Восьмая глава представляет, по существу, отдельное эссе с великолепным разбором послания «Императору Александру» В. А. Жуковского. Рассказ о политическом контексте этого послания (присущее Александру религиозное осмысление победы над Наполеоном, отношения Александра с Юнгом-Штиллингом и т. д.) представляет собой лишь исторический комментарий к поэтическому тексту. Сыграл ли этот текст какую-либо роль в формировании государственного политического дискурса, почерпнули ли что-либо из него Александр и его соратники — остается неясным. Общие соображения побуждают предполагать, что послание Жуковского осталось внутрিলитературным фактом и в этом плане никак не может быть поставлено в один ряд, скажем, с манифестами, сочинявшимися Шишковым. Зорин приводит интересные соображения о психологическом состоянии Жуковского в данный период, о том, почему ему могла быть близка спиритуалистическая риторика Александра, однако общая концепция книги никак в данной главе не реализуется.

Едва ли не то же самое можно сказать и о следующей главе, хотя фактура ее радикально отличается от фактуры предшествующей. Речь в ней идет преимущественно о религиозно-политических идеях Александра, о Священном союзе как религиозной утопии, о том, как Александр мучительно пытался определить собственную миссию в этом эсхатологическом проекте. Рассказывается о том, как Александр временами убеждался в своей провиденциальной роли и воспринимал себя как избранника Божия (этому способствовали его отношения с баронессой Крюденер), а временами становился крайне неуверен в себе. Интересные соображения высказываются и о том, как Александр понимал сочинения Эккартсгаузена, хотя общий контекст европейского мистицизма, в котором думал и действовал Александр, описан лишь фрагментарно (что и понятно: полное описание должно было бы быть предметом отдельной монографии)⁶. Жуковский появляется и в этой главе, две страницы посвящены его «Певцу в Кремле», однако в этом случае литературный текст не прибавляет к анализу религиозного дискурса Александра и его общественной рецепции ничего, кроме единичной художественной иллюстрации.

Девятой главой завершается рассмотрение литературно-политических процессов Александровского царствования. Последняя, десятая, глава переносит нас уже в царствование Николая, в 1830-е годы. Глава посвящена генезису уваровской триады «православия, самодержавия, народности». Вполне справедливо указывается на то, что принцип народности восходит к немецкому романтическому понятию *Nationalität*. Понятно вместе с тем, что в русской ситуации «народность» означала совсем не то, что «*Nationalität*» в немецкой, где принцип национального единства релятивировал государственное устройство различных немецких земель, создавая основу для конструктора единой Германии. Зорин, конечно же, осознает это разли-

⁶ Было бы полезно, конечно, если бы автор, занимаясь религиозной историей, обладал бы лучшими навыками обращения с основными христианскими текстами. Так, скажем, Зорин цитирует «Размышление об акте братского и христианского союза» А. С. Стурдзы, написанное по-французски и известное только в рукописи. В этом «Размышлении...» говорится о *l'arc d'alliance*, и это выражение Зорин без всяких замечаний переводит как *арку завета*. Выражение странное, поскольку никакой арки завета в христианской традиции не существует. Во французском, однако, есть устойчивое выражение *L'arche d'alliance*, означающее Ковчег Завета. Либо Зорин неправильно прочел рукопись, либо Стурдза позволил себе замысловатую игру словами, которая требует комментария. Новый Завет Зорин цитирует по-церковнославянски, что вполне оправданно, поскольку первый русский перевод Нового Завета появился лишь в 1819 году. Однако цитаты порой выглядят странно, например, в цитате из Апокалипсиса (2: 24 — 28) появляются *сосуды скудельники* (вместо *сосуды скудельничии*) и *дела мои* (вместо *дела моя*).

чие и ясно показывает его значимость. На мой взгляд, однако, его русская контекстуализация остается неполной в двух аспектах. Народность была русской версией национального суверенитета (этот момент в книге отмечен). Данный принцип позволял рассматривать Российскую империю как своеобразное национальное государство — в одном ряду с другими национальными государствами Европы. Вместе с тем народность как квинтэссенция национального бытия определялась у Уварова неотъемлемыми характеристиками русского народа — преданностью вере и престолу. Тем самым национальный суверенитет из доктрины, разрушительной для империи, превращался в постулат, консервирующий существующий порядок (говорю о дискурсивной практике, а не о внутренней политике).

Формулировка этого хитроумного кунштюка принадлежит Уварову, однако в предыстории этой парадоксальной и утопической реконцептуализации стоит Карамзин. Именно он, озабоченный той же руссоистской проблемой национального суверенитета, придумал преданность вере и престолу как две основные черты русского национального характера. Исчезнувший из исследования Карамзин (об этом мы уже говорили выше) лишает уваровскую триаду части ее предыстории, поскольку она была во многом лишь окончательной формулировкой монархического национализма Карамзина, сохранявшей основные параметры этого идеологического конструкта. Для Уварова, как и для Карамзина, Россия не отгорожена от Европы, но является частью европейской цивилизации; Уварову, как и Карамзину, цивилизационный процесс в России видится в качестве постепенной образовательной эволюции, в ходе которой Россия должна избежать пагубных заблуждений европейского радикализма. Уваров не столько изобретал новую национальную парадигму, сколько перекомпоновал и приспособил к новой ситуации идеи, усвоенные у Карамзина (хотя Карамзин безусловно не был единственным источником его идей).

В книге нет и достаточно полного ответа на вопрос о том, в чем состояла эта новая ситуация. И в этом трудно не видеть результата еще одного неоправданного перескока, простительного для книги очерков, но создающего содержательные проблемы при построении последовательного исторического повествования. Ясно, что Николай, который, по словам Пушкина, вдруг оживил Россию «войной, надеждами, трудами», искал выхода из той бесперспективной унылости, которой был ознаменован конец Александровского царствования. Симптомом этого удрученного состояния государственной мысли было не столько даже восстание декабристов (о нем Зорин вправе не говорить, поскольку оно воплощало мысль «антигосударственную»), сколько события, ему предшествовавшие: торжество риторики архимандрита Фотия и митрополита Серафима, закрытие Библейского общества, увольнение А. Н. Голицына, назначение Шишкова министром народного просвещения.

Это несомненно был кризис всего того космополитического проекта, которому Александр посвятил последнее десятилетие своего царствования. Об этом кризисе Зорин говорит лишь вскользь, рассматривая его как результат панического страха Александра перед международным заговором. Хотя важность конспирологического аспекта не стоит отрицать, он явно не дает исчерпывающего объяснения. По существу, речь шла о дискредитации самой лидирующей роли монарха в определении путей вверенной ему от Бога державы, так что неожиданная смерть Александра могла восприниматься как его последнее поражение. В этом кризисе, как показывает назначение Шишкова, вопрос о русской национальной идентичности вновь приобретал актуальность. Было бы существенно проследить, как Николай искал выхода из этого кризиса, из каких элементов он конструировал свою позицию. Этот вопрос, прямо относящийся к проблематике рецензируемой книги, требовал бы рассмотрения не только весьма любопытной литературной продукции первых лет Николаевского царствования, но и, скажем, таких важнейших для новой идеологической ситуации текстов, как манифесты Николая 1826 года (напомню, что в предыстории их создания важную роль сыграл Карамзин).

Можно было бы предположить, что Николай пытается утвердить авторитет императорской власти как безусловную данность, намеренно принижая значение любых обосновывающих самодержавие идеологических конструктов. В этом контексте, на мой взгляд, нужно рассматривать и формирование концепции официальной народности. При подобной перспективе естественно ставится вопрос о том, какая именно совокупность факторов (Июльская революция во Франции, польское восстание, холерные бунты и т. д.) побудила Николая обзавестись уваровским конструктом или обеспечила восприимчивость Николая к тому карамзинскому товару, который предложил ему товарищ министра народного просвещения.

Проблему того, какие компоненты уваровской триады первичны, а какие являются выводимыми атрибутами, я бы решал, имея в виду именно данный контекст. Зорин полагает, что уваровская народность была основополагающей идеей, ограждавшей Россию от тлетворного европейского воздействия, тогда как самодержавие «представляет собой по преимуществу „русскую власть“, так же как и православие интерпретируется прежде всего как русская вера. Тем самым два первых члена триады выступают в качестве своего рода атрибутов национального бытия и национальной истории и оказываются укоренены в третьем — пресловутой народности». Я бы интерпретировал эти соотношения несколько иначе. На мой взгляд, исходной данностью было именно самодержавие в той форме, которую оно приобрело при Николае. Православие определялось как та религия, официальным блюстителем которой (или «главою Церкви» по акту о престолонаследии 1797 года) был правящий император (поэтому объем этого понятия менялся в зависимости от религиозных пристрастий царя). Народность же была самым неопределенным понятием из трех, по существу, атрибутом самодержавия, означающим неразрывную связь между царем и верным ему народом. Самодержавие оставалось исходной данностью, сдвигались акценты лишь в способах его легитимации.

Очевидно, что многие идеи, высказанные Зориным, могут быть предметом дальнейшей дискуссии. Как я уже говорил, книга, с которой встретится читатель, представляет собой скорее кружево, чем плотную ткань. Она, обходя молчанием некоторые существенные события интеллектуальной истории, оставляет широкое поле для дальнейших изысканий. В этих изысканиях должно проясниться не только значение ряда текстов и персонажей, но и теоретическая фактура того текстопорождающего процесса, двумя ликами которого оказываются идеология и литература. У литературы, как и у истории, есть свои центральные тексты, создающие тот категориальный запас, которым питаются освоившие его поколения. Некоторые из этих текстов Зорин распознал и проанализировал, некоторые пропустил, заполнив образовавшиеся бреши маргинальным материалом. Такие просчеты неизбежны для первопроходца, сомнительный путь которого неизбежно шатается. В этой трудно устранимой неполноте повисают существенные теоретические проблемы: бывает ли история только историей и бывает ли литература только литературой? Остается ли державинский «Водопад» лишь литературным памятником Потемкину или в своей сумасбродной разбросанности он причастен затейливой фактуре Павловского царствования? Были ли военные поселения Александровской эпохи только способом переустройства армии или утопической живой картиной, изображающей мистериального воина, прильнувшего к земле? Присуща ли литературе фикция в большей степени, чем истории, или мы должны наново отрефлексировать эту дихотомию буржуазного рационализма?

Возникающие по ходу чтения непростые вопросы — это, возможно, не меньшее достижение автора, чем множество ценных наблюдений над конкретными текстами и конкретными историческими обстоятельствами. В книге не только содержится обширный новый материал, но и дается живая и динамичная его интерпретация. Многие находки Зорина блистательны и неоспоримы. У автора яркие мысли и красноречивое перо, так что книга безусловно рождает споры, и это делает ее важным событием в историко-филологическом изучении русской истории императорского периода.



**«...ЧЕМУ-НИБУДЬ И КАК-НИБУДЬ...»:
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений в двух частях. Часть 2. В. В. Агеносов и др. Под редакцией В. В. Агеносова. 6-е изд. М., «Дрофа», 2001, 512 стр.

Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Часть 2. Под редакцией В. П. Журавлева. 6-е изд. М., «Просвещение», 2001, 384 стр.

Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. Современная русская литература. В 3-х книгах. Книга 3. В конце века (1986 — 1990-е годы). Учебное пособие. М., «Эдиториал УРСС», 2001, 160 стр.

И. С. Скоропанова. Русская постмодернистская литература. Учебное пособие. 2-е испр. изд. М., «Флинта», 2000, 608 стр.

«Литература в школе». Учебно-методический журнал.

«Литература». Еженедельная газета объединения педагогических изданий «Первое сентября». П. Э. Лион, Н. М. Лохова. Литература. Для школьников старших классов и поступающих в вузы. Учебное пособие. 2-е изд. М., «Дрофа», 2000, 512 стр.

Т. В. Торкунова. Как писать сочинение. 3-е испр. и доп. изд. М., «Рольф», 2000, 448 стр. («Домашний репетитор»).

250 «золотых» сочинений. М., «Олимп»; ООО «Фирма „Издательство АСТ“», 1999, 560 стр.

1

Вопрос о том, надо ли знакомить школьников с современной литературой, в наши дни выходит за рамки дискуссии, затрагивающей только составителей программ, авторов учебников и учителей-словесников. В век телевидения и компьютеров дети, особенно старшеклассники, все меньше читают, а общество не пытается исправить ситуацию, иногда даже усугубляет ее. Так, не прекращается кампания по исключению сочинений из школьной программы, идет сокращение учебных часов на чтение — этого, по выражению А. Солженицына, «хрупкого способа нашего общения с культурой». У части выпускников нет представления о том, что и сейчас появляются романы, повести, стихи, которые продолжают большую литературу: программа 11-го класса (ее колоссальный объем при ничтожно малом количестве времени на обучение), как правило, приводит к тому, что изучение русской литературы XX века заканчивается серебряным веком русской поэзии или произведениями о Великой Отечественной войне. Большинство школьников не знает о существовании толстых литературных журналов, а примерно половина думает, что они давно перестали выходить, припоминая случайно обнаруженные на дачном чердаке запыленные экземпляры. Более того, новейшую литературу не знает не только большинство сегодняшних ребят, но и значительная часть учителей.

Серьезность вопроса о месте современной литературы в школе осознают на методических кафедрах вузов, в редакциях периодических изданий соответствующего профиля; обеспокоенность проявляют многие преподаватели. Отношение к вопросу неоднозначное: достаточно вспомнить недавний обмен полемичными репликами Марии Сетюковой-Кузнецовой и Андрея Василевского («Новый мир», 2001, № 8). Что ж, разногласия мнений о нужности/ненужности присутствия новейшей литературы в школе — штука не новая, но, пожалуй, впервые школа и современная литература оказались на грани развода.

Между тем современную литературу в том или ином виде преподают в школах уже более полутора столетия — для отечественной словесности срок немалый.

Уже в конце XVIII века литературные штудии стали неотъемлемой частью школьного образования. Гимназию при Московском университете закончили Денис Фонвизин и Николай Новиков, а ставший впоследствии губернатором, секретарем Екатерины II, сенатором, государственным казначеем, наконец, министром юстиции Гавриил Романович Державин был учеником гимназии казанской, где также регулярно происходили литературные собрания. На гимназических штудиях обсуждалась прежде всего современная литература, которая постепенно стала про-

сачиваться и в учебники: раздел поэзии пособия В. Подшивалова, вышедшего еще в 1796 году, включал в себя примеры из новейших отечественных авторов — Державина, Богдановича, Хераскова.

В Царскосельском лицее курса современной литературы не было, но ученики следили за ее новинками: они читали выходящие тогда журналы («Вестник Европы» и др.) и обсуждали содержание произведений с преподавателями (Дельвиг рассказывал Плетневу, что языку богов научил его Н. Кошанский, тот самый педагог, что подолгу обсуждал с лицеистами новейшую художественную литературу).

Когда в 1999 году по зову Евгения Бунимовича в рамках программы «Поэты в школе» московские средние учебные заведения посетили современные авторы, дети были порядком удивлены и воспринимали происходящее в соответствии со строчкой из стихов организатора акции «...Разве бывают живые поэты?». Школьники не догадывались, что среди учителей Пушкина были живые писатели, такие, как, например, поэт и переводчик Николай Гнедич; Лицей часто посещали Василий Жуковский, под влиянием которого тот же Дельвиг стал изучать немецкий язык, и живший по соседству Николай Карамзин. Так что «метод подключения к воспитательному процессу специалистов — носителей современных идей и технологий», широко применяемый ныне фондом поддержки гуманитарного образования, применялся еще в России начала XIX века.

«Зачем это нужно всем детям, что, они поголовно станут литераторами?» — нередко спрашивают сегодня даже учителя. Остается напомнить, что в стенах Царскосельского лицея с современной литературой знакомились не только поэты-писатели. Не во вред она была и другим выпускникам, которые внесли лепту в славную историю России: герою Крымской войны и отважному путешественнику адмиралу Федору Матюшкину; ближайшему советнику Николая I и Александра II, директору Императорской публичной библиотеки Модесту Корфу; знаменитому дипломату Александру Горчакову.

В XIX веке новейшая литература периодически попадает в школьные пособия. Изданный в 1833 году учебник В. Плаксына не обошел своим вниманием А. С. Пушкина. Вышедший в 1863 году «Курс истории русской литературы» К. Петрова включал «Бедных людей» Достоевского, рассказы Тургенева и пьесы Островского; при том, что современная литература не входила в программу обучения.

В учебнике «Новая русская литература» П. Евстафиева (1877 — 1879) были представлены очерки о Гончарове, Тургеневе, Островском.

Справедливости ради скажем, что на первых порах категорически возражал против *изучения* новейшей литературы Федор Иванович Буслаев (основной аргумент ученого — что новейшая литература все равно будет читаться вне класса — теперь звучит не слишком актуально), тем не менее к концу жизни и он пересмотрел свое отношение к этой проблеме, включив в «Общий план и программы обучения языкам и литературе в женских среднеучебных заведениях» (1890) прозу Тургенева и Льва Толстого, критику Белинского, Гончарова, Шевырева.

Наиболее последовательно линию на преподавание современной литературы в школе проводил Алексей Дмитриевич Галахов (1807 — 1892), постепенно дополнявший переиздания своих хрестоматий произведениями Некрасова, Тютчева, Хомякова, Козлова, Полонского и Никитина. В то же время даже Л. Толстой, Тургенев и Достоевский попадают в обязательный историко-литературный курс только в 1905 году.

После октября 1917 года, несмотря на навязываемый пролеткультавцами радикальный подход к нашему наследию, поначалу состав школьного курса не слишком изменился. Но уже с 30-х годов он формируется под знаком тотального изучения новой советской классики: произведения Фадеева, Шолохова и Твардовского утвердились в школьной программе и пребывают в ней до настоящего времени. Одновременно шло навязывание идеологических лубков: произведений сталинианы и ленинианы, романа Ф. Панферова «Бруски», трилогии Леонида Ильича Брежнева и т. п.

Итак, современная русская литература, в том или ином виде, всегда присутствовала в школе, а основной вопрос заключался лишь в степени ее присутствия

«Знакомить или изучать?» Посмотрим, что происходит с преподаванием современной литературы в школе сегодня и откуда черпают свои знания учителя-словесники начала XXI века.

2

Раньше каждый учитель литературы в первую очередь опирался на школьную программу. Теперь существует федеральный (базовый) компонент литературного образования и несколько разных самоучителей (Т. Курдюмовой, А. Кутузова, Г. Беленького, В. Коровиной, М. Ладыгина и т. п.), из которых выбирает сама школа. В последние годы программы, как правило, привязываются к определенному набору учебников и школьный учебник выдвинулся на главные роли. Прежде он был един, а сейчас теоретически можно заниматься по чему угодно. Тот «единый» был по тем временам не так уж плох, но затрещала по швам советская система образования, и сейчас ни у кого не осталось сомнений, что прежний учебник переделать невозможно, ибо последние пятнадцать лет сломали старую (новую) систему ценностей.

Фактически школьные учителя опираются сейчас на два основных учебника для 11-го класса: под редакцией В. Агеносова (в московских школах он явно преобладает) и под редакцией В. Журавлева. Также пользуются учебником под редакцией Ф. Кузнецова, но в плане изучения новейшей литературы он почти не отличается от журавлевского, ибо главы о современных прозе и поэзии написаны одними и теми же авторами (В. Чалмаев и И. Шайтанов).

В учебнике В. Агеносова современной литературе посвящены главы об А. Солженицыне (В. Агеносов), В. Распутине (В. Агеносов), Ф. Искандере (Н. Выгон), И. Бродском (Э. Безносков); но в основном рассматриваются произведения, написанные этими авторами до 1987 года. Новейшую литературу освещают три главы — «Современная драматургия» (М. Громова), «Художественные поиски и традиции в современной поэзии» (И. Шайтанов) и «Современная литературная ситуация» (А. Леденев), хотя их хронологические рамки несколько шире.

М. Громова делает акцент на том, что для современных драматургов главное «не быт, а бытие», и развивает эту мысль на примерах пьес драматургов разных направлений: «Гнездо глухаря» В. Розова, «Жестокие игры» А. Арбузова и «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской. Не обойдены вниманием и театральные работы последнего десятилетия, например, «Пьеса № 27» А. Слаповского и «Игра отражений» М. Арбатовой, — автор отмечает, что эстетические искания драматургов последних лет часто сосредоточены на собственно словесной организации текста.

Повезло разделам о современной поэзии: И. Шайтанов, продемонстрировав незаурядное мастерство, написал разные по построению и стилю, но одинаковые по концепции главы о поэзии и для учебника В. Агеносова, и для учебника В. Журавлева. Различия в персоналиях не бросаются в глаза (хотя, например, в учебнике В. Агеносова Леониду Мартынову посвящено несколько страниц, а в учебнике В. Журавлева — только один абзац). Автор пишет о традициях и новаторстве, о природе творческой индивидуальности, доступно объясняя школьникам, что такое поэтическое пространство и звуковое поле стиха.

В новое издание учебника В. Агеносова добавлены поэты, заявившие о себе в 80-е (метаметафористы — Иван Жданов, Александр Еременко, Алексей Парщиков; концептуалисты — Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, Дмитрий Пригов), — таким образом, этот учебник регулярно осовременивается. Меняется и раздел поэзии в учебнике В. Журавлева. В главке «Что кончилось и что начинается» И. Шайтанов пишет о новом поэтическом утверждении Евгения Рейна, Олега Чухонцева и Игоря Шкляревского; о выдержанных преимущественно в классической стилистике стихах Татьяны Бек и Инны Лиснянской.

Если главы о поэзии конца XX века в учебниках В. Агеносова и В. Журавлева различаются в частности, то подход к новейшей прозе расходится концептуально. В первом из учебников (глава «Современная литературная ситуация») А. Леденев, оперируя терминами «реализм» и «постмодернизм», рассматривает совокупность мировоззренческих (антиутопический пафос постмодернизма), политических (вы-

ход из-под идеологического контроля), социокультурных (изменение способов контакта писателя с читателем), экономических (коммерциализация книгоиздательства) факторов, влияющих на развитие литературы. При этом автор старается избегать примитивной классификации прозы, утверждая, что «сама по себе тематика произведений осознается писателями как второстепенный аспект творчества. Главное — насколько серьезно и глубоко тот или иной тематический материал позволяет повести разговор о вечных проблемах взаимоотношений человека и мира».

В учебнике под редакцией В. Журавлева В. Чалмаев подходит к делу иначе — литературный процесс характеризуется средствами традиционной реальной критики, и потому рассказ о русской прозе 50 — 90-х годов — это размеренное описание трех основных ее ветвей: деревенской, военной и городской прозы; этому легко следовать, рассуждая о 60-х (оттого удалась глава о писателях-деревенщиках), и весьма непросто — в отношении последующих десятилетий, поэтому некоторые произведения смотрятся не на своем месте: «Москва — Петушки» попадает под определение «городская проза»; про Бориса Ямпольского, Владимира Маканина и Фридриха Горенштейна сказано, что все они «по-своему» продолжают философско-иронический, аналитический стиль Юрия Трифонова. Особенно странно выглядят рассуждения о прозе 90-х: «Стройбат» Сергея Каледина и «Компромисс пятый» С. Довлатова, Б. Екимов и Л. Петрушевская попадают под единое определение — «чернуха», «затянувшееся пародирование былых канонов, штампов, речезаменителей». Финальным аккордом этой самой «чернухи» почему-то называется все тот же написанный значительно раньше, на сей раз названный «алкоголической исповедью» роман-поэма Венедикта Ерофеева. В чем сходятся А. Леденев и В. Чалмаев — так это в перспективах развития, прежде всего связывая их с усвоением и переосмыслением традиций русской классической литературы.

Нельзя не сказать о том, что вокруг учебника В. Агеносова в последнее время развернулись жаркие споры, вызванные выдвижением его на Государственную премию. Конструктивная критика еще никому не мешала, но не агрессивная и огульная. Вот, например, что пишет называющий учебник В. Агеносова «мертвой книгой» А. Аникин: «Глава о современной литературной ситуации малосодержательна и заведомо устарела, сориентирована исключительно на авторов букеровского направления, словно какая-то цензура вычеркнула писателей круга русской традиции, представленных Союзом писателей России, журналами „Москва“, „Наш современник“ и проч.».

В учебнике В. Агеносова говорится о творчестве Валентина Распутина и Юрия Бондарева, Виктора Розова и Юрия Кузнецова — все они члены Союза писателей России! И что это за «букеровское направление», если лауреатами Букера в разные годы становились самый что ни на есть реалист Георгий Владимов и, условно говоря, постмодернист Марк Харитонов. Но особенно забавны тут слова «заведомо устарела». Существует единственный способ сделать главы по современной литературной ситуации «неустаревающими»: создать учебник в электронном виде и ежедневно заносить в него изменения.

На мой взгляд, задача освещения современной литературы авторами учебников выполнена — школьники знакомятся с ее основными течениями, узнают какие-то имена писателей. И все это сделано с пониманием адресата — учащихся, без резких движений и скоропалительных выводов.

3

Некоторые писатели переживали подчас поистине фантастический взлет. В 1927 году на польской таможе у Владимира Маяковского отобрали книги и вернули их только тогда, когда он объяснил полицейскому начальнику, что все они его собственного сочинения. Офицер, увидев на обложке фамилию «Маяковский», недоуменно пожал плечами, а потом стал воодушевленно и долго расспрашивать его о писателе Малашкине, чей роман он недавно прочитал.

В ту пору Малашкин был невероятно популярен, а его роман «Луна с правой стороны» (выходил также под названием «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь») просто-таки сметали с книжных прилавков. Кто мог тогда *знать*, что о прожившем долгую жизнь Сергее Малашкине (1888 — 1988) будут помнить

лишь немногие, да и то в основном как об одном из подписавших пресловутое «письмо одиннадцати» («Огонек», 1969), а подавляющее большинство людей, связанных тем или иным образом с литературой, будет путать его с Александром Малышкиным, автором романа «Люди из захолустья». Знать никто не мог, но *предполагать* могли бы. Вот и сейчас литературоведы и критики, рассуждая о том, что является в наши дни литературой настоящей, *предполагают*.

До последнего времени не существовало вузовского учебника, полностью посвященного современной русской литературе. Первая серьезная попытка предпринята Н. Л. Лейдерманом и М. Н. Липовецким, недавно представившими свой трехтомный труд «Современная русская литература» — учебное пособие для студентов-филологов. Третий том издания «В конце века (1986 — 1990-е годы)» как раз и охватывает новейший период. Казалось бы, эта книга не имеет прямого отношения к процессу изучения литературы в школе. Но, как верно заметил П. Басинский, «эти книжечки Министерство образования моей родной страны рекомендует в качестве учебника будущим преподавателям литературы». «Продвинутые» учителя уже сейчас готовы их использовать — флаг им в руки.

Итак, Н. Лейдерман и М. Липовецкий, выступив в роли первопроходцев, взяли на себя ответственность отбора того, что есть настоящая литература нашего времени. Том содержит три главы, посвященные основным направлениям современной литературы (глава I «Культурная атмосфера» играет роль введения): реализму (этому направлению отдано 22 страницы текста), постмодернизму (61 страница) и постреализму (55 страниц).

Собственно реализм, называемый авторами «традиционалистским», либо «блуждает между универсалиями: Народ — Государство — Бог», либо примеряет одежду массовой литературы. Обновленный реализм представлен двумя направлениями: «неонатурализмом», куда Лейдерман/Липовецкий причисляют женскую прозу во главе со Светланой Василенко, и «неосентиментализмом», куда авторы определяют и Алексея Слаповского, и репертуар Тани Булановой, и многое прочее, заслуживающее, вкуче с «мыльными операми», «подлинный потенциал течения».

Подробно описан авторами постмодернизм, но наиболее любопытной мне представляется гипотеза о формировании новой художественной системы — постреализма, связанного с актуализацией опыта литературы 20 — 30-х годов. Не буду утверждать, что идея совсем уж абсурдна, изберу другую формулировку — «нуждается в осмыслении». Пока же будущие преподаватели литературы могут отметить только основные признаки этого направления, чтобы донести их до школьников: «1. Сочетание детерминизма с поиском внекаузальных (иррациональных) связей. <...> 2. Сочетание социальности и психологизма с исследованием родового и метафизического слоев человеческой природы. <...> 3. Структура образа предполагает амбивалентность художественной оценки. <...> 4. Моделирование образа мира как диалога (или даже полилога) далеко отстоящих друг от друга культурных языков...» После такого простого объяснения становится понятно, что постреалисты — это Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Владимир Маканин и, конечно, Иосиф Бродский.

Впрочем, если термины в книге Лейдермана/Липовецкого объяснены тщательно и подробно, то разобраться с персоналиями создатели учебника не удосужились — здесь авторов пособия можно ловить «в ступе толкачом» (по русской поговорке): Олег Ермаков фигурирует и в реалистах, и в постреалистах; Юрий Буйда — в постреалистах и постмодернистах. Да и вообще: кому портрет в золоченой рамочке, а кому шиш с маслом. Восемь страниц отданы Владимиру Сорокину, две — Владимиру Шарову, а о Сергее Гандлевском говорится лишь вскользь; ни разу не упомянуты такие прозаики, как Анатолий Азольский, Михаил Бутов и Андрей Волос; такие поэты, как Максим Амелин, Татьяна Бек, Евгений Рейн. Согласитесь, странно это для книги, аттестующей себя как «цельную и достаточно полную версию развития русской литературы».

Немногом ранее книги Лейдермана/Липовецкого вышло учебное пособие «Русская постмодернистская литература» И. С. Скоропановой, обложка которого завлекала рекламным подзаголовком «Для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля». Школьники, открыв книгу и обнаружив там пассаж: «Построение же кода определяет феномен коннотации, которая открывает доступ к полисемии художественного тек-

ста», — тут же ее закроют; ну а преподаватели-филологи поначалу подрастеряются от своей устарелости и неграмотности, побоятся, подобно постмодернистам, «экстериоризировать либидо исторического процесса», а потом примутся изучать этот новояз, дабы приспособиться к реалиям текущей литературной ситуации.

Оправданно, что, допустим, новый литературоведческий терминологический словарь под редакцией Л. В. Чернец не обходит постмодернистских терминов. И. Б., автор рецензии в «Новом литературном обозрении», прав: «Можно как угодно относиться к пресловутым „дискурсу“ и „симулякру“, к „смерти автора“ и „автоматическому письму“». Но в словнике подобного издания их не может не быть, потому как словарь по определению отражает то, что есть в реальном языке (в данном случае — профессиональном жаргоне)». Но когда дело касается учебного пособия, увлечение заумной терминологией становится неуместным.

В книге И. Скоропановой содержится масса полезной информации (биографии писателей); виден кропотливый труд автора (расшифровка скрытых цитат); представлены точки зрения авторитетных критиков и писателей на центральные произведения постмодернистов. Так что не зря высокая комиссия Министерства образования и науки Республики Беларусь включила сию книгу в число победителей конкурса «Обновление гуманитарного образования в Беларуси».

Ницше говорил, о чем с удовольствием вспоминает автор пособия, что бесконечность мира предполагает бесконечное число интерпретаций. Вариант И. Скоропановой имеет право на существование, более того, я снимаю шляпу — это серьезное философское и литературоведческое исследование, но не учебное пособие, а его, простите за грубость, симулякр (*simulacrum*, напомним, на латыни — изображение, подобие, видимость).

Первопричиной появления сугубо научной литературы под вывесками «Для школы» и «Для вуза» является несомненная коммерческая привлекательность подобных проектов. К счастью, законы рынка не мешают заниматься проблемами школьной литературы методической периодике — одному из старейших журналов России «Литература в школе» и имеющему совсем недолгую историю приложению «Литература» к газете «Первое сентября» (в основанном в 1993 году журнале «Русская словесность» литература все-таки не является главной темой, уступая пальму первенства языку).

4

Можно, оказывается, быть дельным изданием и думать о красе оформления: «Литература в школе» (главный редактор — Надежда Крупина, тираж — 42 тыс. экз.) выходит на отличной глянцева бумаге, журнал приятно взять в руки: крупный шрифт; репродукции И. Левитана и В. Поленова, В. Серова и А. Бенуа; раритетные архивные фотографии (с 2000 года также издается красочное приложение «Уроки литературы»). Но главное — издание служит подспорьем в реальной работе учителей. В журнале печатаются литературоведы, критики и ученые: Л. Аннинский, О. Богданова, В. Журавлев, И. Золотусский, А. Ланшиков, В. Непомнящий, Л. Трубина, В. Чалмаев, А. Эбаноидзе; но основные авторы «Литературы в школе» — это все же учителя, которые делятся результатами своего повседневного труда.

Журнал последовательно консервативен, потому и знакомит читателей с новейшими авторами осторожно: в рубрике «Литература наших дней», как правило, представлены писатели традиционные — Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Юрий Казаков, Василий Шукшин, Константин Воробьев.

В последнее время современность фигурирует на страницах «Литературы в школе» все чаще. Лев Тодоров в статье «О новом русском стихе», посвященной многообразию верлибра в XX веке, наряду с классиками первой половины века анализирует стихотворения Евгения Рейна, Геннадия Айги, Дмитрия Пригова. Более того, автор идет еще дальше и приводит стихотворение современного рэп-поэта из Сергиева Посада с целью показать возможные пути развития актуальной просодии. Учитель из Ярославля И. Холодяков представляет анализ двух уроков по рассказам В. Астафьева и Л. Петрушевской. «Петрушевская не видит гармонии в мире, более того, она утверждает, что гармония просто невозможна. Астафьев не видит, но верит, что Божья искра в нас есть».

«Литература в школе» предполагает расширить круг материалов, связанных с изучением современной литературы. Печатается, в частности, большая подборка материалов об Андрее Волосе, подготовленная преподавателем МПГУ Н. Поповой, включающая творческий портрет писателя, интервью с ним и подробный анализ романа «Недвижимость».

Созданная Симоном Соловейчиком газета «Первое сентября» на восемьдесят лет моложе «Литературы в школе». Теперь Симон Соловейчик — фигура легендарная. В Москве регулярно проводятся Соловейчиковские чтения, а его детище успешно конкурирует с ныне активно развивающейся «Учительской газетой». И хотя существует предметное приложение «Литература», подчас кое-что попадает и на страницы исходной газеты: о существовании толстых журналов напоминает своей ежемесячной колонкой «Знак поворота» Елена Иваницкая, эпизодически печатаются здесь Л. Аннинский и А. Турков, а недавно был напечатан маленький художественный текст Марины Кудимовой.

Приложение «Литература» (главный редактор — Геннадий Красухин, тираж — 11 тыс. экз.) — узкоформатная газета, которая выходит четыре раза в месяц на шестнадцати страницах, — первоначально было задумано как альтернатива официозу, господствовавшему в школьно-литературном пространстве.

Как и в первые годы существования газеты, наряду с Константином Ваншенкиным, Русланом Киреевым, Владимиром Корниловым, Станиславом Рассадным, Игорем Шайтановым и другими мэтрами среди авторов журнала значатся «обычные» школьники.

Приятно поражает Роман Милакин из Озерска (судя по количеству и качеству публикаций, этот городок становится одним из литературоведческих центров). Роман анализирует «Сюжет усреднения» Владимира Маканина, демонстрируя к тому же отличное знание и других произведений писателя. Интересны мысли девятиклассницы из Ленинградской области Анны Нечаевой, разбирающей рассказ К. Воробьева «Милая моя девочка». Но, право, становится неловко, когда мальчик из Уфы Тимур Гафуров, обращаясь к «Пилигримам» Бродского, пишет, что композиция стихотворения — «антиклимакс Иллюзии и климакс Дороги».

Газета разнообразна и пестра. «Литературный календарь» сочетает телеграфную строгость отдельных сообщений со смешками в духе пресловутой «шестнадцатой полосы». Мобильно создаются новые рубрики (в № 31 появилась «Книжная полка»); Зинаида Блинова предлагает школьникам для рецензии новоирусские публикации: «Дом у реки» Андрея Волоса, «Пиночет» Бориса Екимова, «День денег» Алексея Слаповского и др. (Не стоит ждать от учеников серьезного разбора — предупреждает автор, ибо «детям гораздо важнее, *что* изображено, чем *как* это сделано».) Пишет статьи о современной литературе, в частности об Олеге Ермакове, заместитель главного редактора Мария Сетюкова-Кузнецова; а Сергей Дмитренко утверждает, что литературные премии — «лишь своеобразный стенд, демонстрирующий литературно-критические предпочтения времени».

Что ж, отраднo, что эти два ведущих методических повременных издания не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.

5

Сегодняшние масштабы нашествия масслита поражают. Дети и взрослые всегда читали фантастику, приключения, детективы (вкпе с бульварно-любовной белибердой), хотя анализ пристрастий читателей-школьников второй половины XIX — начала XX века, проведенный одним из ведущих современных методистов профессором В. Чертовым, показывает, что в большом почете были у школьников также Лев Толстой, Гоголь, Пушкин, Тургенев, Лермонтов. Многие педагогов того времени возмущало пристрастие школьников к «чудовищным» романам А. Дюма, «вредоносной небывальщине» Жюль Верна, Майна Рида и Эдгара По, что сегодня вызывает улыбку. Однако, разумеется, было и большое количество плевел: «Комната преступления» Э. Шаветта, «Любовники-убийцы» А. Бело, «Петербургские трущобы» В. Крестовского и проч. Ну а сейчас современные писатели у школьников ассоциируются с однообразными доценко-мариниными в кричащих обложках.

Заигрывание с «милордом глупым» вряд ли безвредно. Вот вроде бы здорово пишет Дарья Валикова в статье «Массовая литература: в рамках и за рамками жанра» («Литература», 2001, № 13) о романе Марининой, предлагая читателям-учителям пример из текста бестселлера: «„Настя знала примерно по 500 слов из всех европейских языков”. Неужто и из исландского? И из каталонского? И из ретороманского тоже? Да таких полиглотов не то что в МУРе — в МИДе не сыщешь!» А после восхищается высокопрофессиональным письмом Виктории Платовой: констатирует разительное отличие четырех платовских романов («Куколка для монстра» и т. п.) от телеэкранизации «Охота на Золушку». Учителя мотают на ус и бегут за Платовой (или продолжают смотреть сериал, поражаясь тому, что книга, оказывается, «еще лучше»).

Я согласен, что категоричное отрицание массовой литературы неконструктивно, но позвольте... Виктория Платова действительно хороший стилист, каких мало среди производителей *такой* продукции, но это нивелируется смыслом написанного (я имею в виду отсутствие оного); и не ясно, стоит ли писать бестолковые книги «настоящим» русским языком.

Большая часть людей, читающих дрянь, знает, что это дрянь (пусть даже и захватывающая). Они элементарно расслабляются (эффект сериалов), для них это все равно, что выпить рюмочку-две (часто втягиваются). Но лишний раз рекламировать учителям подобные книжицы, по-моему, не стоит — одно лишь упоминание имени может впоследствии стать для школьника ориентиром. Пусть лучше на уроках литературы он услышит о стоящих современных авторах, и тогда, быть может, макулатура перестанет быть преобладающим «внеклассным чтением».

6

На вступительных экзаменах на филологические факультеты вузов неизменно присутствуют темы по современной литературе. Между тем редкие абитуриенты имеют какое-то представление об этом предмете, особенно так называемые «платники». Даже те, кто мало-мальски готовился, отвечают, при обязательном наличии нескольких вопросов по современной литературе, как правило, на материале прозы 60 — 70-х годов: В. Распутин («Живи и помни», «Прощание с Матерой»); В. Быков («Обелиск», «Сотников»); В. Астафьев, Б. Васильев («А зори здесь тихие...»), чуть реже рассказывают о когда-то популярном Ч. Айтматове («Белый пароход», «Буранный полустанок») — и отвечают плохо. Что касается поэзии, с ней дело обстоит еще печальнее. Спасибо, если поэта Децла слушал: «Упасть и отжаться, / тем, кто в себя не верит, / Децл исцеляет, / мои рифмы лечат». (Ссылка на молодежном сайте уверяет, что автор этих строк — поэт, певец, композитор: такая вот новейшая литература). Влияет на положение дел и «подкованность» вузовских преподавателей. Отдельные репетиторы, правда, предлагают «Хуррамабад» Андрея Волоса (нравственная проблематика) и «Свободу» Михаила Бутова (искания современного героя), в основном же абитуриентам не дается ничего. Основные материалы по подготовке в вуз учащиеся черпают из многочисленных пособий для поступающих, большая часть которых, мягко говоря, весьма среднего качества.

Вот далеко не худшая книга П. Лиона и Н. Лоховой (Павел Эдуардович Лион — это не кто иной, как талантливый поэт, культовый рок-музыкант и народный акын Псой Короленко: «Я хочу чтобы дети в России не плакали / чтоб жилося людям веселей и светлей год от года / и чтоб чаще народу в газете у нас намекали / что неправильно Ельцин понял суть великого слова „швобода”»). Новейшая литература представлена в ней лишь трехстраничной главкой об Александре Солженицыне, большая часть которой — о «Матрённом дворе»; уровень лучше всего характеризует последняя фраза: «Анализ этого одного из самых ранних рассказов дает достаточно полное представление о художественном мире писателя».

Автору другого пособия, Т. Торкуновой, про «Матрёнин двор» и вовсе невдомек: «После появления в 1962 г. произведения „Один день Ивана Денисовича” был принят в Союз писателей. Но следующие работы вынужден отдавать в „Самиздат” или печатать за рубежом». Такая вот «история с биографией».

Однако бывает еще хуже. В последнее время получила широкое распространение чудовищная практика издания сборников готовых сочинений по литературе.

Мало того, что школьники занимаются бездумным переписыванием готовых текстов, так и сами тексты, как правило, поразительно безграмотны.

Возьмем одну из самых популярных книг (и тоже далеко не худшую) — «250 „золотых“ сочинений». Сочинения по современной прозе — по Солженицыну, Айтматову, Бондареву, Владимову («Верный Руслан»), Быкову, Борису Васильеву написаны примерно в таком ключе (для удобства приведу пример на уже отмеченную тему): «Солженицын упоминает „праведника“ в рассказе „Матрёнин двор“ и не случайно. Это может с какой-то стороны относиться ко всем положительным героиням. Ведь все они умели смириться с чем бы то ни было. И в то же время оставаться борцами — борцами за жизнь, за доброту и духовность, не забывая о человечности и нравственности».

Книга включает в себя и раздел сочинений о современной поэзии. Смысл раздумий безымянных авторов таков: раньше *были* поэты на Руси («Лермонтов... Как коротка была жизнь поэта, но прошла она не зря: о нем вечно будут помнить потомки»), а сейчас тоже *есть* (Николай Рубцов, Николай Заболоцкий...) И смех и грех.

Ни для кого не секрет, что львиная доля выходящих пособий состряпана путем переработки уже существующих материалов. Про XIX век писать проще (хотя люди сведущие замечают, что ахинеи и там предостаточно), про современную литературу — знаний и воображения не хватает.

7

Необходимость ознакомления с новейшей литературой в школе, на мой взгляд, очевидна. Нет, я не предлагаю отдавать пять школьных уроков под роман «Кысь», а вместо Льва Толстого штудировать «Бесконечный тупик» Д. Галковско-го. Боже упаси нас от такого новаторства! Но хочется, право, чтобы дети *имели* о современной литературе хоть какое-то *представление*. В то же время я так же, как и Павел Басинский (и Андрей Василевский), не хочу, чтобы «молоденькая учительница, пунцовея лицом», цитировала детям в школе прозу Сорокина. Вряд ли распиливание черепов, равно как и неторопливое вкушение лаковых частей чье-то тела, стало бы восприниматься школьниками как прямое руководство к действию; но произведения этого автора, под каким бы соусом они ни преподносились, на мой взгляд, не слишком подходят для школьного курса.

Цель литературы — «исправление сердца, очищение ума и вообще обрабатывание вкуса», — так писалось еще в вышедших в 1799 году «Законах собрания воспитанников Университетского Благородного пансиона». «Литература на самом деле дает нам эстетическое образование. Она воспитывает наш вкус, воспитывает наше чувство родного слова. Умение этим словом пользоваться. Она воспитывает наше сердце и душу. Она формирует наш характер и незримо влияет на нашу интеллектуальную жизнь», — говорит в наши дни Александр Солженицын.

Молодежь способна заражаться безумными идеями, особенно если заряжать ее целенаправленно. Подрастающие поколения были главной опорой большевиков и нацистов, хунвейбинов и красных кхмеров. По дурости, по пылости души, по доверчивости, по легкомыслию. Хорошо, если пошумят лет до двадцати трех, как южнокорейские студенты, да угомонятся. Подрост же юный головорез Аркадий Гайдар, образумился и написал несколько хороших книжек, дабы из детей следующего поколения не получались плохиши да квакины. Если сегодняшние дети повзрослеют в условиях, когда литература окончательно превратится в школьный предмет второго сорта, а действующие писатели будут ассоциироваться с доценками и децлами, — процесс дебилизации пойдет слишком далеко.

«Разрыв между современной литературой и современным молодым читателем грозит литературе гибелью, оставляет ее без завтрашнего дня», — утверждает Евгений Бунимович. Он прав: современная литература должна обозначить свое присутствие в школе, иначе мы окончательно упустим время. Не навязываться в качестве канона, но ориентировать в окружающем пространстве — безусловно.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА

+6

Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова. Составление, комментарии О. Е. Рубинчик. СПб., «Невский диалект», Музей Анны Ахматовой, 2001, 224 стр.

Браво, браво! В России возрождается традиция тщательного комментария, совсем было убитая в пору безоглядного перепечатывания всего того, что большевиками было запрещено. Три человека, встречавшиеся с Ахматовой, кто больше, кто меньше, а кто и вовсе мало (В. Кривулин), рассказывают об этой удивительной женщине. Дело не в фактах — фактография ушла в примечания, обстоятельные, добросовестные, разветвленные; дело в том, как все трое рассказывают об Ахматовой. Поразительно, но самые точные слова нашел Кривулин, чрезвычайно мало встречавшийся с «королевой в изгнании». Он смог увидеть в ней то, чего не заметили многие, в том числе и деконструктор ахматовского мифа — Александр Жолковский. «Уже тогда я почувствовал особую природу ахматовского юмора. Почти все, что она говорила, можно было понимать двояко, двусмысленно. Чем дольше я общался с ней, тем очевиднее становилось, что любое ее высказывание может быть прочитано вплоть до обратного смысла. Это была ирония по отношению ко времени, к себе, по отношению к современникам и к прошлому и, естественно, по отношению к нам. Какая-то тотальная, удивительная ирония, можно сказать, небесная, моцартианская. Ирония, которая для меня до сих пор значит гораздо больше даже, чем ее стихи. Потому что это тот самый воздух, которым может дышать поэзия, где каждое слово имеет двойные, тройные смыслы».

Виктор Кривулин. Концерт по заявкам. Три книги стихов. СПб., Издательство Фонда русской поэзии, 2001, 112 стр.

Мне никогда особенно не нравились его стихи. Да и в стихах ли было дело? Он был рыцарь. Герцог Глостер, не такой, каким его оклеветали Томас Мор и Вильям Шекспир, а настоящий исторический, бесстрашный, верный и умный боец за дело Белой розы. Несколько раз я слышал его и понимал женщин, безоглядно влюблявшихся в этого передвигающегося на костылях, странного, взлохмаченного, некрасивого человека. Последние годы он писал прозу, публицистику, эссе, писал все лучше и лучше (в этом можно убедиться, прочтя эссе, помещенное в книжке «Охота на мамонта, или Нищета Петербурга на фоне ленинградского нищенства»). В нем все, что необходимо эссеисту. Ритм фразы совпадает с ритмом мысли. Необычные факты сами собой складываются в концепцию.

Чарлз Буковски. Женщины. Роман. Перевод с английского Кирилла Медведева. М., «Глагол», 2001, 288 стр.

Буковски — католик. То есть он, разумеется, отрекся от веры, о чем и заявлял неоднократно, нагло, вызывающе, нарываясь на очень большой скандал, но, как было сказано в одном из самых его замечательных рассказов: «Однажды католик — навеки католик, сын мой». Чарлз Буковски — вовсе не атеист, он из ряда тех вопрошателей Бога, тех провокаторов Бога, что и Кьеркегор, Иов, Розанов. Иное дело, что в вопрошании Бога у Буковски нет ученой настырности Кьеркегора, воплей Иова или розановской истерики. Он легок, этот лос-анджелесский алкоголик. Легкость — вот что внушает симпатию к Чарлзу Буковски и его героям. Он чист перед своей Музой, как солдат чист перед своим комбатом, как священник чист перед Господом Богом. Не следует забывать еще одного «провокатора Бога», когда рассуждаешь о Чарлзе Буковски — о его романе «Женщины» и о главном герое этого романа, Генри Чинасски — Дон Жуан! Не просто вариация на тему: «Дон Жуан в XX веке в Америке», но вообще Дон Жуан, квинтэссенция донжуанизма.

Севильский изящный дон завершил свой земной путь в облике старого уродливо-го прыщавого алкоголика. Все Дон Жуаны стеснились в alter ego Чарлза Буковски — пятидесятилетнем поэте Генри Чинасски. Поначалу ничего не понимаешь. Этот самый Генри Чинасски пьет, блюет, прогоняет одну бабу, связывается с другой — почему про все это читать интересно, смешно, печально? Почему вполне понимаешь тех баб, которые липнут к грязному некрасивому Генри Чинасски? Что в нем есть? Душа жива? И поразительная способность реализовать свою душу, приколотить ее гвоздями слов к бумаге. Это мало кому удавалось. Розанову, Олеше, Венедикту Ерофееву — родным братьям Буковски по целомудренному бесстыдству, по откровенности, не способной вытрясти душу, но предназначенной для того, чтобы душу встряхнуть.

А. И. Рупасов. Советско-финляндские отношения. Середина 1920-х — начало 1930-х гг. СПб., «Европейский Дом», 2001, 310 стр.

«Прозванный гений» 20 — 40-х годов, писатель, писавший почти всю свою жизнь «в стол», то есть в никуда, Сигизмунд Доминикович Кржижановский нашел в потомстве своего читателя. Это — интеллеktуал, напрягающий мозг и глаза так, как иной напрягает мускулы. Главы в книге о советско-финляндских отношениях предварены эпиграфами из рассказов Кржижановского. А. И. Рупасов верно почувствовал, что для фантастического, сдвинутого, смещенного по оси пореволюционного мира больше всего подойдут тексты фантаста, интеллеktуала и атеиста — Кржижановского. Два вновь образованных государства ощупью ориентируются в мире, примериваются друг к другу; два идеальных, умозрительных проекта — независимая Финляндия и СССР (государство, созданное революцией и для революции) — материализуются, вписываются в устоявшийся традиционный вечный мир — чем не тема для Кржижановского? Недаром лучший и самый точный эпиграф в книге такой: «Мысль откачнулась назад: в мирозерцании было куда лучше, чем в мире».

Александр Эткинд. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 496 стр.

Когда-то меня поразила мысль, вычитанная в мемуарах Вяч. Вс. Иванова: де, в культурной истории человечества есть две эпохи, и они сменяют друг друга с завидным постоянством — барокко и классицизм. По-моему, ясно, в какую культурную эпоху живем мы. Барокко! И Александр Эткинд, выпустивший свою новую книжку об образе Америки в России и об образе России в Америке, — настоящий барочный писатель. Что-то фейерверочное, пышное есть в его «упоминательной клавиатуре». Короткие главки его книг буквально набиты событиями, людьми, странами, цитатами. На двух страницах у него в книге могут разместиться, не мешая ни друг другу, ни читателю, ни автору, — Анна Иоанновна, Екатерина II, Сегюр, Потемкин, английский моряк на русской службе Джон Пол Джонс, Лемерсье де ла Ривьер, мореплаватель Кук, Джон Ледьярд, Пушкин, Александр I, Хлестаков, Джефферсон, Рылеев, Никита Муравьев, Бенжамен Констан, Колумб, остров Мартиника, изнасилование юной молочницы и... я еще не все перечислил. Эткинд знает толк в парадоксах. Он любит, чтобы трюизмы прикидывались парадоксами, а парадоксы — трюизмами. Естественная мысль, само собой разумеющееся наблюдение становятся у него — вызывающими, эффектными, необычными. «В 1831 году Алексис де Токвиль открыл демократию в Америке. Французский судебный чиновник, он обследовал американские тюрьмы. Так что если Америка была открыта благодаря путешествию в Индию, то демократия — благодаря путешествию по тюрьмам». Конечно! Если вы хотите узнать, насколько демократично то или иное общество, — идите в тюрьму, богадельню, больницу. А иногда, между делом, à propos, Эткинд высказывает мысль необычную, вовсе не само собой разумеющуюся. «Все русские просветители, начиная с Екатерины II и кончая, пожалуй, Троцким, ненавидели демократию». Это следовало бы доказать. Кому-то другому, не Эткинду. Он умеет писать интерес-

но. Хичкок говорил: «Что такое драма? Это жизнь, из которой удалено все скучное». Эткинд следует этому совету. Его «новый историцизм» — история, из которой удалено все скучное. Я выскажу и вовсе крамольную мысль: он новеллист. Историк-новеллист. Некоторые главки из его книг можно читать как новеллы Борхеса. Ирония, эрудиция, необычный, порой притчеобразный сюжет — чем не Борхес, я вас спрощу?

Хорхе Луис Борхес, Адольфо Био и Касарес. Образцовое убийство. Рассказы. Повесть. Киносценарии. Перевод с испанского. Составление и предисловие В. Петрова. Комментарии В. Андреева. СПб., «Симпозиум», 2001, 576 стр.

В 40-х годах XX столетия два аргентинских писателя, два друга-приятеля, Борхес и Био и Касарес, выдумали писателя-детектившика Онорио Бустоса Домека, а вслед за тем еще одного писателя — Суареса Линча. Петербургское издательство «Симпозиум» выпустило в свет сборник детективных историй Суареса Линча и О. Бустоса Домека. Детективы выдуманных писателей — откровенно пародийны; на нынешнем сленге говоря, это — стёб, «капустник» для «своих». Преступники и подозреваемые носят фамилии или литературных героев других писателей, или буэнос-айресских знакомых Био и Касареса и Борхеса, что еще смешнее. Детективные интриги в этих текстах или расшифровываются с ходу, или настолько нелепы, что вынуждают вспомнить даже не Честертон — Кафку. Один рассказ и посвящен Кафке. Детективы эти больше похожи на притчи, чем на детективы. По крайней мере «Замысел Санджакомо» — настоящая притча. (Как там у Беньямина об отличии притчи от басни? Притча не ложится покорно к ногам морали, подобно басне. Опускаясь наземь, она поднимает против морали свою мощную и грозную лапу.) Да-с, Бустос Домек и Суарес Линч, как и Био и Касарес с Борхесом, дороги нам не детективными интригами. Стиль, батюшка, отменные манеры, восхитительная ирония. Пузатенький черный томик с совершенно очаровательным рылом броненосной черепахи на обложке — великолепное вагонное чтение. Я по крайней мере чуть было не проехал свою остановку, читая второй рассказ Бустоса Домека — «Ночи Голядкина». Несколько подкачали примечания. Ну, например, Борхес пишет о своем друге: «Био литературно возрождает идею, которую Святой Августин и Ориген опровергли, которую Луи Огюст Бланки логически обосновал и о которой Данте Габриел Россетти сказал памятной мелодией стиха: «Я здесь бывал ли наяву / Хоть раз? Когда? Но узнаю / Обвившую порог траву, / В саду скамью, / Огни на берегу и моря синеву». В комментарии сообщено, что Луи Огюст Бланки (1805 — 1881) был французом, социалистом-утопистом, революционером. Благодаря покорно, я как-то все эти факты запомнил, но мне было интересно другое: где и каким образом Бланки логически обосновал идею переселения душ, а об этом — молчок. Жаль. Чуть-чуть бы поработать над комментарием — была бы почти идеальная книжка. Ведь неглупые и профессиональные люди ее составляли и комментировали. Во всяком случае, благодаря им я узнал, что «в 30-е годы Борхес написал небольшое эссе, посвященное Бабелю, где дал высокую оценку его новеллистике». Вот бы это эссе прочитать!

-2

Давид Маркиш. Статья Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Эммануиловича Бабеля. Роман. СПб., «Лимбус-Пресс», 2001, 256 стр.

За неимением борхесовского эссе о Бабеле читаем роман «всемирно известного прозаика» (так в аннотации) Давида Маркиша на ту же тему. Не нужно быть психоаналитиком, чтобы сообразить: когда писатель называет свой роман «Статья Лютовым», то тем самым высказывает свое тайное желание — «стать Бабелем», писать так же красиво, изящно, шикарно. А что за радость — «становиться Бабелем»? Двадцать два раза переписывать одну и ту же историю про старого еврея Судечкиса,

отучившего дочку Любки Казак от мамашиной груди, — что за удовольствие? В отличие от Бабеля, Давид Маркиш, по-моему, даже не перечитывает то, что он пишет. В противном случае разве он написал бы: «Аптекари, адвокаты и курсистки в фильдекосовых чулках от всего сердца опасно приветствовали князя Реувейни»? Достаточно прочесть вслух эту фразу, чтобы услышать: аптекари, адвокаты и курсистки у Давида Маркиша ходят в «фильдекосовых чулках», и это бы ничего, но вот то, что чулки у них «от всего сердца» (и до ступни, надо полагать), — это, конечно, сильный образ. Я должен быть благодарен Давиду Маркишу. Благодаря его «вольным фантазиям» я понял, что такое «постмодернизм в литературе», — это полная, абсолютная ликующая безответственность, которая мнит себя свободой. Для чего Бабель назван Иудой Гроссманом? Для того, чтобы не сковывать «вольную фантазию» скучной фактографией. Описана встреча Иуды Гроссмана и Юрия Олеси в 1920 году в одесском кабаке: «Юра писал удивительную странную прозу и сам слыл человеком странным. Иуде Гроссману это не мешало, он знал Юру давно и испытывал к нему ровную устойчивую приязнь. Это Юра придумал: „Да здравствует мир без меня!“» Конечно, да здравствует, потому что в этом мире можно будет врать про умерших все, что угодно. В 1920 году «Юра» не писал и даже не собирался писать «удивительную странную прозу» — он писал среднего качества стишки, ничем особенным не отличающиеся от тогдашней литературной продукции. Если бы этот ляп был допущен в нормальном биографическом романе, тут бы автора линейкой по рукам — вжжж! — не пиши о том, чего не знаешь! Но это же — елки-молалки — «вольные фантазии!» Мог Бабель встречаться в Париже с Махно? Мог! Давай вали сюда Махно. Сейчас нам Нестор Иванович расскажет, как он защищал трудящихся евреев на Украине и сколько евреев служило на командных постах в его армии. Бабель не просто мог, он переписывался с Горьким, подолгу с ним беседовал. Горький защищал Бабеля от грозных литературных атак Семена Михайловича Буденного. Но ведь это так скучно — Горький. Лучше *выдумать* разговоры с Нестором Махно и Зеевом Жаботинским в Париже, чем *подумать*, о чем могли разговаривать Максим Горький и Бабель в 1930 — 1932 годах, когда Бабель работал секретарем сельсовета в Молоденове, а в двух километрах от этой деревни на бывшей даче Морозова Горький работал основателем соцреализма.

А. Пятигорский. Рассказы и сны. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 128 стр.

«Нет ничего скучнее чужих снов и ничего интереснее снов собственных», — Анна Ахматова это понимала. Поэтому о пришедшихся ей по душе рассказах Кафки сказала: «Словно взял тебя за руку и повел в один из самых страшных твоих снов». Зато Александр Пятигорский не понимает фундаментального отличия своего сна от сна чужого. Поэтому читать его сновидные, бредообразные рассказы чрезвычайно скучно, что для новеллиста — убийственно. Неужели замечательный буддолог и философ Александр Пятигорский полагает, что если через страницу поливать матом окружающее, то получится не хуже, чем у Сорокина? Неужели замечательный философ и буддолог Александр Пятигорский полагает, что если нудноватые рассуждения о времени-пространстве-сознании-бытии или национальном вопросе пересыпать блестками народного юмора вроде «... твою мать!», то это получится, как у Пелевина в замечательной сцене из «Чапаева и Пустоты», где на бандитском жаргоне излагаются основы мистических учений? Почему Шаламов, описывая колымские концлагеря, не так часто прибегает к ненормативной лексике, как профессор Пятигорский, описывающий «приключения мысли»? Ответ прост. Очистите от сквернословия «сны и рассказы» Пятигорского — что останется? Подражания Борхесу и Кортасару — и вялые подражания, надо признать. Поэтому-то (для придания энергии) Пятигорский впихивает в «рефлектирующее сознание» «твою мать», а в «сознание, творящее мир», — «пошел на ...» и, удовлетворенный, отходит в сторону. Я тоже, пожалуй, отойду.

±2

Е. Р. Обатнина. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2001, 384 стр.

Прекрасно документированный, обстоятельный рассказ о том, как Алексей Ремизов в пору безоговорочной победы социальных утопистов создал свою личную утопию, свое Телемское аббатство веселых обезьян. Книга оформлена так, что дух захватывает. Цветные рисунки Ремизова, дипломы, которые он раздавал подданным своей Обезьяньей Великой и Вольной Палаты, список этого самого Обезвельволпала — всё по высшему разряду. Не читая листать и то удовольствие. А если читать, то, разумеется, делается понятно, от какой дикой тоски и вселенской печали, от какого мрака в душе иные люди бросаются играть во всевозможные игры — Обезвельволпал или что-нибудь в этом роде. Прекрасная книга — если бы не квазинаучный «птичий» язык: «Не только формы и тексты, но даже личности секретаря „Арзамаса” — В. А. Жуковского — и канцеляриуса Обезвельволпала — Ремизова — вступают в данной системе в конгруэнтные отношения». Услышь такое о себе канцеляриус Обезвельволпала Обезьяний царь Асыка I, Ремизов Алексей Михайлович, он непременно бы отозвался так, как отозвался на одном ученом собрании, где речь шла о серьезных гносеологических проблемах: «„А вот у нас была кошка: так она... извините... угурцы ела”... — „Да Вы, собственно, к чему это — про кошку?” — „А ни к чему, так, вспомнилось”».

Татьяна Толстая. День: личное. М., «Подкова», 2001, 512 стр.

Одна из самых талантливых современных писательниц, Татьяна Толстая, рискнула собрать все то, что было написано ею в газетах и журналах. Такая поденщина — фельетоны, рецензии, эссе — «доброму вору — все впору». Талантливый человек, он и в газете талантлив, но газетная журналистская размашистость вредит даже талантливому человеку. Когда в первом своем программном очерке, «Квадрат», Толстая с презрением пишет о поздней прозе своего великого однофамильца (а может, и родственника, кто их знает? Дворяне все родня друг другу): «Занятый „духовными поисками”, к концу жизни он не нашел ничего, кроме горстки банальностей, — вариант раннего христианства, не более того», — становится неловко. «Вариант раннего христианства, не более того» — это вовсе не «горстка банальностей» по определению. Впрочем, Татьяна Толстая не столько идейный враг позднего Льва Толстого (хотя и это есть), сколько враг — синтаксический. Она на редкость красиво и вычурно пишет, и эта изысканность, вычурность, синтаксические барочные конструкции в сочетании с хорошо темперированной (как клавиры Баха) злостью создает, надо признать, сильный художественный эффект. Как там у Жванецкого? «Бледнеть некому-с. Хрупкая скрипачка так врезала между ртом и глазом матросу-сантехнику, что тот пожух, скуксился и свалился в сугроб». Поразительный литературный да и социальный феномен. Представьте себе набоковско-го Лужина, который для ограждения своего «волшебного планетариума мысли» способен так отбрызнуть жлоба, что тот пожухнет, скуксится... ну и так далее. Это и есть Татьяна Толстая фельетонов и эссе. Она настоящий представитель европейского среднего класса — такого, каким он вылепился в России. Цинциннат Ц. с житейской хваткой персонажа Зошенко или Жванецкого — вот подходящий для Татьяны Толстой оксюморон. Иногда это сочетание — прижимистой дамы, вышедшей из... непростого, хоть и столичного, но советского быта, с Цинциннатом Ц. — не только не раздражает, но оказывается трогательным, сентиментальным, как в очерке «Смотри на обороте». Я бы даже рискнул назвать этот очерк новеллой. (Новелла — короткое повествование о необычном происшествии — гётевскому определению вполне соответствует «Смотри на обороте».) Этот очерк напомнил мне прекрасный рассказ Акутагавы «Мандарины». Ничего не поделаешь: мне нравится «человеческое, слишком человеческое».

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

I. LA NOTTE DELLA CHIESA RUSSA. Ed. Qiqaiion comunita di Bose, 2001, 324 p. НОЧЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.

Монашеская экуменическая община, основанная в 1965 году в Бозе (недалеко от Турина), уделяет большое внимание русской религиозной мысли и жизни Русской Православной Церкви. Значительное место в издательской деятельности общины занимают переводы трудов С. Булгакова, П. Флоренского, П. Евдокимова, Н. Арсеньева и других, а также материалы посвященных России встреч и конференций, периодически устраиваемых общиной. Таковы недавно выпущенные сборники «Осень Святой Руси» и «Ночь русской церкви». В последнюю вошли доклады, прочитанные на Международном экуменическом симпозиуме, организованном в Бозе на тему «Русская Православная Церковь с 1943 до наших дней».

Содержание этой объемистой книги делится на три тематических части. Первая, наиболее обширная, посвящена недавнему прошлому. Это история «исключительного, страшного и кровавого» религиозного и церковного опыта, опыта «физических мучений... и духовных страданий» (Кирилл, Митрополит Смоленский и Калининградский), через который прошло русское православие в годы советской власти. Исследования Д. В. Поспеловского «Сталин и церковь. Соглашение 1943 г. и жизнь Русской Православной Церкви в свете архивных документов», С. И. Фирсова «Хрущевские репрессии против религии и православия в СССР. Идеологические и нравственные вопросы» и Витторио Пери «Гражданское общество и церковь на Украине (1939 — 1955)» дают обзор исторических судеб православной церкви на территории СССР за полстолетия. Эти статьи с их убедительной аргументацией и привлечением до недавнего времени недоступных архивных документов представляют немалый интерес для не слишком осведомленных зарубежных читателей. В особенности это касается репрессий, которым подвергались вера и церковь во времена Хрущева, часто воспринимаемого на Западе лишь в качестве разоблачителя культа Сталина и тем самым в каком-то смысле либерала.

Историческая перспектива дополняется статьей Христоса Яннараса «Роль русской диаспоры в формировании современного православного богословского сознания», которая перебрасывает мост ко второй группе публикаций, посвященных вопросам богословия: «Церковь и Святой Дух в русском богословии XX века» отца Бориса Бобринского и «Русское богословие на пороге третьего тысячелетия. Возрождаются ли богословские поиски в России?» игумена Иллариона Алфеева.

Общая тональность статьи Яннараса — горячее отношение к русской диаспоре как к «удивительному явлению». А именно, она сумела понять новую историческую действительность и включиться в нее; начать диалог с католической церковью; благодаря трудам С. Булгакова, В. Лосского, И. Мейендорфа, Н. Афанасьева и других поднять богословские искания на очень высокий уровень. Центральная проблема, к которой обращаются эти авторы, — Евхаристия, здесь вклад богословов русской диаспоры был особенно глубоким.

К третьей группе относятся статьи общекультурного характера. Упомянем, в первых, статью Н. Каухчишвили, посвященную проблеме соборности. Автор рассматривает сам термин в его лингвистическом значении, соотнося затем применительно к русской культуре понятие соборности с понятием пространства, простора.

Думается, особый интерес и эстетическое удовольствие вызовут у читателя страницы, написанные С. С. Аверинцевым, «Поиски Бога и возвращение в Церковь. Советская интеллигенция и религиозный вопрос». Это свободное по форме размышление с вкраплением личных воспоминаний об отношении советской интеллигенции в 70 — 80-х годах к религии и церкви и о современной ее эволюции.

К сожалению, эти интересные мнения и суждения, этот живой диалог Запада и Востока о ситуации православия в XX веке вряд ли станет доступен русской читающей публике. А стоило бы ее с ним познакомить.

II. SLAVICA TERGESTINA. Trieste, 2001, 982 p. (8).

Новый тематический сборник «Художественный текст и его геокультурные стратификации» из серии «Славика терджестина» (вып. 8-й) включает доклады, прочитанные на двух научных конференциях, организованных Университетом Бергамо. Первая из них (1996) была посвящена теме «Художественный текст и соседние культурные ряды», вторая (1998) обсуждала вопрос «Литература и культурные стратификации». Кроме русистов из разных университетов Италии в них приняли участие ученые из России и Хорватии.

Предисловие к сборнику Вяч. Вс. Иванова не случайно носит название «Текст и культурно-географический контекст». Этому обозначению тематического круга соответствует, например, статья самого Вяч. Вс. Иванова «Москва Пастернака» или статья Александра Флакера «Освоение пространства поездом (заметки о железнодорожной прозе Пастернака)». Общее же методологическое направление определяется частыми ссылками на М. Бахтина и Ю. Лотмана.

В первом разделе рассматривается соотношение поэтических текстов с изобразительным искусством. Одни исследователи обращаются к писателям, уделявшим большое внимание рисунку, рисованию, — А. Ремизову («Письмо и рисунок: альбомы А. М. Ремизова», доклад А. д'Амелиа) или Андрею Белому; другие идут от живописи к литературе. Так, статья М. Бэмиг «Слово и образ, или Последний день Помпеи в зеркале художественной литературы» дает обзор откликов — в особенности поэтов, среди которых Пушкин, — на известную картину Брюллова. Статья С. Бурины «Типология натюрморта в литературе (на материале XX века)» выдержана скорее в теоретическом плане. Интересные соображения, касающиеся поэтики футуризма и его отдельных фигур, содержит доклад М. Л. Гаспарова «Люди в пейзаже Бенедикта Лившица: поэтика анаколужа». Своеобразен подход Катарины Грацияеи в статье «Анжамбеман как фигура (битва в представлении А. Альтдорфера¹ и И. Бродского)». Ее сопоставительный ракурс, хоть и ограниченный двумя личностями, но широко открытый во времени, приводит читателя к заключению, что фигура анжамбемана подлежит расширенной интерпретации, поскольку может выражать (в особенности у таких поэтов, как М. Цветаева и И. Бродский) сочетание временного и пространственного начал.

Второй раздел, «Литературный текст и геокультурные стратификации», отличается широтой географического охвата: из традиционных рамок Петербурга (Г. Цивьян, «Интерьер петербургского пространства в „Пиковой даме“») и Москвы перемещаемся в Сибирь (Р. Платоне, «Литературные Сибири»), в Прибалтику (А. Белоусов, «Динабург — Двинск — Даугавпилс в русской литературе»), Заволжье (Р. Казари, «Диалогия Мельникова-Печерского»). О сопряжении «географии с историей» говорит историко-семиотическое прочтение Т. Николаевой пространства в «Слове о полку Игореве». На стыке с тематикой первого раздела находится доклад М. К. Пезенти «Функция пейзажа в духовных листах», интересный по специфической теме, не часто привлекающей внимание исследователей, и ценный точным анализом этой разновидности лубочного жанра, близкой к иконе и в то же время отличной от нее.

Дж. П. Пиретто, исследуя пересечение географического и литературно-исторического планов в советском кино и живописи первых послевоенных лет, приходит к развенчанию «сталинской утопии» о Кубани как о крае изобилия.

III. CRITIQUE. MOSCOU-2001. ODYSSEE DE LA RUSSIE. Janhier-Fevrier, 2001.

Москва — 2001. ОДИССЕЯ РОССИИ.

Тематические номера — не новинка в практике журнала «Critique». Важно, однако же, уточнение, с которого открывается вступительная статья: «Этот номер ставит перед собой цель дать картину сегодняшнего русского мира, увиденную одновременно и изнутри, и извне», и таким образом показать «действительность

¹ Немецкий живописец и график эпохи Возрождения.

этой страны, движущуюся, изменяющуюся, многостороннюю, но в то же время достойную нашего внимания и нашей любознательности». Действительность, которую нельзя «свести к единому знаменателю, будь то добра или зла, даже если большой соблазн в этом отношении существует».

Так, с самого начала определяется полемическая тональность номера, направленного против некоторых установившихся клише, таких, как «переходный период» (от социализма к парламентской демократии, к рыночной экономике) или «уникальность» России, не допускающая общепринятых критериев и мерок.

Монографический по своему характеру номер не ограничивается вопросами культуры, которые находятся, естественно, в центре его внимания, но дает обзор современной жизни в Москве и, шире, в России, охватывая и вопросы политики (например, статьи Ютты Шеррер «Политические выступления и белые пятна истории» или Ю. Левады «Президент Путин перед общественным мнением»), экономики (Кирилл Скрипкин, «Русские экономисты в стране чудес: картина теоретического кризиса») или архитектуры (Д. Швидковский, «Вперед к прошлому: архитектура Москвы»).

Большинство статей посвящено культурному миру сегодняшней Москвы: театру, литературе, искусству. К сожалению, отсутствует поэзия и музыка, столь интересные в их нынешних своеобразных проявлениях.

Состав авторов определен основной установкой — взглядом «изнутри и извне». Среди них французы (известная исследовательница русской культуры начала века Ютта Шеррер и театральная критик Мари-Кристин Отан-Матье), «русские французы» (В. Берелович и А. Берелович) и литературоведы, критики, искусствоведы из России (Елена Гальцова, Александр Гаврилов, В. Мильчина, Ольга Медведкова, Н. Автономова, И. Попова и другие). Материалы не однообразны, и взятый в целом номер журнала нельзя упрекнуть в монотонности. Наряду с традиционным типом литературоведческих, литературно-критических или культуроведческих статей следует отметить чисто полемические выступления: их авторы ведут спор с некоторыми российскими публикациями, частично известными и во французских переводах. (Так, анализируя причины современного кризиса экономической теории в России, К. Скрипкин опирается на последние работы Е. Гайдара и Роя Медведева и ведет с ними живой научный диспут, оспаривая многие из их положений и прогнозов и указывая на слабые стороны их теоретических конструкций.)

Другими словами, «Москва-2001» не только предлагает информацию о современной русской культуре, хотя и этот аспект не лишен значения, принимая во внимание посредничество французского языка, но и демонстрирует критический подход, приводя к заключениям, далеко не всегда оптимистичным, — в духе современной оппозиционной интеллигенции. Вот вывод из статьи «Встреча культуры и денег» (автор А. Берелович). «Культура и в особенности литература потеряли центральное место, которое они занимали в Советском Союзе, и переместились на периферию. Кое-кто в России видит в этом плату за модернизацию, благодаря которой Россия сможет стать в конце концов „нормальной“ страной с „нормальной“ культурой. Другие считают это катастрофой, от которой погибнет и русская культура, и русская духовность. Так или иначе, судя по проведенным опросам, общественное мнение не очень озабочено кризисом культуры, нравов и нравственности».

Статья «Пир против чумы» (постперестроечный театр в Москве) Мари-Кристин Отан-Матье подтверждает эти слова. Автор отлично знает московскую театральную жизнь и сложные отношения, существующие внутри этого мира. Она рисует яркие портреты режиссеров (например, П. Фоменко), актеров, драматургов, метко диагностирует характерные для нынешнего времени перемены в работе театров. Возникает картина, которой нельзя отказать в убедительности и которая естественным образом подготавливает читателя к словам, звучащим в заключение: «В Москве более, чем где-либо в России, театр, разветвляясь, потерял свою цель противостояния власти. Он больше не является кузницей, где куют лучшее общество, не является пробиркой, в которой создается новый человек, ни местом сопротивления, ни убежищем. Уставший от утопий, расшатанный социальными потрясениями конца века, он должен согласиться на скромную роль наследника и

передатчика традиций. Надо свыкнуться с мыслью, что театр не может быть больше ничем другим, нежели театром».

Кризисная ситуация, переживаемая сегодня русской культурой, не исключает, однако, сюрпризов, например, такой «парадоксальной» ситуации, как «полное обновление романа». «Даже если романы и не приносят больших доходов, их покупают и читают многие», — утверждает Е. Гальцова в своей статье «Новый русский роман». Ее внимание обращено на современных писателей (отдельные книги которых были переведены на французский), представляющих, по мнению критика, наиболее интересные направления в современной русской прозе. Одно из них, широко известное и за границей, автор связывает с творчеством Пелевина и Сорокина, «находящихся в зените славы». Е. Гальцова отдает предпочтение романам Пелевина, поскольку их легче читать, их «фантастичность» напоминает приемы братьев Стругацких, и в конце концов, нетрудно расшифровать в их горячей критике общественных порядков намеки на минувшую советскую и нынешнюю действительность. Напротив, аллегорический смысл романа «Голубое сало» Сорокина настолько, на взгляд автора статьи, зашифрован, что не поддается никакой идеологической интерпретации, — так что «мастер провокации Сорокин — писатель бесполезный». Е. Гальцова обращает внимание и на другие романы, причисляемые ею к постмодернизму (П. Крусанова, В. Залотухи, В. Рыбакова, Н. Кононова). Одновременно отмечается некое возвращение интереса к «неумершему реализму». Впрочем, ссылаясь на «Закрытую книгу» А. Дмитриева, Е. Гальцова считает такую прозу скорее «миметической», чем традиционно реалистической, ставя в тот же ряд романы «Первое второе пришествие» и «День денег» А. Слаповского, причем и его, и Ольгу Славникову она упрекает в равнодушии к опыту экспериментальной литературы.

Любопытный «спор» ведет А. Гаврилов с А. Марининой о правдоподобию и неправдоподобию ее романов, об их общественном значении и назначении (статья «Новый русский призрак А. Маринина»).

Последний раздел журнала посвящен литературной критике. Обзор В. Мильчиной охватывает обширный период времени начиная со ссылок на Белинского и на положение в русской критике XIX века и до наших дней. В центре ее статьи — обсуждение особенностей критических выступлений в газетах «Сегодня» и «Независимая газета» и в «Новом литературном обозрении», которые получают высокую оценку. Однако статья не выходит за рамки общих и беглых наблюдений.

Самая интересная часть последнего раздела, хотя она не обращена к «московской теме», — это два как бы параллельных материала «Наследие Лотмана» (автор Н. Автономова) и «Второе возвращение Бахтина» (автор И. Попова). В обоих случаях на основе сравнительно недавних публикаций современные авторы вступают в диалог со своими известными предшественниками. Пафос статьи Н. Автономовой направлен на освещение главной цели творческой работы Лотмана — его страстного желания утвердить изучение литературы как подлинно научную профессиональную деятельность. Статья И. Поповой воспринимается в первую очередь как выступление «в защиту Бахтина» против оспаривающих его роль критиков (М. Гаспарова и другие). Эта задача потребовала от автора дать обзор всего творческого пути Бахтина с оценкой важнейших его трудов. Работы последних лет о Бахтине приводят И. Попову к заключению, что в наши дни существует благоприятный научный климат для объективной оценки деятельности ученого и, следовательно, «страница Бахтина еще не перевернута».

IV. ROSANNA CASARI, SILVIA BURINI. L'altra Mosca. Bergamo, 2001, 317 p. РОЗАННА КАЗАРИ, СИЛЬВИЯ БУРИНИ. Другая Москва.

Подзаголовок книги — «Искусство и литература в русской культуре XIX — XX вв.» — указывает на ее хронологические рамки, внутри которых Р. Казари занимается преимущественно XIX столетием, а С. Бурины — первым послереволюционным периодом, точнее — двадцатыми годами XX века. Два исследования объединены обращением к «московскому тексту», а также общностью методологии, близкой к школе Лотмана. В предисловии Джан Пьетро Пиретто замечает:

«Москва настолько калейдоскопична, что ее нельзя понять, прочесть и интерпретировать, не зная ее прошлого, ее истории, ее мифа». Эта калейдоскопичность предполагает разные варианты «московского текста». Однако «текст», с которым соотнесена «другая Москва» (заявленная в заглавии), не обозначается, а лишь предполагается контекстом или даже подтекстом. Определяющие черты «московского текста» даются автором через традиционное противопоставление Москва — Петербург. Это противопоставление, присутствующее в подтексте при анализе идеологом «Москва — Третий Рим», «Москва — Новый Иерусалим» (раздел «Места и символы»), в разделе «Кремль, Петропавловская крепость и Медный всадник» становится центральным и определяющим дальнейшее рассмотрение проблемы «другая Москва». При этом Р. Казари замечает и некоторую относительность этого противопоставления: даже если Петербург «по сравнению с Москвой является абсолютно новым типом города», его урбанистическую планировку «нельзя считать полностью оторванной от московской действительности».

Раздел «Новые литературные топографии» посвящен Москве середины XIX века, в первую очередь такой малоразработанной в итальянской русистике теме, как жизнь купечества и интеллектуальный «текст» Замоскворечья (молодая редакция «Москвитянина», встречи в кафе Печкина актеров, художников, певцов). В центре здесь стоит личность Аполлона Григорьева и его воспоминания «Мои литературные и нравственные скитальчества». Этот раздел заканчивается достаточно неожиданно — рассмотрением московских мотивов в романах Достоевского «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы».

Последний, сравнительно краткий, раздел «Москва перевернутая» посвящен Москве бедноты, нищих, босяков, которую открыл еще Левитов и чей образ запечатлен Толстым, Горьким, Гиляровским. Здесь преобладают социологический анализ и урбанистический комментарий. К сожалению, автор уделяет мало внимания литературным текстам, так, пьеса Горького «На дне» удостоилась лишь беглого упоминания; драма Толстого «Живой труп» рассматривается более обстоятельно, но другое его известное произведение, «Так что же нам делать?», не привлекло внимания исследовательницы.

Вторая часть книги, озаглавленная ее автором, С. Бурины, «Слова и образ», имеет подзаголовок «Поэты, художники и литературные кафе в Москве XX века». «Суживая поле зрения, — предупреждает исследовательница, — мы направим все наше внимание на особый момент в жизни Москвы: это так называемая эпоха кафе в русской литературе, начало 20-х гг. двадцатого века, период полного господства богемы». Образ «другой Москвы» здесь ясно очерчен. Путь, избранный С. Бурины, определен ею как «междисциплинарный, межпредметный», и цель, преследуемая ею, — найти «общие черты между поэзией, живописью, театром и кино и тем самым обрисовать некое сверхиндивидуальное лицо».

Первая глава ее работы — «Московская богема двадцатых годов» — открывается разделом «Русский имажинизм». И все дальнейшее исследование, за исключением небольшого заключительного раздела «Время кафе и кабаре в русской литературе», фактически является историей этой литературной группы. Указывая на недооцененность значения имажинистов в литературном процессе, С. Бурины явно ставит своей целью восполнить этот пробел литературоведения. Благодаря широкому привлечению источников ей удастся показать общую картину развития этой группы накануне революции и в особенности в первые послереволюционные годы, охарактеризовать принципы поэтической платформы русских имажинистов и роль Есенина, Мариенгофа, Шершеневича (что сопровождается довольно подробными биографическими очерками). Согласно вышеуказанной методике, в круг обсуждаемых проблем вовлекается живопись, внимание Бурины обращено на творчество Г. Якулова.

Сопоставление русского имажинизма с родственными западными группами и тенденциями (в особенности с английскими) приводит к выяснению некоторых отличительных черт первого (например, тяготение к стихотворным произведениям «большого» жанра). Наряду с этим С. Бурины выдвигает идею о барочном характере поэтических произведений русских имажинистов. Эту мысль она аргументирует, ссылаясь на такие приемы, как монтаж, риторика жеста и быта, театральность. Однако данные признаки присущи не только и не столько имажинизму, сколько

вообще произведениям авангарда, что, между прочим, признает сам автор. Добавим, что элементы барокко встречались у ряда русских писателей еще до революции (у Л. Андреева, например), а в 20-е годы барочное видение в творчестве писателей, близких к экспрессионизму (Андрей Белый или Пильняк), проявляется сильнее, нежели у Есенина или Мариенгофа; что касается «жизнетворчества», то оно утверждалось еще символистами в 1900-е годы.

Увлеченность трактуемой проблемой делает работу С. Бурины живой и темпераментной. Однако эта захваченность, как нередко бывает, приводит к абсолютизации предмета увлечения. Имажинисты выступают в исследовании как явление глобальное, подчиняющее себе весь пейзаж литературы 20-х годов, господствующее в литературном процессе, что вряд ли соответствует действительности. В сложной и пестрой литературной атмосфере тех лет имажинизм жил в зоне полемик и конфронтаций (с футуристами, экспрессионистами), он боролся за первостепенную роль, но ему не раз приходилось умерять свои амбиции. Так или иначе, нельзя определить место имажинизма, не учитывая литературной среды, в которой он утверждался, тем более, что он не изолировал себя от нее, а, напротив, постоянно соотносил себя с нею. Да и трагизм судьбы Есенина можно понять именно в контексте литературного процесса 20-х годов.

В самостоятельную монографию разрастаются страницы, посвященные художнику Якулову. Тем самым работа С. Бурины распадается на два независимых исследования, хотя и связанных избранной эпохой и темой «московского текста».

Обе части книги содержат богатую библиографию; интересен также иллюстративный материал.

Татьяна НИКОЛЕСКУ.

Милан.

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Чуть свет — и я у Алексея. Алексей — киновед, между делом хвастается новой видеокассетой, «Секретом» француженки Вирджинии Вагон. Сохраняю спокойствие, мало ли ловких францушек. Однако всего через пару часов кинодраматург Валентин, которого я посетил по другому поводу, выложил на стол все тот же «Секрет» и настоятельно посоветовал ознакомиться. Еще бы, меня удивила чреватая глумлением настойчивость невидимых сил! Чем агрессивнее они подсовывали мне кусочек секса (целомудренная, но недвусмысленная иллюстрация на коробке) от неизвестной Вирджинии, тем сознательнее я сопротивлялся. «Мало ли француженок!» — на автомате выдал утреннюю заготовку, но протянул руку.

Тут же прикусил язык, вот что меня сломало: «Вирджиния Вагон в творческом содружестве с Эриком Зонка». Это меняет дело, незримые силы знают мои слабые места. «Приз Вирджинии Вагон, Эрику Зонка — „За лучший сценарий“ кинофестиваля в Довилле-2000». Разве в этом дело? Досадно: общечеловечность знает спилбергов, земекисов, черт знает кого, она не хочет знать непроплаченного Зонка. Понял, что буду *это* смотреть. Знал, что *это* мне понравится.

Впрочем, Зонка сделал всего один полнометражный фильм. Кажется, он театральный режиссер и не так чтобы очень молод. «Воображаемая жизнь ангелов» (1998) — одно из главных свершений мирового кино в последние десять лет. Вы знаете такую картину? Кто-нибудь рассказал нашему человеку, что кроме тошнотворного Голливуда эпохи высоких технологий существует маленький гениальный Зонка? С его шедевром, ставшим событием Каннского фестиваля и принесшим двум юным француженкам — общий на двух — приз «За лучшую женскую роль», у меня связано несколько занимательных личных историй. Одну из них, предельно подходящую к случаю, придется вспомнить.

Я посмотрел картину во внеконкурсной программе Московского кинофестиваля 1999 года. Накануне познакомился с очаровательной двадцатилетней девушкой-киноманкой, студенткой-заочницей журфака МГУ. После Зонка мы встретились в буфете Музея кино. «Ты остаешься до конца программы?» — спросил я. Она внимательно поглядела бездонными очами: «Мне далеко добираться. Электричка приходит поздно. Вот если бы я могла доехать на машине... Помнишь, как в фильме парни помогали девушкам?» Нет, я не против, она мне нравилась, отдал все деньги, которые были в карманах. Удивило совсем не то, что девчонка попросила денег у человека, с которым была едва знакома. Дело житейское: хороша собой, избалована успехом. Поразило тотальное несоответствие ее оценки фильма и авторской установки. Поразило нежелание понимать. Мы обменялись мнениями, и я с ужасом обнаружил, что она умудрилась приспособить жесткое, трезвое мировоззрение Эрика Зонка — к своему гедонистскому. Использовала в своих интересах диаметрально противоположную ее собственной идеологию картины!

Помню ли я, как парни помогали девчатам? Я-то помню, как парни спонсировали юных провинциальных девушек и что из этого вышло. Первая выбросилась в окно, на сверкающую неонем огней парижскую мостовую. Вторая, та, что повнимательнее к себе и окружающим, устроилась на швейную фабрику. Чтобы не прикармливать чудовищ. Любопытно, что никто из опрошенных мною зрителей картины не вспомнил через неделю ненавязчивого, но крайне важного трехминутного дописка, того эпизода, где героиня блистательной Элоди Буше, оставив яркое, полное соблазнов и приключений полубогемное существование, затворяет себя в неброском мире пролетарской аскезы. Все они полагали, что лента завершилась мелодраматическими истериками и суицидом; выход из ситуации, предложенный автором, подосознание моих собеседников квалифицировало как абсолютно невозможный вариант и наложило на него табу.

Я надеюсь, что сюжет, который волнует меня сегодня, ненароком и мимоходом расскажет себя сам. Этот сюжет больше меня, больше Эрика Зонка, гораздо больше его скромной совместной работы с Вирджинией Вагон. Приходят в голову другие, даже третьи картины, но и они, достойные или великие, несравненно меньше искомого сюжета. Отдельные, даже совершенно ясные мне вещи не хочу проговаривать до конца. «Секрет» — крайне неудобная картина. Вот почему мы не слышали про нее. Сегодня гамбургский счет совпадает с финансовым отчетом, поэтому «Секрет» не «у ковра», даже не в раздевалке. Подобные почти эзотерические «секреты» друзья передают из рук в руки. В своей «Воображаемой жизни...» Эрик Зонка попробовал остановить бедных провинциальных девушек в двух шагах от рая. Закономерно, что в следующем фильме он разбирается с женщиной в ситуации успеха.

«Секрет» — не самая изобретательная история на троих. Мари, Франсуа, Билл, она изменяет одному с другим, больше ничего. Почти двухчасовая картина — образец драматургической и постановочной точности. При повторном просмотре не остается сомнений: все микроэпизоды, детали, обмолвки, взгляды, движения и монтажные стыки имеют значение, работают на общую идею. В результате заурядный психологический реализм оборачивается высокой метафизикой, занимательный адольтер — всеобъемлющей притчей о современности.

Чуть раньше «Секрета» появилась эпохальная картина Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза», простая, ясная и предельно жестокая, которую понимать не захотели. Так и писали: дескать, Кубрик загадал предсмертную загадку. Между тем Кубрик загадку — разгадал. Он увидел современный западный социум, его институты и его субъектов как анонимных участников, отправляющих — здесь и сейчас, вчера и сегодня, всегда — грандиозный культ сомнительного характера. Повседневность секуляризованного общества предстала мистическим карнавалом, где причудливо сочетаются беспечность, небрежность и чьи-то далеко идущие намерения, где легкомысленный флирт оборачивается сделкой о душе, а вроде бы случайная смерть — недвусмысленным жертвоприношением.

Впрочем, Кубрик излишне стилизует, он и сам изрядно мистифицирован голливудской мифологией, отчего зло предстает — барочным, в пышных нарядах, декоративным и чуть менее очевидным, чем хотелось бы видеть. «Секрет», картина, куда

меньшая по масштабу, куда менее амбициозная, кажется, однако, необходимым дополнением к американскому шедевру. «Секрет» — воплощенная французская традиция, сочетание социально-психологической достоверности с Просвещенческой методологией, предписывающей расщеплять все естественное, природное скальпелем скептического ума. Словом, здоровый рационализм Вагон и Зонка позволяет очистить сюжет Кубрика от навязчивых мифологем массовой культуры.

Если максимально огрубить «Широко закрытые глаза», получится вот что. Эллис молода и хороша собой, живет в достатке, если не роскоши, с преуспевающим мужем, которому однажды преподносит сюрприз: в деталях рассказывает о своей давней измене. Муж, почитавший супругу за светлого ангела, стремительно сходит с ума (фигурально выражаясь). В меру своей неиспорченности он пускается во все тяжкие: знакомится с проститутками, оказывается на роскошном загородном шабаше, чтобы не сказать оргии, метафорически обозначающей цивилизацию неоязычества, в которой имеет несчастье проживать главный герой. Впрочем, конечно, благоразумный яппи нигде не переступает последней черты, избегая связи с большой СПИДом проституткой, смерти и других неприятностей. Скорее всего, Эллис выдумала измену. Вероятнее всего, проблем больше не существует. Картина завершается благоразумным предложением Эллис — на радостях потрахаться.

Какую реальную проблему артикулирует эта схема? Выясняется, что мир товарного фетишизма, мир комфорта и удовольствия, в котором существуют герои Кубрика, определяется, организуется и контролируется неким смутным, неустойчивым женским началом, персонифицированным в образе Эллис. Ее муж ощущает себя уверенно лишь до того рокового момента, когда случайная, немотивированная прихоть приводит *женское* в состояние плазмы, первовещества, *спонтанного* брожения. С этой вполне, повторюсь, случайной минуты — мир рушится. Кубрик с поразительной настойчивостью, деталь за деталью, воссоздает мир с перевернутой иерархией. Если верно (а это верно, как дважды два), что земной порядок — лишь отражение неосязаемой сакральной реальности, то нетрудно догадаться, что порождающая безответственные фантазмы Эллис получает в этом мире статус верховной жрицы и даже богини. Едва богиня дает отмашку, как деградировавший по сути, хотя и вполне устроенный в социальном смысле мужчина попадает в сложное, мягко говоря, положение. Уже не удивляет то обстоятельство, что предельно резкий и откровенный выпад Кубрика был мастерски дезавуирован. Картину подверстали к жанру пикантной комедии, а отсутствие игривой легкости вывели из старческой слабости классика.

А вот что происходит в фильме «Секрет». Франсуа и Мари женаты двенадцать лет, у них двухлетний ребенок и полный достаток. Забавно, что Мари работает агентом по распространению многотомной «Энциклопедии знаний». Она не выносит офисную рутину, ей гораздо интереснее ходить на дом к потенциальным клиентам и разъяснять преимущества нового, всеобъемлющего издания. «Пять тысяч статей! Двадцать тысяч иллюстраций!! А вы знаете, сколько всего было Пап? 266! А самый первый Папа? Нет, не Пий, я тоже так думала. Первым был святой Петр... Смотрите, ваша Меланй каждый день будет находить в энциклопедии ответы на свои вопросы. В ее маленькой головке уже вертятся разные мысли...»

Вот-вот, в очаровательной головке Мари тоже вертятся разные мысли, соображения, прихоти и желания. Вагон и Зонка — и в этом проявляются мастерство и высочайшая культура их киноповествования — рассказывают историю на языке визуальных образов, используя звучащее слово как вспомогательную антропологическую характеристику персонажа. Конечно, диалоги сообщают зрителю бездну информации, именно на диалоги придется опираться в этом моем пересказе, однако суть происходящего транслируется в первую очередь посредством изображения. Внимательный зритель, решившийся разгадать «Секрет» при выключенном звуке, несомненно считал бы с экрана ключевые идеологемы и авторские интенции, не потеряв ничего существенного. Безукоризненно точно выбраны и соотнесены исполнители всех, даже эпизодических, ролей. Как и положено в настоящем кино, на идею работает не столько их способность «играть по Станиславскому», сколько весь набор антропологических характеристик, социальное происхождение, жизненный опыт и темперамент, запечатленные в биологическом теле, предьявленном

нашему глазу и — соответственно — нашему жизненному и психологическому опыту. После «Секрета» и ему подобных «скромных» свершений иностранного кинематографа, которых в России не замечают по причине тупой и самодовольной глупости, хочется объявить современное отечественное кино зоной национального бедствия и присвоить ему, почти без изъятий, статус национального позора.

Наши кинодраматурги, чье сознание ориентировано сугубо литературным образом, не понимают специфики киноповествования. Наши нынешние киногерои не имеют биологических тел, сопутствующих их индивидуальной истории, физиологических проблем, комплексов, моторики и темперамента. Наш герой пробалтывает всего себя через плохо сочиненные реплики. В нашем кино, кроме трех-четырех исключений, *ничего смотреть*. Напротив, реплики Мари и ее партнеров организованы по принципу дополнительности: основную информацию мы считываем с невербального носителя. То, что Мари говорит, помогает ее понять, но ни в коем случае не исчерпывает. Работают даже пробивающиеся из-под голоса переводчика междометия, изменения интонации, модуляции неподражаемо артикулированной французской речи.

Итак, о подлинных желаниях Мари мы узнаем не сразу, а когда узнаем, то это не будет вся правда. Зато в самом начале картины сама Мари с чувством расскажет о том, чего она по-настоящему не желает. Потом она повторит эту мысль еще и еще раз, так что зрителю не придется сомневаться. «Когда заведете второго, Мари?» — «Я не знаю... Франсуа хочет ребенка, но мне хватает и одного. Мне хорошо».

А вы думаете, Франсуа сильно страдает? Ему предлагают работу в Америке, он брезгливо морщится: «Я не поеду. Там вовсе не такой рай, как показывают. Мне и здесь хорошо!» Франсуа хочет ребенка как-то уж очень лениво. И жену Мари — хочет лениво. Что поделывать, двенадцать лет сытого, беспроблемного брака! Мари приходится фантазировать: вот она снимает с себя трусики в автомобиле, прямо во время движения. Муж приятно удивлен. Впрочем, получается, что снова он ничего не решает, секс на обочине дороги — не его инициатива.

Это важно: Мари явно не удовлетворена ситуацией, но сама до конца не понимает причин неудовольствия. Пытается поговорить с мужем и разобраться. «Помнишь, как мы познакомились? Как ты выбрал меня? И с тех пор мы вместе! Не успела я решить, чего мне хочется, как ты уже выразил свои желания... Ты всегда опережаешь меня!» Он согласен на уступки (впрочем, разве в этом мире он что-нибудь решает?!): «Но я готов следовать за тобой...»

Мари демонстрирует звериную интуицию, она мастерски сводит все метафизические проблемы к одной, конкретной, земной, давно обсуждаемой. Виртуозная, хотя и очевидная редукция: «У меня такое чувство, что второй ребенок окончательно определит мою жизнь, не даст ей измениться. Все окончательно определится...» — «Но сейчас твоя жизнь тебя устраивает?» — «Угу, но чего-то не хватает!» — «Или тебе нужен мужчина, который не знает, чего он хочет? Который не будет сводить тебя с ума? У которого не будет желаний?»

Да, да, да, ее выбор именно в этом. После непродолжительных колебаний Мари отдается громадному афроамериканскому негру по имени Билл Вест! Сознательно нагромождая тавтологии, чтобы подчеркнуть его гипертрофированную инаковость, его нездешность, чуждость и отрешенность от уютного потребительского рая главных героев. Билл Вест — нечеловечески спокоен, силен, пластичен (позже выяснится — хореограф), обаятелен, наблюдателен, язвителен, по-французски почти не говорит, сбежал из тоскливого Нью-Йорка в богатый парижский дом своего друга Джерри Стэнли, за которого Мари первоначально его приняла.

«Я ничем здесь не занимаюсь. Абсолютно. Я пью французское вино, сидя в кресле. Почти всегда голый». — «Вам не скучно?» — «Чуть-чуть. Я заставил себя покинуть себя самого и быть неподвижным, как камень». — «Значит, это ваше убежище?» — «Да». Мари заинтригована, вот существо, которое ее не ищет, которому она не нужна. Которое не любит ее и не полюбит никогда. Неподвижный, как камень. Покинувший себя, уже не мужчина, почти не человек...

Вдобавок существо ведет себя хотя и корректно, но жестко и не жалеет сарказмов в адрес незнакомой дамы, предлагающей вселенское Знание по сходной цене: «Ну, симпатичная француженка, такая стильная. Твердит заученную речь: бла-бла-

бла. Как заводная кукла. Вы это заучили наизусть или просто повторяли, повторяли и повторяли?» — «Да, но это вступление. Потом я импровизирую. Немного. Чуть-чуть...» Мысленно аплодируя авторам сценария, хочу еще раз заметить: в первую очередь диалог ведут биологические тела и сопряженный с ними, намертво впечатанный в них индивидуальный психологический опыт каждого из собеседников! Чтобы понять и оценить всю гамму оттенков и смыслов, подразумеваемых и даже не учтенных авторами, нужно увидеть жесты, пластику, мимику, реакции, затем вслушаться в интонации голоса и только в последнюю очередь — расшифровать вербальную составляющую этого и всех последующих диалогов картины.

Что, кроме прочего, восхищает меня в драматургическом решении Вирджинии и Эрика? Восхищает здоровая, дерзкая грубость, чуждая аристократической традиции искусства психологического реализма, по преимуществу литературного происхождения, исповедующего нюансы, полутона и затейливые мотивировки. Важно не забывать о генезисе кино, которое навсегда останется искусством Бульваров, достоянием площади и толпы. Кино — явление масскульта даже тогда, когда отдельным кинопроизведениям удастся весьма успешно притвориться интеллектуальным товаром. Что же касается невнимания современной толпы к неброским, но умным произведениям экранного искусства, то это, хочу подчеркнуть, говорит лишь об уровне и запросах *современной толпы*, но никак не отменяет саму идею массы как достойного и благородного заказчика. В конечном счете подлинный Голливуд, Голливуд своей лучшей, золотой поры — 30 — 50-х годов, — сполна реализуя социальный заказ современников, поставлял на внутренний и мировой рынки десятки, сотни безукоризненных шедевров, одновременно умных, тонких, демократичных, пронизательных и отнюдь не комплиментарных по отношению к социальным недостаткам и моральным изъянам собственного общества. В этом может убедиться всякий непредвзятый любитель кино, рискнувший подробнее ознакомиться с голливудской классикой. Замечу, это начисто отбивает интерес к современному американскому мифотворчеству.

Впрочем, два слова о грубости. Выбор на роль случайного (скажем, максимально случайного!) любовника — нечеловечески большого (хотя — ловкого и пластичного) афроамериканца с предельно низким, гудящим, сотрясающим стены тембром голоса — это и есть здоровая кинематографическая грубость на грани шаржа, анекдота, гротеска. Именно так работает настоящее кино: в литературе такой ход всегда опасен и чреват (нужны дополнительные обоснования), а в кино шарж и гротеск нейтрализуются буквализмом, натурализмом, заведомой достоверностью киноизображения.

Едва Билл Вест появился, едва стало ясно, что через пару эпизодов Мари без остатка отдастся этой бессмысленной, этой убийственной свободе, я вспомнил поразившую меня запись из дневника Василия Розанова, по сути предвосхитившего картину Вагон и Зонка 85 лет назад. Розанов раньше многих других понял, *какая* эпоха наступит в недалеком будущем. Розанов написал синопсис, заявку на будущий французский сценарий во времена, когда кино едва родилось и огляделось.

«Моя мысль простирается до дерзости сказать, что целомудреннейшие и чистейшие женщины таят под наружным покровом ледяного спокойствия, формы и величия — инстинкт к „абсолютной простоте“ в этом отношении, инстинкт „пережить минутку“, когда все дозволено, и — „со всеми“, с множеством, ей-ей — со слоном, с тигром, а уж с *minimum* — с чухонцем, корявою дрянью, с рабом, негром, слугою. „Чем ближе к животному — тем лучше“...»

В сатурналиях было подчеркнуто и „обведено рамкою“: что всякий огонь на земле и всякая искра жизни происходит вот „из того“, что „мы здесь делаем под землю“...

„Я строга. Целомудренна и прекрасна. Но одну неделю в году я хочу, чтобы меня никто не видел: и я пойду в ней по улицам и отдамся всякому, старику, гнилому, *противоположному* мне, мальчишке бездомному, нищему... лучше бы негру, лучше бы всего слону: и пусть он войдет в меня, огромный и чудовищный, невиданный и неслышанный, и разорвет меня, *раздерет*: и я с ах! ах! ах! умираю!!! умру, чтобы воскреснуть „в третий день по Писанию“ и вообще „в жизнь Вечную“, „где ангелы... Где боги. И я буду ангелом и богом“...

„Пусть *все* придут и пьют мои груди. И все придут и войдут в СОКРОВЕННАЯ меня... Под землю, где не видно. Но все, именно все. О, я хочу быть океаном и напоить всю землю”.

„И пусть пьет мое молоко козел”.

„И пусть топчет мои груди копытами осел”.

„И пусть пантер совокупляется со мною”.

„Вся” и „для всех”¹.

Я показал пространную цитату из Розанова одной доброй знакомой. От нечеловеческого гнева меня не спас даже накопленный ею культурный багаж. Добрая знакомая моментально стала злой и, кажется, обижается до сих пор. Но мы с тобой, читатель, не будем уподобляться истеричной девице, инстинктивно переводящей на личности отвлеченную и гротескную идеологему. Мы останемся на территории культуры и без труда согласимся с такою постановкой вопроса. Розанов говорит о модели поведения в обществе с перевернутой иерархией. Розанов прав.

Мари выбирает именно «негра», именно «огромного и чудовищного» лишь потому, что он попался ей раньше «слона». «У меня нет доводов, есть желания...» Билл Вест раздирает ее кожу до крови, после актов с ним на теле Мари остаются засосы, синяки, ожоги — всех цветов радуги. Таинственную, подземную связь больше невозможно скрывать. «Кто это? Вы трахаетесь, как звери, да?» — почти плачет Франсуа, срывая с супруги одежду. Реакция Мари предельно точна: «Франсуа, я тебя предупреждаю, я от этого не откажусь! Ясно?! Ты этого не вынесешь! Не пытайся узнать, кто это! Не важно, кто это, просто не важно...» — «Скажи!» — «Тогда ты будешь думать об этом, и я пропаду!»

Кстати, решающим аргументом в пользу Билла стала для Мари некая афроамериканка, его постоянная сексуальная партнерша, которую Мари случайно увидела в могучих объятиях. Именно это обстоятельство разрушает все социальные запреты и моральные табу: Мари понимает, что с Биллом она станет одной из многих. «Пусть все придут и пьют мои груди... Но все, именно все».

«Я тебя не люблю, я по-прежнему люблю своего мужа! — обращается Мари к Биллу и... снова отдается ему. — Ты просто кот, который упал с крыши в мой сад. Я для тебя никто. Остается только реальный, жгучий секс...»

«Чем этот черный танцор лучше Франсуа?» — недоумевает мать Мари. «Он овладевает мной!» — «Овладевает? Ну и как, как это происходит?» Мари отвечает потрясающим по точности и жестокости взглядом. Впрочем, матушка напрасно убивается: на физическом уровне ничего особенного, секс и секс, черное — белое, перемена позиции, белое — черное и так до бесконечности. По-настоящему он овладевает ею в другом измерении. Вот смыслообразующий монолог Мари, обращенный к Биллу: «В детстве я боялась: Господь решит, что я должна буду родить Ему ребенка или построить собор. Поэтому я молилась: о, прошу Тебя, Господи, в моей школе столько девочек, которые лучше меня, я покажу Тебе их! Я не хотела принадлежать Ему, стать Его служанкой. Я хотела жить своей жизнью, затеряться в толпе. Я хотела, чтобы меня оставили в покое...»

В начале картины, отвечая на восторженный лепет Франсуа, Мари саркастически усмехается: ну да, я такая замечательная, превосходная, настоящая Дева Мария... Это ненавязчивое, данное впроброс авторское указание сообщает вышеприведенному монологу героини неожиданный, жуткий смысл. На рубеже тысячелетий простая французская женщина по имени Мари отказывается рожать со словами: «Господи, только не выбирай меня!» И — отдается обаятельному, пластичному, ленивому животному с далекого континента...

Впрочем, если диагноз, поставленный французами, кажется вам преувеличением (мне не кажется), сопоставления — неуместными, а символика — слишком сильной для банальной адюльтера, я готов понизить градус, предельно упростив формулировки. Скажем, современные белые взрослые женщины блокируют деторождение. Это — раз. Два: они никогда с этим не согласятся, не признаются в этом даже себе. Три — хочется завершить разговор неочевидной, но любопытной ассоциацией.

¹ Розанов В. Собр. соч. Последние листья. [Т. 11]. М., «Республика», 2000, стр. 8 — 9.

Помните, как президент Билл Клинтон разрывался между Моникой и женой? Поверьте, мне плевать на «друга Билла», но даже я знаю про его возлюбленных — всё! Откуда, как просочилось в подкорку? Бог весть! Всё — про двух потрясающих леди. Смотрите, одна была круглой отличницей, симпатюлькой, а у другой на стильном офисном костюмчике навсегда затвердела благородная сперма президента Соединенных Штатов.

А что я знаю про личную жизнь одиозного бен Ладена? Лишь то, что он 48-й или 53-й ребенок своего отца. А что я знаю про его жен и любовниц, которые в мусульманской традиции счастливо совпадают? Ничего. Кажется, рожают.

Мне не жалко недалекого Билла, и я нисколько не сочувствую кровожадному подпольщику Бену, я всего лишь систематизирую информацию. Поверьте, в этих выкладках что-то есть.

Наконец, потрясающая по силе философского обобщения реплика из фильма «Секрет», брошенная взволнованной матерью в адрес своей незадачливой дочери, отправившейся на поиски приключений: «Нельзя начинать свою жизнь с начала, в особенности с черным американским танцором!» Сперва я хотел использовать реплику в качестве эпиграфа, потом здраво рассудил, что никакой, даже самый выдающийся, текст не выдержит сравнения с этим апокалиптическим афоризмом. Признаю свое полное поражение. Разрешаю читателю ненависть, презрение, верхоглядство и легкую форму высокомерия.

CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

САМАЯ НЕСОВРЕМЕННАЯ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ

**Brian Eno & J. Peter Schwalm, «Drawn from Life». Virgin, 2001.
Plaid, «Double Figure», WARP, 2001.
Reich Remixed (без выходных данных).**

В 1920 году советский физик Л. С. Термен изобрел терменвокс — электрическое приспособление для извлечения звуков с определенной высотой, выглядит оно как ящик с антенной. Приоритеты иногда оспариваются, но, по всей видимости, именно терменвокс (сегодня, кстати, на постмодернистской волне гальванизированный и довольно часто являемый публике в концертах) стал первым в истории электромузыкальным инструментом. В последующие шестьдесят лет полным ходом идет «электрическая» модернизация музыкальных орудий: в 1934-м изобретен полновесный электроорган, возникают электрогитары, к концу 70-х вряд ли уже сохраняется инструмент, у которого не было бы своей, пусть чисто экспериментальной, электрической версии. Однако все они пока выполняют довольно традиционную задачу: либо имитируют чисто электрическими средствами звук инструментов «подлинных» — как, например, электроорган; либо определенным образом трансформируют электрические сигналы, возбужденные в звукоснимателе реальными, механическими колебаниями струны, воздушного столба или дека резонатора (в этом отношении патриархи терменвокс и волны Мартено составляют отдельную группу: они действовали по первому принципу, однако же их посредством предполагалось внедрить в музыку новые, оригинальные инструментальные голоса — идея, в целом опередившая время). Разумеется, строятся электромузыкальные инструменты не ради простого усиления звука, а ради возможности в тех или иных пределах изменять тембры — что особенно ярко выявилось в электрогитарах: тут в звучании часто не наблюдалось никакой связи с обычными, акустическими гитарами. Но все же стоило оставить на нуле потенциометры и переключатели темброблоков, педалей, управляющих панелей — и из динамика раздавался скучный, но легко узнаваемый звук-бастард от сочетания акустического первообраза благородных кровей и плебейки — электрической цепи.

Ситуация резко меняется с изобретением инструмента под названием «синтезатор» и с осознанием, что микшерский пульт и многоканальный магнитофон фактически уравнились в «музыкальных правах» со скрипкой, трубой, человеческим голосом и барабаном. Два этих события и порождают в конечном итоге чрезвычайно многообразие, которое называют сегодня «электронной музыкой».

Первые синтезаторы появляются где-то в конце пятидесятых — авторские инструменты, над которыми их создатели трудились по десять — двадцать лет. Они работают на всяких неожиданных принципах и весьма сложны в обращении. Но общая идея синтезатора сразу определена: он уже ничего не имитирует, а как бы осваивает вообще все тембральное пространство, и некий идеальный синтезатор должен быть в состоянии обеспечить на выходе любой звук, сигнал любой конфигурации. В более поздних серийных синтезаторах возобладал конструктивный принцип, который является продолжением и усложнением — с переходом на новый качественный уровень — принципов построения прежних электромузыкальных инструментов: источником первичного сигнала все же остается генератор тона, чистой синусоиды. Существует, однако, и другое техническое решение, и оно, на мой взгляд, точно соответствует идее синтезатора как музыкального инструмента: здесь источник сигнала — генератор равномерного, «белого» шума, из которого синтезатор умеет «вырезать» сигнал требуемой формы.

Создатели первых синтезаторов и в страшном сне не могли увидеть свои творения и их потомство в руках патлатых рокеров. Инструменты строились ради большой музыки будущего, и обыкновенно в музыкальных статьях поблизости от слова «синтезатор» обязательно маячила фамилия Скрябин. Первые опыты электронной музыки осуществляли филармонические модернисты высшей категории: среди них Кшенек, Штокхаузен, Шнитке. Однако ретроспективный взгляд с сорокалетнего удаления позволяет сделать вывод — что-то у композиторов с синтезаторами не заладилось. Может быть, впервые опус-музыка, альтернативу которой семь сотен лет никто и помыслить не мог, забуксовала здесь как таковая, как целый культурный механизм, где исполнителем претворялась в реальный звук абстрактная идея сочинителя. Синтезатор сумел сделать специфически благозвучной сонорику и превратить ее из знака языка музыкальных партитур, сразу отсылающего к неким смыслам за пределами звука, в самодостаточный эстетический объект, который можно воспринимать непосредственно и смысл которого в нем самом. С синтезатором было естественнее не заставлять слушателя разгадывать композиторские загадки, но предложить ему войти в ту или иную звуковую среду. Филармоническим композиторам третьей четверти века такой ход должен был представляться деградацией.

Но к семидесятым годам уже растеклась по сотням русел и направлений — от примитивных до сложнейших — рок-музыка. По двум линиям пошло и развитие синтезаторов. Новых, модернизированных «гигантов» делали еще по образу аппаратов прошлого десятилетия. Существовали они исключительно в специальных студиях, оперативно управлять ими было по-прежнему неудобно. Однако к их достоинствам следует отнести «эксклюзивность» звучания — убедительно повторить его не удалось даже в цифровую эпоху (отечественным слушателям это звучание хорошо знакомо — на синтезаторе такого класса записывал музыку к множеству фильмов, в частности к знаменитому «Сталкеру», Эдуард Артемьев). Вместе с тем появляются и постепенно начинают играть все более заметную роль упрощенные синтезаторы для концертного использования. С этими машинками управляться куда легче, но и возможности их куда ограниченной (к тому же еще нет программирования, а следовательно, быстрой перенастройки), и если музыкант хочет обеспечить себе широкий спектр синтезаторного звука, ему приходится набирать порой десятки разных аппаратов и аппаратиков. В результате часть сцены, где располагался клавишник группы, зачастую напоминала даже не знаю что — диспетчерский пульт АЭС или Центр управления полетами: ящик на ящике, ручки, тумблеры, осциллографы, петли Лиссажу...

Первое чисто электронное инструментальное направление в контексте рок-музыки оформляется в Германии — и немцы оставляют весь мир далеко позади. Клаус Шульце уже давно выпускает одну за другой пластинки масштабных электрон-

ных полотен, а в Англии участники распрогрессивной группы «Пинк Флойд» только еще пробуют крутить туда-сюда ручки синтезатора VCS3 и смотрят, что получится. Немецкие синтезаторщики не представляли однородного течения, и далеко не все из них стремились добиться того звука, который на долгие годы стал считаться для электронной музыки (ЭМ) «фирменным» — благодаря ему все электронное направление журналисты тут же обозвали дурацким термином «космический рок». Но понятно, что именно эти квазикосмические звучания возбуждали публику более всего. Между прочим, главный представитель «космического рока», упомянутый Шульце, никаких космических аллюзий для своих произведений не предполагал, а чаще подразумевал что-нибудь вагнерианское. Шульце любил также рисовать и помещать на конверты своих альбомов своеобразные партитуры — и тем очевиднее становилась их избыточность, превращение «того, что воплощается», в декоративный элемент. Вскоре была замечена и психологическая особенность подобной музыки, благодаря которой она прочно приобрела совсем уже идиллический статус «успокаивающей», «релаксационной» и т. п. — она как будто не будила в сознании слушателя некоторых реакций, свойственных восприятию музыки обычных жанров, как будто свободнее, легче, более прямыми путями текла и без преград достигала бессознательного (в подобных терминах много рассуждали об электронщиках где-нибудь в конце семидесятых). Поговаривали, что спецслужбы и по ту, и по эту сторону «железного занавеса» проплачивали исследования возможности использования ЭМ для программирования сознания — что скорее всего байки. Между тем исполнители разобрались, чего от них ждут, и научились производить ожидаемое с наименьшими усилиями — за десять лет «космическое» электронное направление благополучно выродилось во множущую штампы самопародию. Еще быстрее прошел этот печальный путь дебютировавший в середине семидесятых «французский племянник» немецких электронщиков Жан-Мишель Жарр.

Попытки создать «континуальную», «недискретную» музыку, эдакое перетекание сплошных звуковых пятен, кластеров, в котором трудно вычленишь отдельные звуки, предпринимались в рок-музыке уже с конца шестидесятых — главным образом тоже в кругу немецких рок-авангардистов; с такого рода композиций начинал и будущий «космист» Шульце. Эти вещи обыкновенно представляли собой протяженные звуковые поля с припрятанным ритмом, где медленно всплывали, мерцали, исчезали несколько более определенные звуковые комплексы. Здесь было серьезное отличие от филармонических сочинений, близких по строению и звучанию. Рок-музыканты не требовали от слушателя учитывать при восприятии их кластеров всю долгую и железно логичную историю европейской опус-музыки, удерживать в сознании место данного произведения в музыкальной истории. Пусть даже сами музыканты были достаточно развиты и знали, кто такой Штокхаузен, рок-музыка в целом в опус-музыке корней не имела и, если отсылала к ней, — это всегда смотрелось эксцентрикой. Надеяться на ориентацию слушателя в том контексте, к которому апеллировали филармонические авангардисты, не приходилось. И рок-музыкант, пустившийся в звуковые континуумы, предполагал, что слушатель найдет с этой необычной и непростой музыкой какой-то иной способ коммуникации.

«Звуковым полям» в рок-контексте не хватало самоопределения. Как оказалось, нужно было всего лишь слово произнести, чтобы разом обозначить смысл такой музыки, модус существования и культурную для нее нишу. Но ждать этого слова предстояло почти десять лет.

Англичанин Брайан Ино в начале семидесятых был заметным пузырьком британского рок-кипения. Ни единым музыкальным инструментом он тогда еще не владел, пел плоховато, а в чем, собственно, заключалась его роль в группах, где он участвовал, было довольно трудно объяснить — хотя никто не сомневался, что роль эта существенна и он прямо-таки заряжает все окружение своей креативностью. На дворе стояла еще эпоха, когда было не вполне понятно: как это можно заниматься музыкой, не умея выдать гитарный запил, блюзовый стон или барабанный брейк? Ино приходилось врать, что он играет на гобое, — это в рок-кругах мало кто мог проверить. На самом же деле призванием Ино было переключать провода, и он научился переключать их таким образом, что возникала убедительная музыка. Собственно, едва ли не с Ино ведет начало и такая творческая специальность, как

продюсер. Не тот продюсер, что достает деньги, и не тот, который решает, сколько раз должна повториться в песне фраза «Ты меня покинула». Продюсер «иновского» типа создает звучание — и зачастую даже более важен для популярности и последующей узнаваемости того или иного исполнителя и коллектива, нежели сами музыканты.

Брайан Ино первым из рок-музыкантов догадался вот о чем. Современная нефиармоническая музыка не имеет никакого «внезвукового» существования. Она не живет на бумаге, она, как правило, даже не обдумывается заранее, но создается непосредственно в звукозаписывающей студии или прямо на концерте, а затем уже или сохраняется в записи, или пропадает бесследно. Стало быть, «знаком» возникновения музыки является сам факт записи или концертного исполнения, и любая манипуляция со звуком, любое редактирование уже существующей магнитной ленты методом реж-клей, любое сведение двух звучаний может становиться музыкой.

У самого Ино нашлось достаточно вкуса и таланта не превращать это открытие в удобный лозунг, под которым легко протискивать в новоявленную классику откровенный авангардистский сор — впоследствии, конечно, найдется, кому это проделать. Ино же просто набирается отсюда смелости в поисках новых музыкальных сущностей и новых выразительных средств. Уже в первой половине семидесятых Ино, естественным образом соединившись в этих интересах с немецкими электронными авангардистами, начинает собственные опыты в области ЭМ. В работах Ино заметна «центростремительность» — это спираль, которая скорее закручивается, чем разворачивается. Ему не нужны большие наборы синтезаторов и широкие возможности. Он, собственно, вовсе не синтезаторщик и предпочитает несложные инструменты с достаточно схематическим звучанием, а также внемузыкальные звуки: тихие палочные постукивания, звоны цепочек, лягушачье воркование и т. п. Всякий звук пристально исследуется «на изгиб», претерпевает «близкие» изменения в одну, в другую сторону: прогоняется через разные хитрые электронно-акустические цепи, главным образом такие, что работают с временем (линии задержки и т. п.). Затем все сводится не диктаторски, но с вниманием к собственной жизни звукового материала, причем разные звуки имеют весьма различные уровни, так что некоторые располагаются на пороге слышимости.

То, что получалось в итоге, Ино предпочитал объяснять в пространственных категориях. В конце семидесятых он наконец придумал для своей музыки чрезвычайно удачное обозначение — эмбиент (ambient). В слове сошлись все нужные смыслы: это и «обволакивающая», «омывающая» слушателя музыка и вместе с тем «музыка среды» (недаром первый альбом Брайана Ино, где на обложке появляется новый термин, назывался «Музыка для аэропортов»). Эмбиент, музыка почти исключительно студийная, изначально не предполагает особой, «выделенной» ситуации восприятия — концерта или внимательного, в отвлечении от всех иных занятий, прослушивания пластинки. Зато имеет амбиции стать частью среды человеческого обитания (заметим — чем-то вроде вечно жужжавшей в совучреждении или на кухне радиоточки; и еще заметим: жаль, что радиоточку сменил у нас отнюдь не эмбиент, а тошнотворный поп или, что еще хуже, так называемый «русский шансон», населившие теперь все общественное пространство: транспорт, магазины, поликлиники, даже детские сады; в Европе картина другая). Для самого Брайана Ино эмбиент стал лишь одним из этапов его чрезвычайно насыщенной творческой биографии, хотя он оставляет за собой право к эмбиенту то и дело возвращаться. «Переключатель проводов» оказался куда более тонким, честным и взыскательным к себе творцом, нежели большинство гитарных и клавишных виртуозов-гениев. Ни в одной из стилистик, к которым он обращался и которые зачастую сам изобретал, Ино не задерживался дольше, чем позволял ему запас свежих идей; ему не свойственно — как это обычно происходит в современном искусстве — эксплуатировать собственное громкое имя и бесцельно воспроизводить однажды удачно найденное звучание. Пятидесятилетний музыкант, по-прежнему увлеченный ЭМ, пробился к той непосредственности и глубине высказывания — когда мысль и язык твоего искусства питают друг друга столь естественно, что мастерство, новаторство уже как бы и незаметны, — по которой, собственно, сразу и узнаешь большого художника.

Термин «эмбиент» сделался расхожим. В последующие годы что только под этим названием не проходило: от слащавых синтезаторных «капаний» в духе нью-эйджа до радикально скрежещущих звуковых валов (часто выполненных посредством уже не электронных, а вполне «живых» инструментов) или абстрактных электрических потрескиваний. К примеру, типично эмбиентным звучанием является усердно профанируемое в последнее время утробное рычание-гудение тибетских монахов. Позже более радикальные исполнители сочтут, что слово «эмбиент» уже запачкано коммерческой патокой, а свою непримиримую музыку станут называть «шум». Но эмбиент — не жанр, это тип организации звука, один из самых авторитетных в современной нефилармонической музыке: здесь не предполагается, несмотря на разницу в уровне, смыслового различия «переднего» и «заднего» звуковых планов, хотя бы один из слоев звуковой ткани обязательно непрерывен, континуален (своего рода «органный пункт»), темп чаще всего достаточно медленный, как правило, нет акцентированного ритма, хотя ритм можно и завести внутрь общей звуковой конструкции — тактика как раз Брайана Ино. Вне всякого сомнения, изобретение, а главное, самоопределение эмбиента послужило в среде рок-музыкантов и исполнителей ЭМ мощным толчком для глубокой перестройки музыкального сознания и отношения к музыке и способам ее бытования. В сущности, отсюда и начинается новый, текущий период развития нефилармонической музыки, иногда его называют построковым.

Восьмидесятые годы — время для электронщиков героическое. Время маргинальных поисков, попыток создавать сложные вещи, смыкания с другими музыкальными жанрами, хеппенингом, театром, всякого рода визуальностями. Ряд электронщиков уже не считают себя принадлежащими к рок-среде, а позиционируются как наследники традиций филармонического авангарда. Оформляются «индустриальное» и «техно»-звучания. Не стоит на месте и конструирование инструментов: впредь их развитие будет тесно связано с развитием компьютеров и цифровых технологий. Новое поколение синтезаторов — сэмплеры (от английского sample — образец, шаблон, пример): приборы, способные производить манипуляции с любым звуком, который в них загружен. Сэмплеры могут использоваться для имитации звучания тех или иных инструментов и даже исполнительской манеры известного музыканта — их появление вызвало род паники: боялись, что живые исполнители останутся без работы. С другой стороны, адептов ЭМ более привлекала возможность сэмплировать (записывать, затем переносить в сэмплер) все, что шевелится, и потом кроить свою музыку из самых невиданных звучаний. (Один мой знакомый уже в девяностые обнаружил, что компьютерный сэмплер запросто глотает и как-то по-своему интерпретирует графические файлы — изображение претворялось в звук.) Кроме того, подобно тому, как в нашем CD-обзоре несколько конкретных компакт-дисков запускают мои достаточно общие рассуждения, теперь стало возможно запускать синтезатор и передавать ему управляющие сигналы от гитары, арфы или трубы с тем же успехом, как от привычных черно-белых клавиш или компьютерной клавиатуры. Первоначально за пределами дорогие и доступные лишь крупным студиям, постепенно новые инструменты и компьютерные платы входят в приемлемые ценовые границы и распространяются все шире.

В восьмидесятые еще доигрывает юношеские игры поколение, чьей музыкой были панк-рок, «новая волна» или хэви метал. По инерции сохраняется вера в социальную и культурную значимость рок-музыки. Но тут выросла — никуда не денешься — новая молодежь, и ей был необходим свой собственный культурный идентификатор. Танцевальная музыка, активно использующая синтезаторы прежде всего в басовых и псевдобарабанных линиях, зарождается в Америке во второй половине десятилетия. Однако консервативные американцы усмотрели в ней всего лишь продолжение коммерчески беспроектной и символической для всей американской музыки «негритянской» линии — блюз-соул-фанк... На новые ритмы здесь привычно накладывали все те же традиционные мощные блюзовые попевки, правда, теперь чаще всего заковычивалась единственная фигура, одна фраза. А вот в Британии и Европе к делу подошли совершенно иначе — и новая музыка начала как губка впитывать в себя весь накопившийся за предшествующие годы электронный опыт и как питательная среда сообщать энергию невиданным еще экспериментам. В ЭМ, став-

шей наиболее актуальным типом музыки для нынешних двадцатипяти-тридцатилетних, для тех, кого уже принято называть «компьютерным поколением», произошел культурный взрыв, подобный тому, который случился в шестидесятые с роком. В год-полтора ЭМ разделилась на множество течений, воплотилась по всем линиям как стилевого спектра — от музыки дискотек до экстремистских, «шумовых» стилестик, порвавших не то что с танцевальностью, а иногда и вообще с нормальными типами восприятия, — так и спектра ролевого, социального: здесь есть свои панки и буржуа, философы и придурки, эстеты, трупоеды, лирики, порнографы... Любопытно, что нынешний мировой фашизм — естественно, интеллектуальный фланг его, а не подзаборные скинхеды — стремится выражать себя музыкально именно в продвинутых электронных формах (причем, надо признать, приверженностью фашистским идеям отличаются далеко не худшие музыканты). Связь эта для меня не очевидна и провоцирует на разговор об отсутствии у рок- и пост-рок-культуры языка для самоописания. Но это отдельная тема.

Новые элементы музыкального языка ищут, изобретают, как и положено, революционеры-авангардисты. Однако внятно говорить, используя эти элементы, что-то существенное научаются уже иные люди, мейнстримшики, если смотреть со стороны радикалов, которые этих мейнстримшиков, как правило, презрительно клеймят. Звукозаписывающая фирма (на нынешнем профессиональном жаргоне — «лейбл») «WARP», выпустившая один из альбомов, упомянутых у нас под заголовком, — на сегодняшний день одна из важнейших мировых точек, где продюсируют некоммерческую, но и не экстремальную, по большей части весьма интересную ЭМ. Правда, коллектив под названием «Plaid» — это как раз музыка мягкая и более-менее близкая к музыке развлекательной и релаксационной, ее не поставишь в ряд с такими WARP'овскими «классиками», как «Autechre» или недавно бывший в Москве «Red Snapper», без коих представить себе панораму мировой ЭМ просто не получится.

Трудно сказать, осведомлены ли в массе своей электронщики последнего десятилетия о популярной постмодерной концепции «смерти автора». Однако они оказались единственными деятелями искусства, воплотившими ее в реальную ситуацию. Речь идет о таком понятии, как «ремикс», — это когда один музыкант использует в своем произведении музыкальный материал другого музыканта: напомним, что в нашем случае «музыкальный материал» и «конкретный звук» — вещи нераздельные. Первые ремиксы делали не музыканты, а танцевальные операторы — диск-жокеи, — имея целью приспособление к танцам композиций изначально не танцевальных. Подкладывался, например, соответствующий барабанно-басовый слой. Но с распространением сэмплеров, с возможностью обработки «чужого» звука ремикс очень быстро развился в особую и оригинальную музыкальную технику (более того, уже мало что в ЭМ можно исполнить вовсе без ремиксов — ведь звуки, составляющие сэмплерные библиотеки, тоже кем-то и когда-то были созданы и сыграны в первый раз). Сначала — и довольно долго — одни электронщики делали ремиксы других, и все оставалось замкнуто внутри пространства ЭМ. В последнее время все чаще выходят альбомы с электронными ремиксами джаза, рока и даже сочинений известных современных композиторов. Стив Райх — лучший из минималистов — для ремиксов годится, как никто другой. Его репитативная музыка, состоящая из повторяющихся, медленно меняющихся фигур, дает очень ясный и легко членимый материал, некую опору, вокруг которой электронщики уже лепят свое, выстраивая ремикс, но позаимствованная у Райха фигура все-таки везде удерживается: не исчезает, не прячется, не теряется. Это вариант довольно легкий. Бывает, услышишь ремикс на вещь, которую вроде бы знаешь наизубок, — и стараешься понять, а что же, собственно, оттуда взяли. Не исключено, что это окажется всего лишь однажды возникший в оригинале, необязательный в структуре композиции звук, чем-то приглянувшийся создателю ремикса. Может быть, при таком состоянии дел автор и не умирает, как надо, не разлагается на культурные коды, однако порядочно размывается в пространстве между двумя участниками процесса: «ремиксирующим» и «ремиксируемым». И положение центра тяжести в этой двойной системе определить обыкновено бывает не просто.

Теперь электронная музыка все основательнее уходит в виртуальную среду. Есть музыканты, которые уже не выпускают своих работ в каком-либо внекомпьютерном формате, скажем, в виде обычного аудиодиска, но признают только форматы мультимедиа. Кто-то предоставляет своей музыке бытовать в Интернете — и часто в открытом доступе. Здесь еще свобода и пока не налажены порядки шоу-бизнеса, да и когда наладятся, будут они иными, нежели те, к которым мы привыкли. Хотя характерные электронные звучания в последние годы появились в рекламе (и не обязательно в ювенильной), хотя ныне они стали уже неотъемлемым элементом поп-музыки, ЭМ довольно трудно поддается тотальной коммерциализации, сожравшей всю остальную музыку мира. Потому что сегодня оснастить себе приличную компьютерную сэмплерную студию куда дешевле, чем собрать сносную аппаратуру для рок-группы, а следовательно, новые люди с новыми идеями способны заявить о себе, не попадая с первых же шагов в зависимость от продюсеров-менеджеров, подгоняющих любые творческие инициативы под унылые рамки потребительских ожиданий. Самое современное среди музыкальных течений — ЭМ — умудряется сопротивляться давлению структурирующих современный мир (и в том числе любые искусства) принципов, приравнивающих всякий продукт человеческой деятельности к товару, принципов, соответственно которым потребитель гарантированно обеспечивают тем, что он заранее знает и чего заранее хочет. Не будет преувеличением сказать: единственно ЭМ способна нынче удовлетворить вкус слушателя к движению вперед и к неожиданному. И вроде как, раз она существует, — стало быть, и слушатель с такими вкусами пока остается.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*О буднях в Интернете, о сайтах «Драгоманъ Петров» и «Орбита»,
о сетевом «Новом мире»*

1

Что-то совсем уж тихо стало в литературном Интернете. И обозреватели куда-то разбрелись. Даже самый неумолимый, всегда находивший повод для интернет-воодушевленности Вячеслав Курицын и тот все чаще переходит на лирико-культурологическую прозу про свои поездки в Грузию или Японию, ну и там небольшими вкраплениями — что-нибудь про интернетовские литературные новости. И это при том, что ресурсы литературных сайтов растут и растут, открываются новые сайты, появляются новые литературные интернет-журналы. Но похоже, что праздничное оживление, с каким новоселы живут первые месяцы в новенькой квартире (Интернете), закончилось. Для воодушевления уже недостаточно самого факта появления кондиционного и при этом эксклюзивно-интернетовского текста. К тому ж постепенно выяснилось, что не так уж и много авторов в Интернете, способных регулярно представлять такие тексты. Да и граница между интернетовским и бумажным пространством становится все более зыбкой. А писать по второму и третьему кругу об одних и тех же — скучно. Вот, скажем, появился новый сайт «Литературная Промзона» (<http://litpromzona.narod.ru/>) — о нем было в прошлых моих обозрениях. А кто там представлен? Да все тот же хорошо известный нам питерский литературный — и соответственно интернетовский — истеблишмент: Аркадий Бартов, Михаил Берг, Александр Горнон, Дмитрий Григорьев, Аркадий Драгомошенко, Павел Крусанов, Лев Усыскин, Владимир Уфлянд... Регулярные обновления на «Вавилоне» (<http://www.vavilon.ru/renewed.html>): Виктор Соснора, Елена Шварц, Ян Сатуновский, Аркадий Бартов, Полина Барскова, Сергей Солоух, Николай Байтов. И, естественно, интернет-обозреватели также вынуждены кружить вокруг одних и тех же имен. Вот, скажем, среди лауреатов последнего, одного из самых авторитетных в нашем Интернете конкурса на «Тенётах» (

www.teneta.ru) мы встречаем не только все тех же литераторов: Сергей Солоух, Николай Байтов, Александр Левин, Стелла Моротская, но даже тексты — так, о рассказе Анны Кирьяновой «Ананасы в шампанском» я уже писал в № 3 за 2001 год, разбирая итоги конкурса «Улова» (<http://rating.rinet.ru/ulov>) (осень 2000 года). Коротче, очевидно, что первый этап структурирования массивов прошел. «Литературная карта» нашего Интернета, пусть и далеко не полная, но составлена. Сложившаяся в литературном Интернете ситуация предполагает обозревателю уже не пафос первопроходца, а будничную методичную работу по отслеживанию и выявлению, классификации и анализу. Что, согласитесь, не праздник, а просто жизнь.

Да и сами авторы интернетовские, похоже, избавляются от некоторых иллюзий. А ведь как хорошо начиналось: Интернет! Свободный доступ к читателю, к городу и миру у тебя в кармане: сочинил текст — и через два-три дня ты писатель, ты включен в мировую интеллектуальную и эстетическую тусовку... Только читатель где? Где отклики, обсуждения, споры, скандалы, письма, приглашения и проч.? Почему это Берроузу, когда-то подвесившему — есть такая легенда — на не ведомом никому сервере почтового отделения в городе Танжер свой «Голый завтрак», удалось стать мировой знаменитостью, культовым писателем? Да потому что — Берроуз. Не в Интернете дело и не в безграничных возможностях его эстетики. А в художественном уровне твоих текстов. Можно, конечно, «делать себя» — рассылать рецензии на собственные тексты, толкаться на конкурсы, самому и с друзьями накручивать посещаемость для появления твоей строчки в рейтинговых списках Рамблера или Аппорта, но все эти действия, по сути, признание поражения.

В общем, возвращаемся все к тому же — к трудовым будням.

Вот два сравнительно недавно появившихся сайта, отмеченных соответствующими строчками в «Рейтинге литературных сайтов»: «Драгоманъ Петров» (<http://www.dragoman.narod.ru/>) и «Орбита» (<http://www.orbita.lv/orbita/>). С ними связан уже сугубо сегодняшний интернетовский сюжет.

Стартовые возможности у «Драгомана Петрова», несомненно, есть. Во-первых, сайт изготовлен в Новосибирске, что уже интересно и может привлечь интернетовского читателя, оценившего уровень владивостокской «Лавки языков» (<http://spintongues.vladivostok.com/>) или «Ферганской школы» (<http://www.ferghana.ru/>). Создатели сайта — молодые новосибирские литераторы: Виктор Иванов, Андрей Кузнецов, Павел Розанов, Дмитрий Умбрашко, Филипп Третьяков.

Во-вторых, хорошо выбрано название. «Драгоманъ Петров» значится на титульном листе, и тут же рядом фото среднего чина царской армии, худошавого, с напряженным лицом. Экзотичное «драгоманъ» — это «военный переводчик на арабском Востоке». С самим же драгоманом Петровым связана занимательная легенда: он внезапно помешался в уме, но через короткое время пришел в норму, и — в силу поразительного стечения обстоятельств — его сделали членом специально созданной военной комиссии по расследованию этого происшествия. Для литературного сайта такая легенда, обладающая эффектностью метафоры (литература как рефлексия по поводу своей нормальности-ненормальности, самого понятия здоровья и психической нормы), — находка.

Увы, это все, что можно сказать хорошего о первом выпуске журнала. Остальное в новом проекте вызывает иронию. И декларация устроителей сайта, написанная с упором на словосочетание «альтернативная литература» (чему она альтернативна?); и пассажи типа: здесь будут публиковаться «работы молодых новосибирских авторов, мало известных у нас в городе, но признанных литературной общественностью в США, Франции, Японии и других странах», — так и представляешь себе эту международную «литературную общественность», что-то вроде клуба книголюбов с еженедельными собраниями в жэках «США, Японии, Франции и других стран», томящуюся в ожидании очередного опуса наших студентов. Ну а главное — сами тексты первого выпуска «Драгомана». Попробуйте разобраться, например, в такой фразе: «Можно сравнить нас с повстанцами, которые лезут по стене побега и держатся за руки, это чуть ли не комсомольская пирамида, причем он пытался делать так, что чесал макушку впередсмотрящему, и лапоть всех подряд, к нам же он был снисходителен платонически, и сходил до того, что давал Танталу пить, но только один раз».

Это уровень прозы. А вот — стихов:

мы носимся как тополиный пух
и только ночью что-нибудь торчит
так нарочито без зацепки
из толщи вод какая-нибудь кепка
как ноги из-под многих одеял
какой-нибудь прилизанный петух
что ногу жалкую влачит

Образчики этих художественных текстов вынуждают сделать вполне определенное предположение о том, чему, собственно, альтернативна представляемая «Драгоманом Петровым» литература.

Немного успокаивает хладнокровная реплика из газеты «Новая Сибирь» по поводу проектов новосибирских «альтернативщиков»: «К сожалению, проекты эти бывают продиктованы не реально существующей культурной идеей, а желанием „тусануться“. Что само по себе и не плохо. В конце концов, крыша для общения — шаг для превращения тусовки в среду, способную находить и формулировать культурные идеи». Полный текст заметки Александра Лаврова, откуда взята эта цитата, представлен на сайте, и это хорошо — авторы следуют духу выбранной легенды.

Собственно, по обозначенному в заметке Лаврова сценарию и стал развиваться сюжет с сайтом «Драгомана». Для составления второго, заметно увеличившего объем выпуска этого журнала были позваны варяги — Данила Давыдов из Москвы, представивший вполне кондиционные стихи, Елена Шварц из Санкт-Петербурга (прозаическая миниатюра), живущий в Германии тамбовец Сергей Бирюков (стихи), Виталий Науменко из Иркутска (стихи). И журнал сразу же обрел статус литературного явления (заодно у меня, например, отпал недоуменный вопрос к достаточно квалифицированным коллегам-экспертам из Рейтинга, что заставило их поставить в свой список это интернет-издание). Но такая вот трансформация интернет-издания подтверждает, на мой взгляд, сказанное выше: начальное структурирование литературного пространства в Интернете уже произошло, определился круг — к сожалению, не такой уж и большой — авторов, тексты которых и представлял здесь собственно литературу. Досадно, конечно, что у «альтернативных новосибирцев» не нашлось альтернативы уже существующему интернет-истеблишменту. Но, с другой стороны, шаг, сделанный ими во втором выпуске, выглядит достаточно мужественно — не создавать свою маленькую закрытую резервацию местных гениев, а попытаться существовать в контексте уже состоявшейся литературы. Как говорилось в старинных книгах, «со избранными избран будешь». Пока это еще «сайт на вырост».

Ну а вполне состоявшимся в художественном отношении я бы назвал сайт «Орбита». Делается он силами рижан, и имена здесь (для меня по крайней мере) новые. На титульной странице читаем: «Вы на сайте проекта „Орбита“. Это несколько поэтов, музыкантов, фотографов и дизайнеров из Риги. Поэтому здесь вы найдете „Текстотеку“, „Фототеку“, „Видеотеку“ и „Аудиотеку“ с работами участников проекта. Раздел „Новотека“ отслеживает актуальности культурной среды Латвии, Балтии и Скандинавии. А „Полигон“ задуман как экспериментальная площадка для новых текстов и авторов» — вот, собственно, и вся декларация. Аскетичный, серо-голубой, с элементами графики, стильный дизайн. Тональность представления как бы предполагает, что содержащийся здесь материал не нуждается в имиджевых подпорках. Удобная навигация: экран разбит на три столбца, в левом — список разделов, в правом — перечень выставленных в этом разделе материалов, в центре — визитная карточка каждого материала: короткое стихотворение из подборки, начальные абзацы прозаического произведения, аннотации. Под ними для клика надпись «Читать дальше» — на случай, если обещанный материал заинтересует. Надо сказать, что пользовался этой кнопкой постоянно, и не только из-за добросовестности обозревателя. Интересно почти все, хотя шедевров я не обнаружил.

В раздел «Фототека» свои работы представили Мартиныш Граудс, Анна Волкова, Александр Заполь, Владимир Светлов, Вита Успенiece, Анна Фаныгина и другие. Выделить лидирующую группу трудно, все работают на очень приличном уровне, чем всегда отличались прибалтийские фотохудожники; и тут уж дело вкуса — скажем, мне больше понравились работы Мартиныша Граудса, Владимира Светлова и Виты Успенiece.

В разделе «Аудиотека» две записи: «Тру poetry try» («вечер хаотической импровизации») и CD «Орбита-2», «звуковая картина Риги 2000 года» (музыкальная картина).

«Видеотека»: слайдфильм «Кокосовое печенье», видеосюжет Виктора Вилкаса «Репетиция» и фильм Катерины Нейбуры «Всю ночь».

Для меня самыми интересными были, разумеется, разделы «Текстотека» и «Полигон». Стихи и проза Александра Ивлева, Олега Золотова, Александра Мельника, Семена Ханина, Элизабет Бишоп, Игоря Трохачевского, Ричарда Браутигана, Елены Альшанской и других. Представлено богатое собрание разнообразных стилистик и литературных индивидуальностей: и добротная в нынешнем ее эстетическом изводе психологическая проза, и социально-психологический гротеск, и проза «простодушно»-лирическая, и абсурдистская, и современная модификация «романа воспитания», о стихах уж не говорю. Повторю, что чего-то, производящего впечатление прорыва в еще не освоенное интеллектуальное или эстетическое пространство, я не обнаружил (поэтому ограничиваюсь здесь только полуаннотационным представлением сайта). Возможно, кому-то просто не хватило развернутого корпуса текстов, чтобы предстать перед читателем в полный рост. «Орбита» хороша, во-первых, наличием у ее авторов культуры, необходимой для занятий литературой, в нынешнем литературном Интернете это сейчас дорого стоит. А во-вторых, и это главное, — сосредоточенностью практически всех участников на собственно творческих, а не имиджевых задачах. То есть сайт этот — почти идеальная бродильная среда для творческих людей.

Что показалось неожиданным, так это отбор текстов для экспериментального «Полигона». Похоже, что его создатели всерьез поверили, что литературный мейнстрим сегодня — это исключительно Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев. Так что писать всерьез психологически проработанную изобразительную прозу (что делают, например, Игорь Трохачевский в цикле «Любимое время года — Осень» или Александр Мельник в рассказе «Друг») — это и есть по нынешним временам рискованный литературный эксперимент.

2

Вторую, сугубо информационную часть нашего обзора я хотел бы отвести той работе, которую уже давно следовало сделать для читателей «Нового мира», — представление сайта «Сетевой „Новый мир”» в «Журнальном зале „Русского Журнала»» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/). Поочередно — так сложилась его судьба — выставлявшийся на серверах «Агамы», «ИнфоАрта», «России-он-лайн» сайт «Журнального зала» с «Новым миром» обрел новое пристанище — сервер «Русского Журнала». Естественно, изменились его адреса и отчасти дизайн и навигация.

«Новый мир» доступен в Интернете с 1996 года. Вначале на сайте «Журнального зала» выставлялся только дайджест журнала. А затем «Новый мир» появился в Интернете уже как сетевой журнал со своей культурной инфраструктурой.

Что представляет сайт «Нового мира»? Прежде всего это полный текст журнала в электронном виде. Каждый номер выставляется в течение недели после выхода из типографии. В этом режиме сайт работает уже почти два года, разумеется, сохраняя в открытом доступе все, выставленное ранее. Более того, в течение последнего года журнал, воспользовавшись помощью Фонда Сороса, смог выставить часть своего архива — полные номера журналов начиная с № 6 1993 года. То есть, включая вот эту журнальную книжку, которую вы держите сейчас в руках, на нашем сайте вы найдете тексты 104 номеров журнала «Новый мир».

Кроме страниц, представляющих собственно журнал «Новый мир», сайт имеет еще десять страниц-разделов, образующих некую культурную инфраструктуру.

На отдельной странице «Подписка и распространение» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/info/) вывешена информация о журнале, в том числе условия и порядок подписки на него.

Непосредственным продолжением бумажного «Нового мира» является раздел «Архив „Нового мира“» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/arhiv/oglavl.htm), в котором выставлены специально изготовленные для сайта годовые содержания журнала с 1926 года, то есть фактически за все время его существования.

Рядом — «Библиография со страниц „Нового мира“» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/bibl/) — для удобства наших читателей здесь продублировано содержание материалов из библиографических рубрик журнала: «Книжная полка», «Библиографические листки», «Периодика» за все годы существования этих рубрик.

Впрямую с содержанием бумажного «Нового мира» связаны материалы сравнительно недавно появившегося раздела «Дискуссионный клуб „Нового мира“» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/diss/) — это место для споров, которые могут вызывать отдельные публикации журнала. Свою работу «Дискуссионный клуб» начал с обсуждения эссе Андрея Серегина «Предисловие к будущему», опубликованного в № 6 за 2000 год. Среди участников дискуссии Юрий Суходольский, Владимир Ошеров, Кирилл Кобрин, Александр Загрибельный, Дмитрий Быков, Владимир Губайловский, Вениамин Новик, Вал. Любарский.

«Авторы и сотрудники» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/) — в этом разделе краткой справкой, фотографией, библиографией и ссылками на тексты, доступные в Интернете, представлены все творческие сотрудники журнала.

Количество же авторских страниц пока не слишком велико — сейчас, когда я составляю этот обзор, таких страниц 24. Структура страницы та же — представление автора (здесь оно более подробное, чем на страницах, посвященных сотрудникам журнала), библиография и ссылки на тексты. По задачам эти страницы можно разделить: собственно авторские и «навигационные». Навигационная страница изготавливается, чтобы помочь читателю сориентироваться в том, что из произведений представленного на этой странице автора выставлено в «Журнальном зале», — такие страницы, содержащие, кстати, развернутые справки об авторах, открыты для Александра Солженицына, Сергея Залыгина, Андрея Битова, Виктора Астафьева, Фазиля Искандера, Людмилы Петрушевской, Марины Палей и других.

В создании же собственно авторской страницы обычно принимает участие сам автор; это место, которое предоставляется писателю для его полноценной жизни в Интернете. И здесь обычно представлены не только тексты, опубликованные в нашем журнале, но и любые другие, с которыми автор хотел бы появиться в Сети. Значительную подборку произведений выставил, например, на своей странице Владимир Маканин, кроме романа «Андеграунд, или Герой нашего времени», двух повестей и рассказа здесь имеется также несколько его рассказов в английском переводе; страница поэта Дмитрия Полищука содержит стихи уже вышедших и еще только подготовленных к изданию книг. Несколько стихотворных книг и сборников эссе выставила на своей странице Лариса Миллер. На странице Андрея Волоса кроме новомирских публикаций целиком выставлена книга «Хуррамабад», обширнейший корпус работ критика и литературоведа Татьяны Касаткиной содержит практически все основные ее труды, включая вышедшие и готовящиеся к изданию книги, и так далее.

Продолжением этой работы является формирование страниц Библиотеки «Нового мира» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/portf/), на которых осуществляются уже, так сказать, эксклюзивные публикации. Здесь впервые были опубликованы новые части из мемуарной книги Наума Коржавина «В соблазнах кровавой эпохи», печатание которой началось в «Новом мире» еще в конце 80-х годов; роман Евгения Шкловского «Нелюбимые дети»; книга Наума Ваймана «Щель обетованья», впоследствии вышедшая книгой под названием «Ханаанские хроники»; избранное поэта из Нижнего Новгорода Дмитрия Унжакова (странная и обидная ситуация: несомненно талантливый, абсолютно состоявшийся поэт имеет пока только две или три случайных подборки в журналах, и до сих пор читатель может составить достаточно полное представление о нем только по собранию его стихов в сетевой библиотеке «Нового мира»); проза и эссеистика Вячеслава Курицына («Из журна-

листики», «Перевод стихотворения Мартины Хюгли»); последнее произведение Марины Палей — «The Jmmersion. (Погружение). Трагикомедия в 3-х действиях» (недавно опубликованное в журнале «Урал», 2001, № 4); пять не публиковавшихся в России рассказов Грэма Грина (в свое время от них отказались издатели, испугавшись упоминаний в этих рассказах о людях с нетрадиционными сексуальными ориентациями, даже несмотря на иронию, с которой изображаются эти жизнеиспытатели); новая книга стихов и поэм Кати Капович «Прощание с шестикрыльми»; отобранные автором еще до бумажного издания этих текстов отдельные главы из книг «Две Реформации» и «Пройдя до середины» Дмитрия Шушарина. Также открыт специальный раздел сетевой библиотеки «Нового мира» (культурология, эстетика) (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/filos/). Раздел начал работу представлением вызвавшей острые споры книги Григория Амелина и Валентины Мордерер «Миры и столкновения Осипа Мандельштама».

Отдельным проектом стала мемориальная страница философа **Мераба Мамардашвили** (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/merab/), содержащая его книгу «Эстетика мышления», статью об этой работе философа В. А. Кругликова «Пропедевтика в реальную философию», а также очерк о Мамардашвили, написанный Юрием Сенюковским, много сделавшим для публикации его сочинений.

Еще один, уже авторский, проект на сайте «Нового мира» — «**Антология джазовой поэзии**» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/jazz/), которую ведет Михаил Бутов (коллекция стихов, ставших частью современной джазовой культуры, — Валентина Парнаха, Иосифа Бродского, Алексея Цветкова, Алексея Алехина, Ирины Ермаковой, Владимира Губайловского, Хамхада Закирова и других; подборки «От саксофона до ножа — один шаг. Настоящая советская поэзия», «Джаз и американский романс XX века» и другие материалы).

На странице «**Архив „Нового мира“**» (http://novosti.online.ru/magazine/novyi_mi/arhiv.htm) к шестидесятилетию со дня рождения Юрия Карабчиевского была выставлена его книга «Воскресение Маяковского» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/arhiv/karab.htm). Эта страничка стала началом создания специального сайта, представляющего творческое наследие **Юрия Карабчиевского** (<http://magazines.russ.ru/project/karab/>), — сайт уже открыт, зайти на него можно как со страниц сетевого «Нового мира», так и с титульной страницы «Журнального зала», он содержит почти всю прозу Карабчиевского, собрание его стихотворений, отобранное автором при жизни для книги «Прощание с друзьями», вышедшей посмертно, а также всю его литературно-критическую эссеистику.

Кроме того, в «Архиве» выставлена микроантология самых знаменитых стихотворений, опубликованных в «Новом мире».

В ближайших планах сайта — открытие персонального проекта **Павла Крюкова** «**Звучащая поэзия**»: звуковая антология современной поэзии из круга близких к «Новому миру» авторов. Надеюсь, что к моменту, когда выйдет из печати данный номер, стихи наших поэтов в авторском чтении уже будут звучать с этой страницы сетевого «Нового мира».



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАК БЫ РЕЗВЯСЯ И ИГРАЯ

Наука стремится жить фактами, общество — фантомами. Наука старается развивать свои модели в сторону точности, общество — в сторону упрощенности и величия. Научные модели призваны соответствовать реальности, общественные фантомы — поражать воображение. Научное знание, по крайней мере по идее, стремится быть понятным, обоснованным, открытым для проверки и опровержения; претворяясь в общественные фантомы, оно обретает признаки чуда, осеняется авторитетом и тайной — так сомнительные научные гипотезы становятся утопиями. Чаще эти утопии раздувают полузнайки, что-то прослышавшие краем уха, но бывает, что циклопические проекты раскручивают и ученые-ренегаты, изменившие важнейшему пункту научного кодекса: не апеллировать к профанам, к толпе. Именно через апелляцию к полузнайкам, а через них к полным невеждам началось триумфальное шествие марксизма, расизма...

Проникая в общественное сознание, научные открытия — наиболее правдоподобные гипотезы — перерождаются в непререкаемые фантомные аксиомы с тем большей неотвратимостью, что популяризируют их в основном журналисты — специальный институт полузнаек, кое-что слышавших от специалистов и формирующих мнение тех, кто кое-что услышат уже лишь от самих газетчиков. Поэтому, по мнению людей, получающих образование из газет, Лобачевский доказал, что параллельные прямые иногда могут и пересекаться; квантовая механика доказала, что поведение микрочастиц описывается одновременно двумя взаимоотрицающими моделями; Гёдель же и вовсе доказал, что ничего доказать невозможно. Как же тогда он сам что-то все-таки доказал — вопрос не для бесхитростного ума. Слово «энтропия», введенное для строго очерченного круга физических явлений, уже давным-давно применяют к всевозможным социальным процессам, ну а «эпицентр» взрыва или землетрясения — это теперь не скромная проекция их центра на земную поверхность, а что-то вроде «суперцентра» — «эпицентр взрыва находился в хвосте самолета».

Однако в изданиях, которые читает интеллигенция, — а «Новый мир», несомненно, принадлежит к их числу, — может быть, имеет смысл, когда подворачивается повод, напоминать, что прямые называются параллельными, когда они *не* пересекаются, а Лобачевский всего только допустил, что через любую точку вне прямой можно провести более чем одну параллельную прямую. Может быть, это кому-нибудь нужно — узнать, что корпускулярная и волновая модели квантовой механики отрицают друг друга не более, чем суждения «слон — это колонна» и «слон — это канат». И когда с круглосуточного конвейера той могучей отрасли гуманитарных «наук», которая специально занимается производством ошарашивающих наукообразных выдумок, сходит очередной эпатирующий фантом, может быть, иной раз и не стоит клевать на удочку его производителя, отвечая ему ликованиями и негодованиями — ради чего он и затевал свой бизнес, — а, наоборот, низвести осуждение от глобальностей к конкретике.

Возможно, я пускаю в ход крупнокалиберную артиллерию по мелкокалиберному поводу, но я невольно заразился трагическим настроением статьи В. Сендерова «Абнегистская революция: волевой выбор или перст судьбы?» («Новый мир», 2001, № 10). В. Сендеров ужасается смыслу и возмущается тоном М. Эпштейна, который то там, то здесь пророчествует (не он первый), что не за горами новая эпоха, когда «человек окажется действительно паучком во всемирной паутине, поскольку к каждому его нейрону, клетке, гену, протезу и чипу будет что-то приторочено¹,

¹ Ген, по-видимому, представляется М. Эпштейну чем-то вроде горошинки, к которой можно что-то приторочить, — лет сто назад такое представление было бы сравнительно переловым. И это все же лучше, чем газетные нелепости вроде того, что «в наши гены пророчили рабство, лень, гордость» (добавляется по вкусу...).

каждая его частица будет участвовать в каких-то взаимодействиях... которые он должен будет контролировать, в свою очередь контролируясь ими.

...Мозговые сигналы будут прямо передаваться по электронным сетям, мысли будут читаться, поэтому придется быть осторожным не только в словах. В мозгу будет вспыхивать табличка-напоминание: „Выбирай мысли!“»

«Цивилизация будущего протейчна, поскольку она состоит из потоков энергии и информации... В трехмерном мире такой энергоимпульс или инфосигнал становится трехмерным, в десятимерном — десятимерным», — звучности слога позабывал бы Северянин, и В. Сендеров эпштейновские пассажи о многомерных пространствах классифицирует по достоинству — первый курс технического вуза. Эпштейновская трактовка Гёделя — «обоснование невозможности доказательства какого-либо постулата в рамках системы понятий и аксиом» — тоже оценивается не по замаху, а по точному смыслу: постулаты не доказываются, они суть «суждения, принимаемые в качестве исходных без доказательств».

Однако, переходя к будущему чтению в сердцах, В. Сендеров, к сожалению, оставляет в стороне тоже все-таки немаловажный вопрос, возможно ли такое вообще и что для этого потребуется. Так уделим же десять минут и практическому аспекту.

М. Эпштейн, судя по вышеприведенной цитате, полагает, что мысли в нашем мозгу формируются в такой же отчетливой форме, как в книге или статье, — остается только до них добраться и прочесть. Но как часто (если не всегда) мы размышляем обрывками вроде «Ах ты!..», «Ну вот...», «Так он, оказывается... Ага!». И если даже мы отчетливо додумываем о каком-нибудь нашем собрате по перу: «Ну и выпендрожник!» — мы уж точно внутри себя не называем его имя, оттого что и так знаем, о ком идет речь: в этот момент мы либо видим его воочию, либо читаем его текст, либо замечаем на вешалке его экстравагантную куртку, либо слышим чей-то рассказ об очередной его выходке, словом, чтобы понять, о ком мы думаем, читатель наших мыслей должен знать еще и то, кого мы в этот миг видим, слышим, обоняем, осязаем: он должен иметь в своем распоряжении все показания органов чувств нашего архаического, прости Господи, тела — и знать, о чем они нам напоминают.

Правда, «инфосигналы» наших органов чувств тоже стекаются в мозг, но стекаются-то без разбора важного (для контролера) и неважного, так что, ухитрившись снять показания *миллиардов* структурных единиц мозга и при этом не нарушить его способа восприятия и обработки информации, верховный чтец обретет исчерпывающие данные о том, как у нас чесалась нога, как, мысленно высказываясь о выпендрожнике, мы попутно ошупывали языком ранку во рту, следили за мухой, с досадой прислушивались к дурацкому хохоту во дворе и разнеженно предвкушали некую встречу завтра вечером: нужная контролеру информация оказалась бы хиленькой струйкой в Ниагаре белиберды, шепоткой золотых блесков в Монблане пустой породы. И нужен чудодейственный фильтр, который бы сумел их отсеять, — фильтр, способный отобрать лишь то, что относится к нашему экстравагантному коллеге.

А что к нему относится? Какие зоны мозга он возбуждает? Ведь всякий предмет для нас не только комплекс ощущений, но и комплекс порождаемых им ассоциаций. С чем, например, у меня ассоциируется сам М. Эпштейн? Во-первых, с Эйнштейном. Затем с беззаветным исканием парадоксов, с «инфосигналами» и «десятимерными пространствами», с Гегелем и Гёделем, с блестящей, но желающей казаться совсем уж заоблачной образованностью, с первоклассным интеллектом — я не иронизирую. А если бы, кстати, иронизировал? Ведь тогда контролирующему Благодетелю пришлось бы добираться не только до «текста» моей мысли, но и до ее «подтекста». Однако это к слову. Если же говорить об ассоциациях не интеллектуальных, так сказать, которых я не перечислил и ничтожной доли, а о предметных (которым тоже соответствуют свои процессы в мозгу) — там начнется другой водопад: М. Эпштейн будет ассоциироваться с недооцененным пирожком, на который в буфете случайно упал мой взгляд во время чтения его статьи, с...

Дальше, я думаю, можно не продолжать? Надеюсь, уже и без этого ясно, что возбуждаемый М. Эпштейном комплекс ассоциаций будет у каждого из нас свой,

неповторимый и обновляющийся каждый раз, когда мы в новой ситуации вспомним его громкое имя. Именно поэтому душа останется потемками — оттого что она неповторима: для каждого из нас понадобился бы отдельный дешифратор наших мозговых «инфосигналов», дешифратор, который пришлось бы еще и ежесекундно перенастраивать, поскольку одно и то же слово в разные моменты времени станет возбуждать разные зоны мозга. Даже не блестящий парадоксалист, а кака-нибудь примитивная колбаса будет возбуждать неповторяющиеся и обновляющиеся ассоциации, ибо даже негордое слово «колбаса» у каждого из нас является обобщением сугубо индивидуального опыта. У кого-то колбаса ассоциируется с дачей и дедушкой, отрезающим тверденькие кружочки от краковского кольца; у другого — с выдавливаемой пастой колбасы ливерной; третий вообще вырос в советской глубинке и лет до десяти о колбасе только слышал разжигающие аппетит легенды; четвертому вспоминается прежде всего трамвайная колбаса и «колбасная эмиграция» — и у каждого будут при этом возбуждаться собственные зоны мозга. Поэтому если бы каким-то чудесным образом «инфосигналы» об этих возбуждениях были сняты, не исказив картины, то проинтерпретировать их правильно мог бы лишь тот же самый мозг.

Или его точная копия.

Впрочем, для тех, кто твердо решил ужасать и ужасаться, и это не препятствие. Клонирование! Грядущий тоталитаризм (беззаветные либералы до сих пор все пускают под откос поезда единственного своего давно разгромленного врага), не совершив ни единого отклонения от технологии, наштампует тождественных близняшек с абсолютно тождественными мозгами. Только вот в чем загвоздка: чтобы мозг одного близнеца развивался вполне тождественно мозгу другого, нужно, чтобы они в один и тот же срок переболели одинаковым гриппом, чтобы в один и тот же миг одинаково шлепнулись с одинаковых кресел, чтобы их одинаковым образом за одну и ту же провинность в один и тот же момент времени высек один и тот же педагог...

Не слишком преувеличивая, можно сказать: для того чтобы контролировать человеческую мысль — человеческий мозг, пришлось бы контролировать всю вселенную.

«Многие меня поносят и теперь, пожалуй, спросят: глупо так зачем шучу? Что за дело им? Хочу».

Зачем я все это написал? В кругу *настоящих*, по Шварцу, людей, которые элегантны, лишены предрассудков, понимают решительно все и постоянно улыбаются на всякий случай, — в этом кругу и пишут, и читают исключительно для прикола. Боюсь, я не заслужил права на звание настоящего человека, но все же и я попытался откликнуться на призыв элитарно-массовой культуры, которая к архаическим своим требованиям «накорми, напои, насмеш и напугай» присоединила еще одно: «Подбрось немножко пищи для ума». Но только чтобы не переест. Чтоб было не сложнее и не ответственнее головоломки, шахматной задачи или кроссворда. Или пригоршни аргументов и фактов, не уложенных, однако, упасы Бог, в какую-нибудь систему.

Надеюсь, мой «текст» не слишком отклонился от этого стандарта.

Александр МЕЛИХОВ.

Санкт-Петербург.

СТОИТ ЛИ ШУТИТЬ С БУДУЩИМ?

Александр Мелихов в письме в «Новый мир» упрекает меня в излишней серьезности по отношению к «манифесту» Михаила Эпштейна (в этом же укорила ранее и Инна Булкина в «Русском Журнале»). Вынужден признаться: с чувством юмора у меня действительно туговато (поспоришь тут — уж после этого сомнений в отсутствии у тебя такового чувства никаких не останется). Приятно бы столь же

безоговорочно согласиться и с утешительной позицией А. Мелихова по всем прочим пунктам. Только это, увы, труднее: письмо его объявляет провокативным пустяком слишком многое. Вправду ли тоталитаризм «давно пущен под откос» — или бронепоезд просто модернизируется, как считает тот же американский фантаст Тенн? Впрочем, тоталитаризм автор приканчивает одной фразой; детальные рассуждения его по поводам иным. Как естественно-научная девственность нового утописта, так и причудливость его проектов настраивают А. М. на оптимистический лад: стоит ли принимать подобное всерьез?

Стоит. «Математическую» структуру светлого будущего разработал Фурье — литератор, не умевший складывать однозначные числа. На немецкий его перевод Энгельс — мыслитель, убежденный, что $-1+0=0$. Реализовал же идеи обоих Ульянов — экономист, чьи труды на любом экзамене по матстатистике были бы оценены двойкой.

Наконец о главном: о «проблеме осуществимости». Легко не верится тому, чему хочется не верить, — только этой поговоркой могу я объяснить сомнения в возможности «контроля над развитием мысли»: уже гитлеровские эксперименты в этой области далеко вышли за пределы традиционной пропаганды. Сегодняшнему мышлению вольно отмахиваться от фактов, давших богатую пищу автору «Братьев Лаутензак», — ну а как быть (возьмем другой пример) с детекторами лжи? Они именно читают побуждения — в той мере, в какой это заказано им обществом и государством. Для более детального прочтения действительно нет технических возможностей (как, впрочем, пока и нужды) — так что мы все еще будем, по-видимому, бесконтрольно думать: «Ах ты!» и «Ага...».

Под вопросом пока и технические возможности клонирования человека. Но уже не под вопросом главное: желание огромной части нетоталитарного мира «одинаково шлепаться с одинаковых кресел». В нашей отставшей России мы пока еще этого не очень хотим. Нам вновь политкорректная теория американского психолога Эриксона: все люди одинаковы, бредни о таланте — вредная выдумка. И право гомосексуальных «семей» воспитывать «потомство» для нас пока не из самых животрепещущих проблем. А если нам докажут, что мужчина способен рожать, мы банально спросим: «А зачем?» Английским же ученым, доказывающим это, ответ очевиден: мужчина равен женщине, как же он в возможностях своих может быть ущемлен...

Эти мечты о едином всеобщем клоне — не игры, не шутки, они могут и осуществиться. Не их бредовость и «ненаучность», а лишь возможное изменение нашего европейско-американского мира способно воспрепятствовать этому.

Валерий СЕНДЕРОВ.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Юрий Анненков (Б. Темирязов). Повесть о пустяках. Комментарии А. Данилевского. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2001, 576 стр., 3000 экз.

Художественная проза известного художника (а также автора знаменитых мемуаров «Дневник моих встреч. Цикл трагедий»), написанная на материале русской жизни начала XX века, за многими из персонажей которой легко угадываются прототипы — фигуры политического, литературного, артистического Петербурга и Москвы. Первая публикация — в 1934 году в Берлине, в России книга выходит впервые.

Пьер Ассулин. Клиентка. Роман. Перевод с французского Н. Паниной. М., «Текст», 2001, 219 стр., 2000 экз.

Дебютный — и, по мнению критики, удачный — роман известного во Франции литературоведа и публициста.

Гонсало Торренте Бальестер. Дон Хуан. Роман. Перевод с испанского Н. Богомоловой. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2001, 474 стр., 5000 экз.

Современный испанский роман, написанный на материале многовекового и многоликого литературного мифа о Дон Жуане.

Джон Беньян. Путь паломника. Перевод с английского Т. Поповой. М., «Грантъ», 2001, 368 стр.

Классическое произведение английской литературы XVII века, почти сто лет не переиздававшееся в России, в новом переводе.

Владимир Березин. Свидетель. Роман. Рассказы. СПб., «Лимбус-Пресс», 2001, 440 стр., 3000 экз.

На фоне новейшей нашей литературы почти старомодная по своей искренности, серьезности, сориентированности на высокую культуру письма (чувствуются следы внимательного чтения русских и зарубежных писателей 20-х годов, в частности, Шкловского и Хемингуэя) проза о молодом человеке на сегодняшних войнах, как локальных (Югославия, Кавказ и т. д.), так и тотальной, всех против всех — нынешнее состояние русского общества. Основа книги, роман «Свидетель», — лирико-философское исповедальное повествование молодого писателя, бывшего боевого офицера, об одиночестве как способе жить. В романе и рассказах — Москва, Крым, Чечня, Сербия, Германия, русские деревни; офицеры, наемники, бизнесмены, бандиты, обыватели, новейшее «поколение дворников и сторожей», искусствоведы, литераторы и т. д.

Борис Васильев. Глухомань. Роман. М., «Вагриус», 2001, 336 стр., 7000 экз.

Попытка современного прозаика написать художественно-эпическое прозаическое полотно о событиях последних двух десятилетий в России.

Уильям Блатер Йейтс. Звездный единорог. Пьесы. Перевод с английского Л. Володарской. М., «Текст», 2001, 269 стр., 3500 экз.

Восемь пьес, из которых шесть публикуются на русском языке впервые.

Тимур Кибиров. Кто куда — а я в Россию. М., «ОЛМА-Пресс», 2001, 512 стр, 3000 экз.

Итоговая на сегодняшний день — стихи с 1987 года — книга одного из ведущих наших поэтов. Предисловие «Тимур из пушкинской команды» Андрея Немзера.

Ирина Полянская. Читающая вода. Роман. М., «Грантъ», 2001, 224 стр.

Книжное издание романа, публиковавшегося в «Новом мире» (1999, № 10, 11).

Владимир Салимон. Возвращение на землю. Книга новых стихотворений. М., Издательский дом АСБ, 2001, 174 стр., 1000 экз.

Содержит циклы: «Фактура грубого холста», «Обнаженная натура», «Оптический обман», «Национальный колорит», «Песка и глины смесь». О предыдущей книге Салимона «Бегущие от грозы» (М., «Золотой век», 1999) см. «Новый мир», 2000, № 2.

Глеб Шульпяков. Щелчок. Стихотворения и поэмы. М., «Независимая газета», 2001, 120 стр., 1000 экз.

Первая книга уже завоевавшего известность московского поэта. О вошедшей в книгу поэме «Грановского, 4» журнал писал в 2001 году, № 2.

С. С. Аверинцев. София-Логос. Словарь. Киев, «Дух і Літера», 2001, 460 стр., 3000 экз.

«Основы христианской культуры в форме энциклопедического словаря... Словарь... дарит читателю как универсальную сумму знаний от А до Я, так и энергию личного выбора между узким путем „отца веры“ Авраама и широким путем постатеистического „Язычества“» (из издательской аннотации). Около ста пятидесяти словарных статей из разных энциклопедических изданий, с которыми сотрудничал автор, составили первую половину книги (*Архангелы, Бесы, Благовещение, Вознесение, Воскресение, Голгофа, Ересь, Любовь, Мессия, Христианство, Эсхатология* и др.). Вторая половина книги составлена из статей, продолжающих содержание первой части: «Христианство в XX веке», «По ту сторону изоляционизма», «Стилистические проблемы библейского перевода», «Будущее христианства в Европе» и др. Послесловие «Архипелаг Аверинцева» К. Б. Сигова. Это второе издание книги, первое выходило в 1999 году.

Теодор Адорно. Эстетическая теория. Перевод с немецкого А. В. Дранова. М., «Республика», 2001, 527 стр., 3000 экз.

Книга, считающаяся основным и одновременно самым сложным для восприятия трудом известного философа, — «итоговый труд философа, законченный вчера к 1969 году. Этому труду предназначалось, как хотел Адорно, представлять то, что он „должен был бросить на чашу весов“. Работа принципиально фрагментарна в согласии с тезисом: „Фрагмент — это вторжение смерти в произведение. Разрушая его, он снимает с него изъян видимости“. Крайне своеобразная манера изложения и очень нетривиальная проблематика. „Речь идет просто-напросто о том, что из моей теоремы, согласной которой в философском плане не существует ничего „первого“, следует также, что невозможно выстроить аргументированный контекст в рамках обычной последовательности и что целое необходимо монтировать из ряда частных комплексов, равнозначных и сгруппированных концентрически, на одном уровне; идея должна возникать из их соединения, а не из последовательности“. Напечатан полный текст последней редакции. В качестве приложения дано „Раннее введение“. По сравнению с этой явно центральной работой все другие писания Адорно об искусстве представляются периферийными. Названия основных разделов: „Утрата самоочевидности искусства“, „Теории искусства Канта и Фрейда“, „Наслаждение искусством“, „Язык страдания“, „Разыскание искусства“, „Измы“ как секуляризованные школы“; „Солипсизм, миметическое табу, совершеннолетие“, „Гений“, „Оригинальность“ и др.» (И. Фридман).

Виктор Бердинских. Крестьянская цивилизация в России. М., «Аграф», 2001, 432 стр., 1500 экз.

Новая работа историка из Вятки — социопсихологическое исследование русской крестьянской культуры XX века, построенное на записях устных рассказов, собранных автором.

Александр Генис. Билет в Китай. СПб., «Амфора», 2001, 333 стр., 5000 экз.

Новый сборник «гуманитарной прозы» (автор определяет ее еще и как «лирическую культурологию»), включивший уже известные тексты «Вавилонская башня» и «Темнота и тишина» (см. об этом: «Новый мир», 1998, № 9), а также новые: «Билет в Китай», «Фотография души». «Входя в состав всемирной цивилизации, китайская эстетика помогает рождению истинно планетарного искусства со всеми его еще не искоженными путями» (от автора).

Литературная энциклопедия терминов и понятий. Под редакцией А. Николюкина. М., «Интелвак», 2001, 1600 стр., 3000 экз.

«В энциклопедию вошли термины и понятия теории и истории литературы; включены статьи, отражающие взаимодействие науки о литературе со смежными областями гуманитарных знаний: культурологией, философией, эстетикой, лингвистикой, социологией и др. Впервые освещены многие термины и понятия, отсутствующие в русских энциклопедиях и справочниках, в том числе связанные с жанрами, течениями, школами, группами, кружками. Обширнейший слой понятий относится к истории литературы русского зарубежья... Значительный пласт новых терминов связан с концепциями и школами литературоведения стран Западной Европы и США» (от составителей).

П. Н. Милоков. История второй русской революции. М., «РОССПЭН», 2001, 767 стр., 2000 экз.

Книга известного русского историка и общественного деятеля о событиях 1917 года, сочетающая признаки мемуаров и научной монографии.

О. Н. Михайлов. От Мережковского до Бродского. Литература русского зарубежья. М., «Промышленность», 2001, 336 стр., 10 000 экз.

Монография известного исследователя русской зарубежной литературы; наиболее проработанный материал содержится в главах, посвященных первой русской эмиграции.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Барьер», «Время МН», «Время новостей», «Газета», «Даугава», «День и ночь», «День литературы», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Известия», «Иностранная литература», «Коммерсантъ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Московский вестник», «Московский литератор», «Московский церковный вестник», «Наш современник», «НГ-Религии», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Юность», «Общая газета», «Подъем», «Пределы века», «Российский писатель», «Русский Вестник», «Русский Журнал», «Советская Россия», «Субботник НГ»

Питер Акرويد. Повесть о Платоне. Роман. Перевод с английского Л. Мотылева. — «Иностранная литература», 2001, № 9 <<http://magazines.russ.ru/inostran>> Будущее наступило (ок. 3700 г.). *Платонова пещера*: взгляд снаружи.

Василий Аксенов. Исламский террор и позиция интеллигенции. — «Московские новости», 2001, № 40, 3 — 8 октября <<http://www.mn.ru>>

«Главной заботой этой статьи являются те, кого я люблю, к кому и сам принадлежу всю жизнь и всей душой, либеральные интеллигенты как Запада, так и Востока. <...> Страшно подумать, что мы проиграем, но мы не проиграем».

Андрей Битов. Лев Толстой как всенародный Карл Иванович, а книга — чудо общения с чужим. — «Новая газета», 2001, № 73, 8 октября <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Я мечтаю о трех учебниках, которые должны приходиться к ребенку одновременно с „Азбукой“. Это учебник экологии. Учебник философии. И учебник лингвистики. То, что ставится в конце, должно быть преподавано в начале. Но написаны они должны быть как-то волшебным».

Андрей Битов. Скажи себе о своих проблемах, и ты окажешься не одинок. Вопросы задавал Сергей Шаповал. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Мое представление о русской литературе, на которую я не то что молюсь, но которую считаю поистине великой, основано на том, что она не была профессиональной...»

Владимир Бондаренко. Страдания русского еврея. — «Завтра», 2001, № 42, 16 октября <<http://www.zavtra.ru>>

«Внуши русскому идею иудейства, и он живот за нее положит, пока не изуверится в ней, как изуверился в марксизме...» — это в связи с новым романом **Владимира Личутина** «Миледи Ротман» («Наш современник», 2001, № 3, 4, 5, 6). Ср. с критическими размышлениями **Марии Ремизовой**: «Новый мир», 2001, № 11.

См. также беседу с **Владимиром Личутиным** — «Литературная газета», 2001, № 43, 24 — 30 октября.

Александра Борисенко. О Сэлинджере, «с любовью и всякой мерзостью». — «Иностранная литература», 2001, № 10.

Сэлинджер глазами юной Джойс Мейнард. Сэлинджер глазами своей дочери — Маргарет Энн Сэлинджер.

Илья Бражников. Бес по капле. Апокалиптический либерализм Чехова. — «День литературы», 2001, № 11, октябрь <<http://www.zavtra.ru>>

«А либерала, как известно, по капле не выдавишь. Ибо род сей изгоняется только молитвой и постом».

Иосиф Бродский. «То, что говорит Солженицын, — монструозная бредятина». [Фрагменты интервью для польской «Gazeta Wyborcza»]. Перевод с польского Бориса Горобца под редакцией Виктора Куллэ. — «Газета», 2001, № 3, 11 октября <<http://www.gzt.ru>>

«Выражаясь грубально, пусть XIX век не учит нас жить».

«Россия — это абсолютно новый антропологический зоопарк».

«[Милан] Кундера — это быдло. Глупое чешское быдло».

Ольга Вайнштейн. Грамматика ароматов. Одеколон и «Шанель № 5». — «Иностранная литература», 2001, № 8.

«Как видим, запах [«Шанель № 5»] как предельно эластичная модель каждый раз получает новое символическое наполнение в зависимости от требований момента...»

Виктор Ваневский. Убийца царя в московском метро. — «Независимая газета», 2001, № 194, 17 октября <<http://www.ng.ru>>

Письмо в газету: «Почему имя ничем не выдающейся, кроме участия в убийстве века, личности носит станция московского метро [„Войковская“] и подсудный Войков тем самым причислен к Пушкину, Чехову, Маяковскому?»

Екатерина Варкан. Время поворота. — «Субботник НГ». Еженедельное приложение к «Независимой газете». 2001, № 31, 13 октября <<http://saturday.ng.ru>>

«Вероятно, мы последнее поколение людей — не в плане умирания человечества, а в плане прежних знаний и верований», — считает **Виктор Ерофеев**.

Алексей Варламов. Покров; Старое; Тутаяев; Чистая Муся. Рассказы. — «Подъем», Воронеж, 2001, № 8 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>

Хорошие, но уже печатавшиеся в разные годы рассказы.

Игорь Виноградов. Русский интеллигент. — «Общая газета», 2001, № 43, 25 октября <<http://www.og.ru>>

Год назад умер Юрий Буртин: «Кем бы ни предстал он перед нами в тех или иных мировоззренческих своих ипостасях — демократом, патриотом, западником, славнофилом, либералом-рыночником или социалистом, — он конечно же всегда и во всем был и оставался прежде всего народником». См. также беседу с **Юрием Буртиным** — «Новый мир», 2000, № 1.

Андрей Волос. «Хуррамабад не потерян, поскольку наше общество его не находило». Беседу вел Владислав Иванов. — «Литературная Россия», 2001, № 41, 12 октября <<http://www.litrossia.ru>>

«В сообщества сбиваются люди, видящие перспективы какого-либо общего дела, а у писателей какие могут быть общие дела?»

Вирджиния Вулф. Волны. Роман. Перевод с английского Е. Суриц. — «Иностранная литература», 2001, № 10.

«*The Waves*» (1931) — один из канонических текстов европейского модернизма.

Дмитрий Галковский. 80 лет вместо. — «День литературы», 2001, № 11, октябрь.

«Сам замысел Солженицына описать [в книге «Двести лет вместе»] русскую историю XIX — XX вв. как историю ОДНОГО общества неверен по своей сути».

Галковский вернулся из самиздата (<http://www.samizdat.ru>). См. также: **Дмитрий Галковский**, «Статья Жозефины Шкурко. Святочный рассказ № 3» — «Литературная газета», 2001, № 43, 24 — 30 октября <<http://www.lgz.ru>> «На самом деле „святочные рассказы“ никакие не рассказы <...>. Это попытка решения некой метафизической задачи обычно не свойственным мне образом — не логической цепочкой рассуждений, а сознательной имитацией „писательства“...» — объясняет автор.

Р. Ш. Ганелин. Сталин и Гитлер (встречались ли они, какую роль играл в создании их союза еврейский вопрос?). — «Барьер». Антифашистский журнал. Глав-

ный редактор И. Левинская. Журнал выходит при финансовой поддержке Института Джорджа Белла (Великобритания). Тираж 1000 экз. Санкт-Петербург, 2001, № [на обложке — 1 (6), под обложкой — 2 (6)].

Много очень интересных подробностей (на концептуальную уязвимость/недостаточность статьи Ганелина указывает **Дмитрий Браткин** в опубликованном тут же письме в редакцию).

Алексей Голобуцкий. Интернетом по террористам. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«А если террористы изберут своей следующей целью Силиконовую долину <...> на этом крохотном пятачке посреди гор сосредоточено около 80% всех серверов, обслуживающих Сеть...»

Господь нас еще терпит. Интервью с [протоиереем] Михаилом Ардовым. Беседовала Юлия Рывчина. — «Новая газета», 2001, № 78, 25 октября.

«Америка — не христианская цивилизация. Они там на своей политкорректности настолько сдвинулись, что запретили выставлять на улице христианские символы. На Пасху около храма висит изображение бабочки и надпись: „Он воскрес“. Кто воскрес? Бабочка? Нет, нельзя вывесить изображение Христа, это может обидеть мусульман и иудеев...»

«Подлинное христианство не имеет никакого влияния в мире. Никакого!»

«Мир катится в пропасть. Мы можем только не принимать в этом участия и стараться спасти себя и своих близких».

Лев Гурский. Миссия перевыполнена. А теперь — дискотека. — «Время новостей», 2001, № 183, 5 октября <<http://www.vremya.ru>>

«Ибо если написание художественного текста есть труд, то его прочтение уже не может быть трудом. И напротив, если читателю нужны дополнительные силы, чтобы преодолеть чей-то текст, то автор наверняка не слишком перетрутился, его создавая».

Вл. Гусев. Символика футбола. — «Московский литератор». Газета Московской городской организации СП России. 2001, № 20, октябрь.

«Почему мы столь четко чувствуем, что Палестина, Израиль уже НИКОГДА не договорятся, и чувствуем, что там вступили в строй силы, которые действуют уж поверх танков, ракет и прочего? Силы, которые **не боятся смерти** <...>».

Ср.: «Наш человеческий тип зависит от того, видим ли мы в ней (чрезвычайной ситуации. — *А. В.*) чудовищное недоразумение, нечто-что-у-всякого-нормального-человека-не-укладывается-в-голове, или же — заветную, принудительную истину сущего. Трудно удержаться от наблюдения: в эпицентре гибели *homo oeconomicus* находился именно некий диаметрально противоположный человеческий тип, чье пренебрежение к жизни наводит на мысль о мотивации несравнимо более могущественной, чем экономическая...» — пишет **Михаил Ремизов** («*Homo oeconomicus* погиб» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

Сергей Есин. Дневник [2000 года]. — «Московский вестник». Журнал московских писателей и Литературного института. 2001, № 1, 2, 3, 4.

«28 июля [2000], пятница. <...> Днем был Е. А. Евтушенко. С человеком подобной заразительной витальной силы я встречаюсь в жизни второй раз. Вот почти такая же, но бóльшая энергия исходила от Ельцина. <...> Я устроил Е. А. полное удовольствие. Усадил его в собственное кресло, в котором он, кстати, очень хорошо смотрелся. Жалко, не было фотоаппарата. Евтушенко сидит в кресле ректора того [Литературного] института, откуда его пятьдесят лет назад выгнали. Это определено в некотором случае реванш».

См. другие фрагменты более чем откровенного «Дневника» **Сергея Есина** — «Наш современник», 2000, № 4, 6, 7, 8, 9, 10.

Игорь Ефимов. Суд да дело. Роман. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7, 8, 9 <<http://magazines.russ.ru>>

Судопроизводство и Любострастие в Америке.

Славой Жижек. Добро пожаловать в пустыню Реального. Размышления о Всемирном торговом центре. Перевод с английского Артема Смирнова. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Когда „Нью-йоркер“ заявляет, что после бомбежек по улицам города нельзя будет больше проходить спокойно, ирония состоит в том, что задолго до 11 сентября улицы Нью-Йорка были хорошо известны тем, что на них на вас могли напасть или ограбить...» В заголовок статьи вынесена ключевая реплика из фильма «Матрица».

А. К. Жолковский. «Две обезьяны, бочки злата...». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 10.

Обезьяны. Литература.

Лев Игошев. Наши еще не в городе. — «День литературы», 2001, № 11, октябрь. Да здравствует сталинская культурная политика! Но т-сс... Наши еще не в городе.

Исход. Необъявленная гражданская война в Америке? — «Завтра», 2001, № 41, 9 октября; № 43, 23 октября.

Тимоти Маквей и 11 сентября.

Сергей Каверин. В. Набоков: формализация содержательного. — «Московский вестник». Журнал московских писателей и Литературного института. 2001, № 3.

«Ада», в отличие от «Лолиты», — не роман, не художественное произведение, а не-весть что. См. также: **Олег Любимов**, «Цуцванг. Роман Владимира Набокова „Защита Лужина“ как продолжение гуманистических традиций русской литературы» — «Подъем», Воронеж, 2001, № 7.

Юрий Каграманов. Наши ориентиры. — «Посев», 2001, № 10 <<http://www.webcenter.ru/~posevru>>

«Советское общество не производило гуманность, оно проедало ее».

Сергей Кара-Мурза. Десять лет победы над СССР: итоги для побежденных. — «Наш современник», 2001, № 10 <<http://read.at/nashsovr>>

«Ибо демократия у нас — это снятие запрета на геноцид бедных».

Франц Кафка. Разрозненные листки. Вступительная заметка и перевод с немецкого Г. Ноткина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 9.

Листки разрозненные.

Максим Кваша. Российское политико-экономическое устройство. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«В некотором смысле в России почти нет коррупции. Чиновники не берут взятку — они занимаются бизнесом».

Капитолина Кокшенева. А вы просо сеяли? — А мы просо вытопчем... — «Российский писатель». Газета Союза писателей России. 2001, № 17 (21), сентябрь.

В защиту новых (последних лет) произведений Валентина Распутина от — думаете, от злומרренных либералов? — нет, от обозревателя патристической газеты «День литературы» **Ильи Кириллова** (2001, у Кокшеневой указано — № 3, но на самом деле — № 9).

А также: следует ли Валентину Распутину издаваться в *буржуазном* «Вагриусе» вместе с Пелевиным, Войновичем, Пьецухом и Щербаковой? Илья Кириллов видит в этом опасный симптом, а Капитолина Кокшенева считает, что можно.

Впрочем, и Кириллов не отрицает *прежних заслуг* писателя.

См. также речь **Валентина Распутина** при получении им Солженицынской премии — «Литературная газета», 2000, № 19-20, 17 — 23 мая и речь **Александра Солженицына** на этой церемонии — «Новый мир», 2000, № 5, а также полемику **Владимира Бушина** и **Владимира Бондаренко** по этому поводу — «Завтра», 2000, № 25, 20 июня.

См. также: **Ольга Славникова**, «Деревенская проза ледникового периода» — «Новый мир», 1999, № 2.

Павел Коробов. Старообрядцы против участия России в войне. — «Коммерсантъ», 2001, № 192, 19 октября <<http://www.kommersant.ru>>

Собор Русской православной старообрядческой церкви рассмотрел и ввел в религиозный обиход молитву о всех пострадавших от безбожной власти в XX веке и *не* признал ИНН печатью антихриста.

Юрий Кузнецов. Матерь Божья над Русью витает... — «Литературная газета», 2001, № 42, 17 — 23 октября <<http://www.lgz.ru>>

«Видение Христа в урагане 12 июня 2001» и другие стихотворения. См. также: «Наш современник», 2001, № 10.

Михаил Кураев. Белый полотняный портфельчик. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 9.

Мемуар о Лихачеве.

Александр Ласкин. Ангел, летящий на велосипеде. Документальная повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 10.

Ольга Ваксель и — Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Евгений Мандельштам, Надежда Мандельштам.

Олег Лекманов. О двух «дурацких баснях» Осипа Манделъштама. — «Даугава», Рига, 2001, № 1-2, январь — апрель.

«Среди шуточных стихотворений Манделъштама 1930-х гг. особую группу образуют так называемые „дурацкие басни“ (как определен этот манделъштамовский жанр в письме С. Б. Рудакова к жене от 15 июня 1935 г.)...»

Либеральный тупик. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин отвечает на вопросы корреспондентов «Завтра». — «Завтра», 2001, № 43, 23 октября.

«Но самое главное в глобализации — это превращение формирования сознания в самый коммерчески выгодный вид бизнеса.»

Юрий Лотман. Посмотрю я на вас, и жалко мне вас. — «Новая газета», 2001, № 74, 11 октября.

Фрагмент «Не-мемуаров», надиктованных Юрием Лотманом. «По своему [военному] опыту скажу, что замысловатый, отборный мат — одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях». См. также: «Новая газета», 2001, № 76, 18 октября; № 78, 25 октября.

Александра Маринина. «Я пишу для людей, а не для критиков!» Беседу вел Владислав Иванов. — «Литературная Россия», 2001, № 41, 12 октября.

«Над „Сонечкой“ Людмилы Улицкой рыдала.»

Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Наследники царя Ирода. — «Российский писатель». Газета Союза писателей России. 2001, № 17 (21), сентябрь.

«Перенаселение» планеты — злонамеренный миф?

Ирина Медведева. Закон о гражданской войне. — «Российский писатель», 2001, № 18 (22), октябрь.

«Я бы хотела подойти к вопросу купли-продажи земли с позиции психолога...»

Екатерина Мещерская. Детство золотое. Повесть. Публикация Г. А. Нечаева. — «Москва», 2001, № 10 <<http://www.moskva.muslib.com>>

См. другие произведения кн. **Е. А. Мещерской** (1904 — 1995) — воспоминания «Трудовое крещение» — «Новый мир», 1988, № 4; роман «Жизнь некрасивой женщины» — «Москва», 1996, № 7, 8; повести «Конец „Шехеразеды“» — «Москва», 1997, № 11 и «Змея» — «Москва», 2000, № 3.

Наталья Морозова. Явное ощущение бессмертия. — «Даугава», Рига, 2001, № 3, май — июнь.

«Самое страшное, от чего он (Борис Пастернак. — *А. В.*) стремился оторваться, — это было место, освободившееся после смерти Маяковского. Место для самоубийцы», — говорит **Евгений Борисович Пастернак**.

Славомир Мрожек. Дневник возвращения. Перевод с польского Леонарда Бухова. — «Иностранная литература», 2001, № 7.

Мексика, 1996 год — неожиданно и поучительно. Фрагмент книги «*Dziennik powrotu*» (Варшава, 2000).

Владимир Набоков. Комната. На перевод «Евгения Онегина». Переводы с английского [Игоря Захарова, Максима Калинина, Марины Бородинской, Григория Кружкова, Михаила Блюмина, Григория Агафонова]. Вступительная статья Сергея Ильина. — «Иностранная литература», 2001, № 10.

Оригиналы двух стихотворений и разные их переводы.

Александр Неклесса. Порог Нового мира. — «Москва», 2001, № 10.

«Сможет ли человек сохранить личность, находясь в нечеловеческих условиях предельной свободы греха, и если нет, то как это скажется на его природе и всем будущем мироустройстве?»

См. также: **Александр Неклесса**, «Мир на краю истории, или Глобализация-2» — «Москва», 1999, № 4; «Пакс экономикана, или Эпилог истории» — «Новый мир», 1999, № 9; «Конец эпохи Большого Модерна» — «Знамя», 2000, № 1 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>; «Глобальный град: творение и разрушение» — «Новый мир», 2001, № 3.

Иеромонах Никон (Белавинец). «Я верю в Господа». О генерале Власове и о своей жизни рассказывает его духовник, недавно почивший протопресвитер о. Александр Киселев. — «НГ-Религии», 2001, № 20, 24 октября <<http://religion.ng.ru>>

«При этом Власов говорил, что если [немцы] ему дадут сформировать эти двадцать дивизий [РОА], то он (эти слова его я очень хорошо помню) „кончит эту кампанию»

разговором по телефону с Жуковым». С Жуковым он был хорошо знаком», — рассказывал **о. Александр Киселев** (1909 — 2001) 19 августа 1991 года.

Лиза Новикова. Селедка с сахаром. 60 лет назад погиб Аркадий Гайдар. — «Коммерсантъ», 2001, № 197, 26 октября.

«Смерть [Аркадия] Гайдара была, по признаниям современников, больше похожа на самоубийство». Время превратило его советскую прозу в деликатес для гурманов.

Семен Новопрудский. Конец религии. — «Известия», 2001, № 192, 17 октября <<http://www.izvestia.ru>>

Обозреватель «Известий», контуженный 11 сентября. «Пришла пора переустроить мир на **вне**религиозных основаниях, повсеместно и бесповоротно отделить церковь не только от государства, но и от общества. <...> Человечество наконец должно стать действительно **светским**. <...> Расцерковление человечества — теперь действительно вопрос нашей жизни или смерти».

Составитель «Периодики» (уверюмо): «Не дождетесь...»

Дмитрий Ольшанский. Кто виноват в шестьдесят? Юбилей Сергея Довлатова. — «Независимая газета», 2001, № 163, 4 сентября.

«Довлатов <...> стал народным писателем не оттого, что весь разошелся на анекдоты (на поговорки ушел и великолепный, но притом нисколько не народный Грибоедов), — ему, и только ему, удалось в восьмидесятых годах прошедшего столетия вызвать к существованию тот нормативный литературный язык, на котором пристало говорить грамотному человеку в родном для Довлатова государстве. <...> Именно потому, что непостижимая механика довлатовского слога закрыта для эпигонов, такими скверными оказываются писания всех вдохновенных его сюжетной позой *storyteller*': кинувшись рассказывать спонтанные истории, они и близко не способны так аскетично и точно писать — и Михаил Веллер будет здесь одним из грустнейших примеров».

См. также 26 писем **Сергея Довлатова** 1984 — 1989 годов Владимовым — «Звезда», 2001, № 9 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>. Печатаются с незначительными купюрами — «резкие выпады в адрес живых людей мы решили от современников утаить» (Андрей Арьев), нерезкие выпады остались.

Определение Собора Латвийской Православной Церкви о здоровье личности и народа. — «Московский церковный вестник», 2001, № 18, октябрь.

«Церковь считает, что эвтаназия является формой убийства или самоубийства».

Владимир Осипов. Шенгенская тюрьма хуже ГУЛАГа. — «Наш современник», 2001, № 9.

ИНН. 666. См. также: **Владимир Осипов**, «Дубравлаг» — «Москва», 2001, № 10, 11 — политзона при Хрущеве и Брежневе.

Глеб Павловский. Шериф будет командовать судьей и адвокатом. [Ответы на вопросы пользователей интернет-сайта «Известия»]. — «Известия», 2001, № 185, 8 октября.

«Независимость предполагает экспансию — экономическую, культурную, интеллектуальную. А также готовность к встречной экспансии».

«Россия не должна оказаться среди тех, кого бомбят. Для этого ей иногда придется бомбить самой».

«В мире нет справедливости, у мирового сообщества ее не следует и искать».

Орхан Памук. Меня зовут Красный. Роман. Перевод с турецкого Веры Феоновой. — «Иностранная литература», 2001, № 9.

«Само по себе эссе [Бродского о Стамбуле] — блестящее, но ничего общего с реальным Стамбулом оно, увы, не имеет», — говорит известный турецкий прозаик **Орхан Памук** в беседе с **Глебом Шульпяковым** — «Новая Юность», 2001, № 4 <http://magazines.russ.ru/nov_yun>

Александр Панарин. Православная цивилизация в глобальном мире. Глава четвертая. Материнский архетип в русской православной культуре. — «Москва», 2001, № 10.

Глобальные *привилегированные маргиналы* и их антропологические особенности. Четвертый — *изгойский* — мир. Россия — родина гонимых. «Мы в самом деле имеем беспрецедентный случай перехода великого народа на нелегальное положение в собственной стране». Начало см.: «Москва», 2001, № 3, 4, 5, 6, 8.

Дмитрий Перезовов. Зарытый талант. О Владимире Маяковском и о романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». — «Подъем», Воронеж, 2001, № 9.

«В чем серьезный недостаток Пелевина — практически ни один человек ни разу его не перечитал». Откуда это известно Перезовову?

Писатель, не вступающий в Союз писателей. — «Новая газета», 2001, № 73, 8 октября.

Редакция «Новой газеты» в пятый раз называет лауреатов премии имени А. Д. Сивянского «За достойное творческое поведение в литературе». В 2001 году лауреатом стал прозаик Владимир Богомолов.

Про интеллигенцию, Че Гевару, господина Мейера и коммунизм со звериным оскалом. Интервью священника Георгия Эдельштейна. — «Пределы века». Всероссийская общественная православная газета. Издаётся с августа 2000 года. 2001/7509, № 12, 15 — 31 октября.

«Совместимы гений и злодейство? Да, совместимы», — считает отец **Георгий Эдельштейн**.

Александр Проханов. Господин «Гексоген». Роман. — «Советская Россия»/«Завтра». (Специальный выпуск — «Роман в газете»). 2001, сентябрь.

«Итак — мораль, простая, как мычание: несчастья доверчивого русского народа происходят от бесконечных и кровавых инородных заговоров. <...> это еще один, но сильно раздутый политический фельетон, на которые он так горазд в передовицах своей газеты [„Завтра”], — пишет **Игорь Зотов** («Сермяжное барокко» — «Ex libris НГ», 2001, № 38, 11 октября <<http://exlibris.ng.ru>>).

Сквозь эту, простую, как мычание, просвечивает другая, совсем неожиданная, находящаяся в очевидном противоречии с общественной и писательской энергией Проханова, почти буддийская мораль, а именно — любая активная деятельность героя ради изменения окружающей реальности непременно оборачивается во зло. Этого ли хотел Проханов?

Да, очень сильный эпизод с мумией Ленина и др. Но никаким политическим/творческим темпераментом нельзя объяснить/оправдать то, что Проханов понаписал в этом романе о Татьяне Борисовне Дьяченко. Это уже какое-то самоотравление ненавистью.

Кстати, у нас ведь так и не появился демократический/либеральный/либерально-консервативный (анти-)«Проханов» — не публицист только, но автор актуальных политических остросюжетных романов. Ну пусть не «Проханов», а «Клэнси». Ниша эта несомненно существует и — пуста.

Почему Максим Соколов не пишет романы?

Александр Проханов. «Меж люлькою и гробом». — «Завтра», 2001, № 42, 16 октября.

Неожиданный очерк о, если так можно выразиться, жизни московского крематория.

Борис Равдин. К вопросу об интонации. (Письма Льва [Борисовича] Савинкова Василию Яновскому). — «Даугава», Рига, 2001, № 1-2, январь — апрель.

Четыре письма 1983 — 1984 годов (Бахметевский архив, фонд В. Яновского) к *умудренному Василию-ихтиозавру* в связи с мемуарами последнего «Поля Елисейские» (Нью-Йорк, 1983). «Скажи, почему и за что ты так поносишь Алданова?» (из письма от 13 января 1984 года).

Станислав Рассадин. Взрывники. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001, № 39, 16 — 22 октября <<http://www.1september.ru>> Барков. Фонвизин. Державин. Карамзин.

Станислав Рассадин. Везучий Галич. — «Новая газета», 2001, № 75, 15 октября; № 77, 22 октября.

Фрагменты книги «Самоубийцы». См. также статьи **Станислава Рассадина** в «Новой газете»: «Два гимна» (2000, № 74), «Страх» (2001, № 13), «Растратчик или наемник?» (2001, № 32), «Кровавый август, или Смерть поэтов» (2001, № 59, 63, 65).

Михаил Ремизов. Ксенофобия № 7. Я выбираю свободу. Заметки о теологии глобализма. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«К несчастью, этот бенефис плакальщиц и моралистов грешит не только против вкуса. С каждым их новым стоном прорабы однополярного мира кладут еще один кирпичик в стены своего концлагеря. Он будет построен из вас, сострадательные, из вас, всечеловеки».

«Америка — это действительно плохое кино. Хорошо бы сказать: не хочешь — не смотри. Но ее мир становится все более принудительным. <...> Я не буду говорить, как этот новый мир „ужасен”. Достаточно понять, до какой степени он — чужой».

«Неужели не ясно, что субстанцией глобального терроризма является именно *оскорбление*, оскорбительность нового мирового господства?»

Борис Родоман. Идеальный капитализм и российская действительность. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 3 (17) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

Ужасная современная Россия никак не вписывается (необратимо отстает) в экономическую и политическую *норму*, описанную великими экономистами XX века Хайеком и Мизесом, считает **Борис Родоман**. Нет, Россия на глазах меняется и растет по отношению *к самой себе*, возражает ему **Александр Архангельский** в тут же опубликованной статье «Еще не вечер».

Ср. с особым мнением **Сергея Кургиняна** («Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>): «За десять лет в России действительно построили капитализм. <...> Его построили по моделям будущего, моделям антиутопий. Его построили по схемам Делёза и Гваттари. Только построили не „Капитализм и шизофрению“, а капитализм как шизофрению. <...> Вот чему противостояла (инстинктивно и слабо) вся система ГКЧП...»

Мария Розанова. Синявский, Абрам Терц и я. — «Время MN», 2001, № 180, 5 октября <<http://www.vremyamn.ru>>

«Как он читал стихи! И откуда что бралось?! Маленький, тщедушный, неприглядный Синявский (а он был очень нехорош собою — представьте: никакой бороды [в 1955 году], глаза в разные стороны, мясистый, задранный к небу нос, искривленный позвоночник, одно плечо выше другого или, как сказала одна моя подруга, он такой некрасивый, что на него даже смотреть неловко, будто горбуна рассматриваешь...) вдруг преображался. Разворачивался, становился выше ростом, а сквозь довольно жиденький тенор прорывался бархат почти что баритона...»

Омри Ронен. «Молвь». К 60-летию гибели Марины Цветаевой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 9.

«Смерть Цветаевой была не самоубийством, а вольной смертью, тем, что немцы называют *Freitod*».

Ричард Рорти. Троцкий и дикие орхидеи. Перевод Анны Эткинд. Вступительная статья Александра Эткинды. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 3 (17).

«Я вырос, считая, что все приличные люди если не троцкисты, то по крайней мере социалисты...» Краткая интеллектуальная автобиография известного американского философа.

Михаил Рошин. Костюмчик на Гулливера. — «Литературная газета», 2001, № 42, 17 — 23 октября.

Полемика: да, Олег Ефремов пил, но не так, как описал **Анатолий Смелянский**. См. мемуары последнего — «Известия», 2001, № 154, 24 августа.

Луи-Фердинанд Селин, или Путешествие на край отчаяния. — «Иностранная литература», 2001, № 9.

Селин: он и о нем. Проза, интервью, биография.

Гао Синцзянь. Право литературы на существование. Перевод со шведского Елены Самуэльсон. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 10.

Нобелевская лекция, 2000 год.

Лев Скворцов. «Одежда языка» или запечатленный «образ слова»? К нынешним спорам о реформе русской орфографии. — «Русский Вестник», 2001, № 38-39 <<http://www.rv.ru>>

Отложить *обреченную на провал* реформу (или даже «корректировку») русского письма! Убедительно — о том, какой вред нанесла русской культуре орфографическая реформа 1912 — 1918 годов. Полемика с одним из идеологов языковой «корректировки» — **В. В. Лопатиным**, см. программную статью последнего: «Новый мир», 2001, № 5.

Сны и явь. Из альбома поэтессы Марии Шкапской. Публикация Сергея Шумихина. — «Субботник НГ», 2001, № 32, 20 октября.

«22/X [1924]. Недавно группа федоровцев (последователи философа Николая Федорова. — *С. Ш.*) подала во ВЦИК заявление о предоставлении им участка на Мурмане для погребения близких ввиду предстоящего в недалеком будущем воскресения мертвых — самого реального. (*Из московских слухов*)». Альбом Шкапской хранится в РГАЛИ, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 140.

Геннадий Ступин. Рок неминуем и точен. Стихи. — «День литературы», 2001, № 11, октябрь.

«Когда я не носил бороды / И легки мои были шаги, / Я не знал, что евреи — жида, / Я не знал, что евреи — враги...» Но это было давно, теперь он знает, и редакция «Дня литературы» тут же поздравляет «нашего большого друга, прекрасного русского поэта» с 60-летием.

Игорь Сухих. Душа болит. («Характеры» В. Шукшина, 1973). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 10.

«Шукшин — наследник Чехонте, не захотевший или не успевший стать Чеховым». О сборнике статей Игоря Сухих «Книги XX века. Русский канон» см.: **Дмитрий Дмитриев**, «Русская литература XX века: разные тексты или гипертекст?» — «Новый мир», 2001, № 9.

Тирания глобализма. Беседа Александра Проханова с Гейдаром Джемалем. — «Завтра», 2001, № 43, 23 октября.

«Возникает величественная фигура бен Ладена как человека, который несет на себе ризы, и что бы о нем ни говорили, как бы его ни демонизировала огромная масса европейски политтехнологов, чем страшнее, ужасней он представлен миру, тем он ослепительней кажется», — говорит **Александр Проханов**. См. также: **Усама бен Ладен**, «Америка поражена Богом» — «Завтра», 2001, № 43.

Трибуна издателя: зарубежная литература в России. Издательство «Амфора». Беседа вела Светлана Силакова. — «Иностранная литература», 2001, № 7.

Говорит арт-директор петербургского издательства «Амфора» **Вадим Назаров**: «Для России самая важная из зарубежных литератур — сербская. Я не хочу сказать, что она лучшая в мире, просто это единственная словесность (сербы сказали бы „речность“), которую мы можем воспринимать как свою собственную. В смысле печатного слова Сербия по отношению к России может занять то же место, что и богатая Великобритания по отношению к бедным США. Сербия — это своеобразный „остров Крым“, место, где не прерывалась традиция. И что самое удивительное, традиция именно русская, унаследованная братьями славянами от нашей литературной классики XIX века».

Игорь Федюкин. В поисках «правого» пиара. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 3 (17).

«Где школьные учебники истории, называющие октябрь 1917-го переворотом, а „добровольное присоединение“ захватом, и обществоведения, объясняющие шестиклассникам суть демократической государственности, свободы слова и принцип разделения властей? Где кинофильмы, показывающие страдания жертв сталинского террора — вместо ностальгически-эстетского смакования сталинизма в „Бездне“ и „Утомленных солнцем“?..»

Френсис Фукуяма. Конец истории не за горами. Перевод Алексея Ковалева. — «Время МН», 2001, № 200, 2 октября.

«Я считаю, что был прав».

Валерий Хатюшин. <Стихи>. — «Московский литератор». Газета Московской городской организации СП России. 2001, № 20, октябрь.

«Америка, поставленная раком, — / единственная радость в наши дни».

Михаил Черненко. Адольф Эйхман: «Я готов публично повеситься». — «Московские новости», 2001, № 43, 23 — 29 октября.

Начальник еврейского отдела гестапо Адольф Эйхман на допросе: «А само умерщвление газом я не смотрел. Я не мог. Я бы упал в обморок». Фрагмент документального повествования «*Das Eichmann-Protokoll*» (венское издательство «Пауль Жолнай»), которое выходит в русском переводе.

Владимир Шапко. Дырявенький кинематограф. Повесть. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Главный редактор Роман Солнцев. Красноярск, 2001, № 5-6 <<http://www.krsk.ru/din>>

О прозе Владимира Шапко см.: **Павел Басинский**, «Поздние цветы империи» — «Новый мир», 1999, № 5.

Сергей Шаповал. «Я счастлива, что родилась в такой стране, в Москве и у папы». Татьяна Сельвинская рассказывает о своей семье. — «Субботник НГ», 2001, № 32, 20 октября.

Илья (Карл) Сельвинский (КЛЭ, том 6) все-таки Илья, а не Карл. «После того как отец прочитал Маркса, он пришел в такой восторг, что захотел, чтобы его звали Илья-Карл. Это был романтический порыв. Ошибка затесалась в энциклопедии, так и гуляет до сих пор», — говорит дочь поэта.

Игорь Шевелев. Катастрофы подталкивают человека к осознанию себя. Григорий Померанец размышляет о кризисе современной цивилизации. — «Время МН», 2001, № 200, 2 октября.

«Когда меня спрашивают, о чем думает бен Ладен, я отвечаю, что он думает приблизительно то же, о чем думали библейские пророки, сталкиваясь с Вавилоном». Пол-

ный текст интервью Григория Померанца см. на сайте Игоря Шевелева: <http://www.ishevelev.narod.ru>

Владимир Шигин. Неизвестный лейтенант Шмидт. — «Наш современник», 2001, № 10.

Безумный растратчик казенных денег.

Валерий Ширяев. Атомная бомба — спасательный круг. — «Известия», 2001, № 205, 3 ноября.

«Только ядерное оружие может стать надежным залогом спокойствия в диалоге, в котором нельзя верить братским клятвам и писаным соглашениям».

Умберто Эко. Суть конфликта. Перевод Алексея Ковалева. — «Время МН», 2001, № 200, 2 октября.

«Мы живем в обществе, в котором господствует плюрализм, ведь мы строим в наших странах мечети. Мы не перестанем делать этого, даже несмотря на то, что в Кабуле христианских миссионеров бросают в тюрьмы».

Александр [Ник.] Яковлев. «Советский строй можно было взорвать только изнутри». Беседу вел Олег Мороз. — «Литературная газета», 2001, № 41, 10 октября.

«В конце концов я пришел к выводу: этот дикий строй можно взорвать только изнутри, используя его тоталитарную пружину — партию. Используя такие факторы, как дисциплина и воспитанное годами доверие к Генеральному секретарю: раз Генеральный говорит так, значит, так».

Юрий Ярым-Агаев. Подмена. Письмо моим старым друзьям-правозащитникам. — «Неприкосновенный запас», 2001, № 3 (17).

«Корпоративная», по выражению редакции «НЗ», полемика о метаморфозах российского правозащитного движения в 1980 — 1990-х годах. Тут же — развернутые отклики **Феликса Светова** (согласен с автором открытого письма) и **Александра Даниэля** (не согласен с автором открытого письма).

Составитель **Андрей Василевский.**

*«Арион», «Вопросы истории», «Дружба народов», «Знамя»,
«Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Старое литературное обозрение»,
«Philologica»*

Николай Александров. Вольные заметки о литературном процессе. — «Старое литературное обозрение», 2001, № 2.

Смешение языков. Курицын, Сорокин. Приметы. Интернет. Премии. Букеры. Литературные журналы.

Михаил Безродный. Древний философ из пяти букв, не Маркс. — «Новое литературное обозрение», № 50 (2001, № 4) <<http://magazines.russ.ru/nlo>> <<http://www.nlo.magazine.ru>>

Суровая статистика с эпиграфом из Северянина и почти сотней ссылок на СМИ. Подсчеты упоминаний и замалчиваний. «Сатирик Михаил Жванецкий, поведав о своей любви к сочинениям Ницше, признался, что спешит их читать, „пока не запретили“». Опасаться запрета вряд ли стоит, пока Ленин с Марксом (contra Ницше) поминаются в прессе столь же часто, что и Сталин с Гитлером (pro Ницше). При сохранении этого равновесия можно ожидать, что нищемания будет убывать без посторонней помощи — по мере возрастания активности тех, для кого древний философ из пяти букв олицетворяет запретную истину». В «ницшеанском» блоке материалов замечательны, кстати, наброски Ф. Н. о филологах и почему-то отброшенные от них на полсотни страниц *Заметки читателя* (Сергея Козлова) — на полях этих набросков.

Александр Бек. Встречи с Твардовским в 1940 году. Дневниковые записи. Публикация и комментарии Татьяны Бек. — «Знамя», 2001, № 10 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

«Вчиталась — интересно, неожиданно, местами неприятно» (из предисловия к публикации).

Михаил Гиголашвили. Дезертиры. Повесть в письмах. — «Знамя», 2001, № 10. Наши военные части в Германии. Обыкновенный бардак, грустный такой.

Голограмма Времени. Два прочтения нового романа Ольги Славниковой. (Елена Иваницкая. Жизнь в петле./Валерий Липневич. Долгое прощание, или О, Славникова!). — «Дружба народов», 2001, № 10 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>

Первое прочтение: шум и ярость. Второе: вешние воды. У Е. Иваницкой я недоумевал над фразой: «Честно говоря, не совсем понятно, при чем тут Доде (она намекает, что сюжет романа заимствован-де из малоизвестного рассказа Доде. — П. К.), а так как текст не слишком захватил меня, то не хотелось и углубляться в загадку...» Не захватил — так откуда столько пыли?

См. также рецензию **Евгения Ермолина** в «Новом мире», 2001, № 11.

Владимир Губайловский. Треснувший образец. — «Дружба народов», 2001, № 10.

Рецензия на лирический сборник Юрия Кублановского «Дольше календаря» (2001). «Стихи Кублановского менее всего созерцательны. Поэт не говорит только, он участвует в действии, он внутри стиха. Это та же раздвоенность, что и в названии книги. Присутствие поэта делает его самого, его лирического героя, проводящей световой средой, сквозь которую мы способны прикоснуться к вещам, породившим стих и стихом оформленным. Буквально потрогать их...»

Джонатан Дейли (США). Пресса и государство в России (1906 — 1917 гг.). — «Вопросы истории», 2001, № 10.

«Бельгард (главный цензор в 1905 — 1912 годах. — П. К.) посоветовал Столыпину использовать свой личный авторитет, чтобы повлиять на крупнейшие газеты, которые, „в сущности, только и могут попасть на глаза государю“. Два сановника распределили между собой крупнейшие газеты, и каждый взял на себя упросить нескольких редакторов избегать публикации статей о Распутине, хотя бы на время...»

И. Е. Дронов. Князь Владимир Петрович Мещерский. — «Вопросы истории», 2001, № 10.

Исчерпывающий биографический очерк: от взаимоотношений с цесаревичами до издания журнала «Гражданин»; от сатирической прозы и пикировки с Победоносцевым до борьбы с еврейством.

Михаил Задорнов. Фантазии сатирика. — «Октябрь», 2001, № 10 <<http://magazines.russ.ru>>

Знамя, упавшее из рук Сан Саныча Иванова, подхвачено и реет в октябрьском «Октябре». Сия геопублицистика прихотливо разбавлена афоризмами вроде: «Чечня — это антикварные грабли России». Их Задорнов выделяет курсивом, голосом тут не возьмешь.

Ян Зелински. «Лебеди крупнее лодок» (Набоков и Марко Поло). — «Philologica». Двухязычный журнал по русской и теоретической филологии. 1999/2000, том 6, № 14/16 (2001) <<http://www.rema.ru/philologica>>

У большого писателя все идет в дело. Дотошные филологи нашли ту самую фламандскую миниатюру, написанную на венецианский сюжет, которой Годунов-Чердынцев любовался в кабинете своего отца. По этому случаю в журнале (впервые!) появилась *цветная* вкладка.

Интеллектуальный бестселлер или учебник сексопатологии? Александр Шаталов, Владимир Шаров, Николай Александров об «Элементарных частицах» Мишеля Уэльбека. — «Дружба народов», 2001, № 10.

Три статьи почти по Васнецову: восторженно-живописная, растерянно-сдержанная, обобщенно-повествовательная. См. также рецензию **Валерия Липневича** в «Новом мире», 2001, № 12.

Юрий Каграманов. «Афганец крепчает». — «Дружба народов», 2001, № 10.

Последствия афганской войны. Джихад. Ваххабизм. См. статью **Ю. Каграманова** «Ислам, Россия и Запад» — «Новый мир», 2001, № 7.

Кирилл Кобрин. Дрезденский счет. — «Арион», 2001, № 3 <<http://magazines.russ.ru/arion>>

«Общеизвестно, что провинциальные поэты *en masse* живут подражанием; подражанием в лучшем случае предпоследнему столичному (или заграничному) слову». Ну так это если *en masse* брать... Да и, судя по цитатам, вовсе не *поэты* они, а разнообразнейшие *стихотворцы*.

Сергей Козлов. Наши «новые истористы». Заметки об одной тенденции. — «Новое литературное обозрение», № 50 (2001, № 4).

Олег Проскурин. Андрей Зорин. Александр Эткинд. Тут же — отклик **О. Проскурина**.

Илья Кукулин. Прорыв к невозможной связи. Поколение 90-х в русской поэзии: возникновение новых канонов. — «Новое литературное обозрение», № 50 (2001, № 4).

Фундаментальное исследование новейшей эстетики в новой русской поэзии.

Виктор Куллэ. Третий собеседник. — «Арион», 2001, № 3.

Эссе о Томасе Венцлове плюс его новые стихи в переводах В. Куллэ. Мне довелось слышать аудиозапись чтения Венцловой своих стихов — специально для переводчика: дабы тот был точен в размере, интонации и ритме (естественно, по просьбе самого translator'a). Это что-то невероятное.

Виктор Мясников. Технотриллер — здесь и сейчас. — «Знамя», 2001, № 10.

Родословная, разновидности, имитации жанра.

Анатолий Найман. Жизнь и смерть поэта Шварца. Пьеса. — «Октябрь», 2001, № 10.

Карпа (рыбу) японцы особенно почитают за плавание против течения и даже выбрали ее символом одного из национальных праздников. Мы не в Японии. Новое произведение А. Н. попробую назвать очередным «сжиганием всех и всяческих мостов». Убийственно, смешно, бесповоротно, узнаваемо. Есть и «говорящие фамилии», как всегда. Я понимаю: разные люди сошлись в одном персонаже. Все равно как-то тревожно, в том числе и за автора.

Неизвестная статья Ольги Берггольц об Анне Ахматовой. Предисловие, комментарии и публикация Евгения Ефимова. — «Знамя», 2001, № 10.

В 1946 году издательство «Правда» стотысячным тиражом готовило большую книгу Ахматовой. Параллельно «Советский писатель» работал над «Нечетом». В начале июля статья Берггольц «Военные стихи Анны Ахматовой» была принесена в заждавшееся «Знамя». «Написанная накануне Постановления, она вся — каждая ее строка! — была решительным *опровержением* — этого „исторического документа“, любого его постулата», — пишет Е. Ефимов.

Александр Ожиганов. Кон(тр)тексты. На полях альманахов «Личное дело №» и «Личное дело-2». — «Старое литературное обозрение», 2001, № 2.

«Мы вернулись — по кругу — к началу двадцатого века с его толпами гениев, демонов и мессий. Но ситуация все же уже другая. Главное орудие постмодернизма (этой репрезентации модернизма) — дубляж, кич. И Гамлет, и Лаэрт обречены — но Лаэрт, повторяющий Гамлета, притворяющегося сумасшедшим, преуспевает. Как раз это расщудочно и очень скучно. Когда нас развлекают, нам скучно». Здесь же много познавательного о поэтах — М. Айзенберге, С. Гандлевском, Вс. Некрасове.

А. Б. Пеньковский. Загадки пушкинского текста и словаря («Евгений Онегин», 1, XXXVII, 13 — 14). — «Philologica». Двухязычный журнал по русской и теоретической филологии. 1999/2000, том 6, № 14/16 (2001) <<http://www.rema.ru/philologica>>

«Можно почти с полной уверенностью утверждать, что в войне 1812 года Онегин не участвовал. <...> Прошел через мечты о войне <...> но его тоска оказалась сильнее: *Но разлюбил он наконец / И брань, и саблю, и свинец*». Помогли разобраться: В. В. Набоков, Н. Л. Бродский и сам Пушкин, естественно.

Письмо Л. Я. Гинзбург В. Б. Шкловскому 1929 года. — «Новое литературное обозрение», № 50 (2001, № 4).

Выглядит, как *Приложение II* — к статье Дениса Устинова «Формализм и младоформалисты», в свою очередь входящей в большой блок статей о методологическом наследии русского формализма. Цитирую из письма: «Я не могу примириться с классификацией методологических группировок по признаку чаепития. Б<орис> М<ихайлович> [Эйхенбаум] и Ю<рий> Н<иколаевич> [Тынянов] пьют чай вместе, поэтому они — одна школа, хотя Ю<рий> Н<иколаевич> вовсе не привержен к литературному быту. Я пью чай у Жирм<унского>, поэтому я „школа Жирмунского“...» И т. д.

Виталий Пуханов. Неприкасаемое. Стихи. — «Октябрь», 2001, № 10.

Одно из них называется «Лучшее стихотворение Пригова». Судя по всему, Пуханов (этот прием для его поэтики нов) рассудил так: коль скоро ДАП заявил себя как *проект*, то любой стихотворец... Ну и так далее. Кажется, получилось.

Роман Сенчин. Один плюс один. — «Дружба народов», 2001, № 10.

Чем хуже, тем лучше. См. о Сенчине в «Новом мире»: рецензию Майи Кучерской (2001, № 10) и отклик Марии Ремизовой в настоящем номере.

Ольга Славникова. Ландшафты хеппи-энда. — «Октябрь», 2001, № 10.

«В случае даже самого удачного компромисса не хеппи-энд паразитирует на литературе (как, возможно, хотелось бы мейнстримовскому писателю с робкими потугами на коммерческую успешность), но ровно наоборот».

Р. М. Фрумкина. Лингвистика вчера и сегодня. — «Новое литературное обозрение», № 50 (2001, № 4).

Блестящая топография с элементами полемики. «А. Л. Зорин прав в том, что искать везде источники тоталитаризма — сегодня уже довольно пустое занятие. И действительно: не только тоталитарного, но даже авторитарного государства как проводника санкций уже давно нет. Однако сами санкции остались: они внутри нас самих в виде неотрелфлексированного почитания Имен, а также неистребимой склонности к „клановому“, авторитарному стилю мышления».

Игорь Шайтанов. Формула лирики. — «Арион», 2001, № 3.

«Классическое преобладание вещественности в образе, озвученном „музыкой жизни“ в ее повседневности. Такой мне видится (или слышится?) формула лирики Евгения Рейна».

Ян Шенкман. WWW. STIHOV. NET (о поэзии в Интернете). — «Арион», 2001, № 3.

«Даже при неполноте охвата вывод напрашивается очевидный: та современная поэзия, что идентифицирует себя исключительно с Интернетом, в большинстве своем поэзией не является».

Игорь Шкляревский. <Новые стихи>. — «Арион», 2001, № 3.

«...кто не играл, тот не поймет, / как сладко сердце замирает, / ведь человек себя не знает». Где историк современной поэзии, который соберет и разберет в своей диссертации эти *дополнительные страсти*: бильярд Межирова, рулетку Шкляревского, устные байки того же Рейна, наконец?

Асар Эппель. Дробленный сатана. Рассказ. — «Знамя», 2001, № 10.

«Все эти впервые — самая незабываемая жуть. Но она жена и должна его похоронить, как он того заслуживает, поэтому она вколачивает гвозди в его память — то есть, не церемонясь и без спроса, читает писанные не для нее откровения и откровенности, а потом эти же гвозди вытаскивает — вырывает страницы и сжигает...» Живописно-пугающая новелла. Дочитывая, я вспомнил, что именно Эппель лучше всех перевел И. Б. Зингера, и не потому, что напрямую, с идиш, а потому что — тоже художник. Цвета и запахи себе подчиняет, о самом черном пишет без надрыва — красиво, просто и страшно.

Составитель Павел Крючков.



ДАТЫ: 30 января (11 февраля) исполняется 115 лет со дня рождения прозаика Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1887 — 1950).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Февраль

10 лет назад — в № 2 за 1992 год напечатана повесть Л. Петрушевской «Время ночь».

15 лет назад — в № 2 за 1987 год напечатана повесть Владимира Маканина «Утрата».

40 лет назад — в № 2 за 1962 год напечатана повесть Вениамина Каверина «Семь пар нечистых».

75 лет назад — в № 2, 3 за 1927 год напечатана повесть Вяч. Шишкова «Пурга».

SUMMARY



This Issue publishes the narrative «Alkhan-Yurt» by Arkady Babchenko, dedicated to the events of the present day Chechen War, a series of stories «War to Palaces» by Eva Datnova, two stories of the authors' tandem Nina Gorlanova — Vyacheslav Bukur, and also the tale «Padchevary» by Aleksey Varlamov.

The poetry is represented by new poems of Grigory Kruzhkov, Aleksander Timofeyevsky, Igor Melamed and Vitaly Kaplan.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» the article «Islam in the Modern World» by Dina Malysheva is published.

Under the heading «Close Remote Past» readers can find the end of the notes «Without God», written in twenties by the country physician Konstantin Livanov.

The literary critique is represented by the article of Olga Slavnikova «Rendez-vous at the End of Millennium» about the love theme in the contemporary Russian prose. Readers can also find here an article «About the Antagonism of Classes»: Maria Remizova enters into the polemics with the literary critic Aleksander Ageyev.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novy_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.10.2001 г. Подписано к печати 26.12.2001 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л

Тираж 9700 экз. Зак. 2013. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

**В 2002 году исполняется 75 лет со дня рождения
и 20 лет со дня смерти замечательного прозаика
Юрия Павловича Казакова.**

**Премия его имени была учреждена
Благотворительным Резервным фондом
и журналом «Новый мир» в 2000 году и присуждается
автору, живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России.**

**Жюри 2001 года отобрало из представленных на конкурс
произведений шесть кандидатов на премию:**

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

«Пролетный гусь» — «Новый мир», 2001, № 1;

МАРИНА ВИШНЕВЦКАЯ

«Т. И. Н. (Опыт сада)» — «Знамя», 2001, № 12;

НИКОЛАЙ КОНОНОВ

«Микеша» — «Знамя», 2001, № 5;

ВЛАДИМИР МАКАНИН

«Однодневная война» — «Новый мир», 2001, № 10;

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

«Замороженное время» — «Наш современник», 2001, № 6;

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ

«Улица» — «Новый мир», 2001, № 8.

**Председатель жюри
МИХАИЛ БУТОВ.**

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,

генеральный директор Благотворительного Резервного фонда

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 \$.